



6/2014

РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОИХ ПРОЕКТАХ

n@wswr.ru nik@cea.ru http://iacp.pro www.wswr.ru Москва 115533 а/я 3



a@iacp.pro

РУССКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ (РуАН)

Академия создана с целью поддержки и развития русских и международных интеллектуальных проектов, а также взаимной поддержки и отстаивания интересов интеллектуалов по следующим направлениям:

Русская наука
Русское образование
Русская культура
Русские деловые проекты

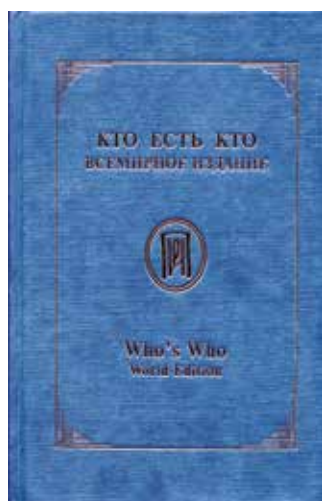
Международная Ассоциация творческих работников International Association of Creative Professionals



http://iacp.pro
n@iacp.pro

Основными задачами МАТР являются поддержка и развитие творческих проектов, а также взаимная поддержка и отстаивание интересов творческих работников. Члены ассоциации имеют право пользоваться ресурсами МАТР, в частности, бесплатно публиковать творческие новости на новостном сайте МАТР и других ресурсах, участвовать в презентациях и иных мероприятиях МАТР.

КТО ЕСТЬ КТО: ВСЕМИРНОЕ ИЗДАНИЕ



Биографический ежегодный справочник. Издаётся с 1998 г.

Ежегодно обновляемые биографические данные и информация о достижениях личностей, имеющих общероссийскую и мировую известность. В справочнике представлены руководители интеллектуальных проектов; авторы известных книг, статей, художественных, музыкальных и иных произведений; академики престижных академий; общественные деятели; руководители перспективных предприятий; биографисты популярных мировых биографических справочников. Все материалы предоставляются биографистами по личной просьбе редактора.



НИКЕРОВ Виктор Алексеевич

Профессор, доктор физико-математических наук
Главный редактор ежегодника КТО ЕСТЬ КТО:
ВСЕМИРНОЕ ИЗДАНИЕ с 1998 года
Президент Русской академии наук и искусств
Действительный член Международной
Парижской академии наук и искусств и др.
Автор около 80 научных и образовательных книг
Член Московского пресс-клуба
и Международной федерации журналистов
Лауреат литературной премии им. В.Маяковского
Обладатель личного фонда в Госархиве РФ





ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

*Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet
Der Mensch auf dieser Erde.*

Friedrich Hölderlin

*Много заслуг у человека земного,
Но жив он только в поэзии.*

Фридрих Гёльдерлин

6/2014 МОСКВА

www.man-on-earth.com

Главный редактор
Татьяна СУРГАНОВА

Редакционный совет
Владимир БУРЛАКОВ
Сергей ГОНЦОВ
Геннадий КАЛАШНИКОВ
Станислав МИНАКОВ
Елена РУСАКОВА

Художник
Владимир ГАЛАТЕНКО

Корректор
Т.С. БЫЧКОВА

Фоторедактор
Александр БЛЮМИН

Верстка
Светлана КОМАРОВА

Фотографии
Юлия КРАВЦОВА

Поддержка сайта
Сергей КАРЕВСКИЙ

Фотографии авторов · из личных архивов

На обложке:
В. ГАЛАТЕНКО, *засл. худ-к РФ*.
«Степной цветочек» 2004, х/м. 40х50

В оформлении подборки
Т. ВИНОГРАДОВОЙ *использованы репродукции*
с картин Юрия ЛОГАЧЁВА (сс. 70–74)

ISBN
978-5-600-00317-0
978-5-600-00319-4

При перепечатке ссылка на журнал «Человек на Земле» обязательна.

© Идея номера и состав Сурганова Т.В., 2014
© Авторы журнала «Человек на Земле», 2014
© Дизайн журнала: В. Галатенко, 2014

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА —

Татьяна Сурганова
3 ПЕРО ФЕНИКСА

ПОЭЗИЯ —

Герман Титов
7 ДНЕВНИК ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА
Марина Анашкевич
50 СУТРА С УТРА
Татьяна Виноградова
70 О СМЕРТИ И НЕМНОГО О ЛЮБВИ
Алексей Грыкалов
83 ХАТА НА БЕРЕГУ
Константин Комаров
87 Я ЗАВТРА СНОВА ОЖИВУ

ПРОЗА —

Антон Фарб, Нина Цюрупа
13 ПО РАДУГЕ
Дмитрий Конаныхин
52 «МЫ ВСЕ ПОЙДЁМ С ВАМИ ВОЕВАТЬ!»
Юрий Милославский
76 «ПРИГЛАШЁННАЯ». Отрывок из романа
Раиса Беляева (Гурина)
111 «И ВСЁ ЖЕ НАВСЕГДА...»
Иван Бунин. «Дело корнета Елагина»

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ —

Алексей Угаров
63 КУСОК ПЕРГАМЕНТА

ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА —

Александр Сорокин
90 ФАНТАЗЁР, МУДРЕЦ, ИГРОК. Воспоминания
об Александре Петровиче Межирове

ПАМЯТЬ —

Анатолий Матвеев
103 МЕМУАРЫ

ПЕРЕВОДЫ —

Давид Авидан
120 ИЗ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ. Предисловие
и перевод с иврита Никиты Быстрова

СОДРУЖЕСТВО МУЗ —

Галина Катрук — Игорь Меламед
124 НАСТАНЕТ НОЧЬ...
126 **Галина Катрук:** КОМПОЗИТОР, ХУДОЖНИК
128 «Мыслящий тростник» — 2014



Татьяна Сурганова

*Вот он идёт, бог странствий и вестей,
Торчит колпак над светлыми глазами,
Мелькает посох тонкий перед ним,
Бьют крылья по суставам быстрых ног,
Её ведет он левою рукою.*

Р.-М. Рильке
Орфей, Евридика, Гермес

ПЕРО ФЕНИКСА

**Татьяна Всеволодовна
Сурганова**

родилась в Подольске.
Литературовед, переводчик,
кандидат филологических наук.
Училась и работает в МГУ
им. М. В. Ломоносова.

Тайная записная книжка, обёрнутая в серебряную фольгу, с вензелем в виде переплетённых латинских инициалов, наискось пронзённых стрелой, предназначена была хранить великие изречения о любви. Таким способом я пыталась дотянуться — до них, сумевших сказать; моего детского языка не хватало, не могло хватить, чтобы выразить то, что вселилось в меня, когда во время обычной глупой школьной возни, деля воображаемой границей серо-зелёное поле парты, мальчишеская ладонь накрыла кисть моей руки и на несколько мгновений я замерла, ошеломлённая невольной лаской. Мне было одиннадцать лет.

Рассказать о бушевавшем внутри невозможно было никому; сообразительная младшая сестра, высказавшая свои догадки вслух, была жестоко высмеяна; предмет моей страсти, осмелся он на подобное, был бы осмеян не менее безжалостно. Я почему-то понимала, что свершившееся наделило меня множеством привилегий, включая право на вступление в тайное общество, которое я сама же и основала: туда принимались страницы книг, запечатлевшие горе и счастье таких же, как я — истерзанных безответной любовью, воюющих со здравым смыслом; это занятие, препятствуя усвоению практических основ жизни, возносило к небу мою робеющую, ревнующую, жаждущую ответа детскую душу. («Не бывает невзаимной любви», услышала я от духовника много лет спустя. И всё мое существо внутренне взвилось — как это? А что же тогда было со мной?)

Спустя года два или три эта детская страсть утихла и стала потихоньку умирать; и я, не подозревая, что уже сформулированы принципы эстетической рефлексии, рванулась к слову как единственному способу уберечь от ухода в Ничто чувство, которое было прежде смыслом и центром моей жизни. Но — «Нельзя сказать никаким стихом / Величия тайных скорбей» (Сергей Гонцов). Конечно же, ничего из этой затеи у меня не вышло.

Много лет спустя, придя по глупости на встречу одноклассников, я долго глядела на высокого грузного с проседью человека, силясь узнать; мне шёпотом пояснили: это такой-то. НЕТ! — крикнуло внутри. Он подошёл, поздоровался, пригласил танцевать. Голос был прежний, столько раз слышанный, провожавший меня в последний раз к автобусной остановке. Я закрыла глаза — как временно непроницаемый люк темпоральной капсулы.

Покажется парадоксом, но это п р и в а т н о е воспоминание, драгоценное тем, что не всякому его и откроешь, стало моим первым читательским впечатлением, когда я открыла роман «Приглашённая»*. Кажется, ни одна книга не давалась мне с таким трудом — несмотря на все попытки и вместо того, чтобы сосредоточиться на сюжете, память один за другим выдавала на гора фрагменты собственной истории, о которых я лет сто как успела прочно позабыть. Видно, сама повествовательная ткань сработала как некий механизм, что взрезает и тянет наверх донные илистые пласты.

Я думаю, всем в той или иной мере знакомы подобные состояния: звук, запахи, пейзаж вдруг выхватят из сиюсекундного, перемещая в яркие точки прошлого. Но Николай Усов, от имени которого рассказана удивительная и трагическая история Приглашённой, обуреваем равно воспоминаниями, не тускнеющими с течением лет — живы его отчаяние, ревность, нежность, — и дерзостным желанием извлечь свою возлюбленную из прошлого, создать хронотоп *in vitro*, укрыться вместе в какой-нибудь Флориде или Калифорнии, авось не найдут...

Две части романа так и выстроены, так и глядят в противоположные стороны, словно некий Янус при дверях вневременного, не подчинённого законам линейной физики обиталища. Попадает туда человек, утративший ощущение возможности дома в реальной жизни. «Где живёт Сашка Чумакова? — В ...ове. А где живёт Колька Усов? Нигде». Женитьба на хорошенькой, уютной, умненькой Кате — не спасение. Катя — функция, инструмент, средство: сбежать на дальний континент, обставить себя иными обстоятельствами, зачернить предательский внутренний глазок, неустанно транслирующий демонстрацию откровенных сцен из Сашкиной жизни. Но Катя умирает («её отняли у меня», говорит рассказчик), и Усов вновь остаётся один на один с чувством, терзающим его, словно орлица Прометея. Тут и возникает в его жизни загадочный Прометеевский фонд. «...люди часто не знают своих прав, даже когда речь идёт о вещах само собой понятных, а уж когда их угнетает что-то действительно запутанное и сложное — это бывает ужасно, г-н Усов. Вправе ли я даже помыслить об этом — ведь так думает незащитный человек? И этот Фонд, все мы — мы в первую очередь — стараемся дать ему знать, что у него есть право спросить. И право узнать, как преодолевается то, что стало для него несчастьем. И, наконец, право получить помощь, чтобы избавиться от несчастья».

Всякая благотворительность, как известно, о двух концах палка: клиента предупреждают сколь деликатно, столь и твёрдо, что существует вероятность непредсказуемых неожиданностей в исходе задуманного им предприятия, что движется к осуществлению с помощью ангельски терпеливых, нереально приветливых, с кафкианской нетопливостью действующих сотрудников фонда.

Настоящей Александре Фёдоровне, — пожилой, жалующейся на усталость («К вечеру я никакая, Колька. Ты можешь меня представить...никакой?»), но остающейся тем не менее сновидицей и мечтательницей, — Усов каждодневно телефонирует, но встречи как таковой упорно избегает, отнекавшись даже от очевидно искустельного шанса посетить родные места за казённый счет. Его теперешняя Сашка — это голос в скайпе или телефоне, загадочный «кранаховский» портрет, случайно обнаруженный им в галерее «Старые шляпы» да череда её образов, бережно и яростно хранимых памятью. Один из этих образов — или реальная Сашка, перенесённая с помощью самоновейших технологий из прошлого — возникает перед ним в момент чаемого вожаденного свидания в Нью-Йорке.

Здесь надо сделать маленькое отступление. В текущей журнальной книжке публикуется отрывок из «Приглашённой», не участвующий непосредственно в развитии сюжета, но имеющий, на наш взгляд, статус ключевого в понимании внутреннего устройства романа. Речь там, в частности, идёт о манхэттенских бездомных: среди странного и опасного этого люда один из персонажей романа, Нортон Крейг, следуя собственной методе, отыскивает создателей художественных шедевров. Его миссия — сохранить

для не-бездомных «феноменологические отпечатки» обречённых на стопроцентную смертность представителей диковинного племени. Николай Усов, по его собственному признанию, совершенно не владеет рисовальной техникой, но автором передано ему в дар словесное мастерство.

Крейг, как и положено, трижды совершает свой поход в «не знаю куда». Вчитайтесь в его последнюю просьбу: *«Теперь я прошу тебя нарисовать то, что ты хотел бы увидеть и почувствовать»*. Эпизод долгожданного свидания Усова с Сашкой движется по такой тоньшине лезвию, что невозможно понять, где заканчивается дотошно воссозданная рассказчиком действительность, а где забирают власть над героем феномены мета-реальности — воображение, слово, сны. Не сразу сообразишь, что телефонный звонок Сашкиной матери, прозвучавший на следующий вечер в квартире Усова, раздаётся из царства мёртвых — так естественны, так полны забавных детских оправданий ответные Сашкины реплики. «Сейчас приеду, я уже разобралась! Та мама, перестань!»

Время, где времени нет, закончилось. Сашка, быстренько подхватившись, убегает в легком своём пальтеце, скрывшись в нью-йоркской подземке, а наутро Николай Усов, позвонив по знакомому номеру, узнаёт о смерти Александры Фёдоровны от сердечного приступа.

Ключевые формулировки в романе всегда погружены в область молчания: право читателя — сформулировать собственное видение и трактовку неизъяснимого: «ты, Nick, кажешься достаточно сообразительным, и если у тебя найдётся желание и досуг поразмыслить, всё необходимое ты отыщешь самостоятельно». И в завершающем эпизоде, рвущем сердце мелкими деталями, рассказчик умудряется не показать читателю собственных эмоций. Делается это, разумеется, с умыслом: каждому читателю, вырастающему вместе с книгой в свою меру, самому судить — герой перед ним или антигерой, и с кем сводит он счёты в роковом поединке — с темпоральной ли всепоглощающей субстанцией, с неверной ли возлюбленной или с Вечной Женственностью, с тварью ли дрожащей внутри... Роман многоочит, в нём действуют, образуя символические планы, перспективы и переходы, — библейские сроки, античные диалоги, переиначенные евангельские притчи, царственные союзы имён. Простая основа, вариант вечного сюжета «она и он» благодаря сложнейшей, редкой по изысканности повествовательной архитектонике приобретает свойства уникальности, в которой в свою очередь проступают черты новой соборной всеобщности; роман трактует о подлинной, неподменной жизни; вопрошает каждого из нас о её сути, сердцевине и смысле.

Завершим наш короткий отчёт строчками, которые я мысленно вписываю в обёрнутую фольгой записную книжку:

«...Сашкины упрёки вскоре сменились настоящими рыданиями и выкриками, и признаюсь, мне было не слишком легко здесь — или точнее, отсюда — парировать их, не отрывая при этом взгляда от белёсой поверхности моего столика, от лежащих на этой поверхности бумажной салфетки с напечатанной благодарностью посетителям и уже упомянутой телефонной карточки, на рубашке которой изображалось космическое пространство, испещрённое небесными телами в движении и пронизанное лучистыми энергиями, при этом стараясь не закричать самому — ещё отчаянней и громче. Крик был бы тем более непозволителен, потому что там, где неистовствовала Александра Фёдоровна, уже опустилась приморская ночь: дальняя полянь, акации, соль, йод, студенистые трупы медуз».

* Юрий Милославский. Приглашенная. Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 473, [7] с.

SUMMARY

The recognition of spirits, or the genuine and false in human life, threads the sixth issue of **Man on Earth**. Among other substances love, as it feeds the souls of children and affects those of adults, is the everlasting subject of artistic effort. Like plain water will turn into the living one when the atoms in the crystal structure change their position, so does the soul sensing the Presence of Love. Personal memoirs intertwined with some critical notes on the recent novel *The Invited One* by Yuri Miloslavsky are the subject of **Tatiana Surganova's** editorial.

German Titov's *The Diary of the Fourteenth Year*, opening the issue, is a poetic reflection of recent tragic months in Eastern Ukraine.

Along the Rainbow by **Anton Farb** and **Nina Tsurupa** is written as anti-utopian bildungsroman based on pressing issues and poses one of fundamental philosophical questions: whether a growing soul will remain candid and innocent when facing the insincerity of an artificially constructed, hypocritical society. The theme is mirrored within realistic frames in the extract by **Dmitriy Konanyhin** «*We will all go to fight with you!*». The never ending search for justice and happiness is shown via the heroine's childhood in the Soviet Union.

The extract from *The Invited One* by **Yuri Miloslavsky** (the novel came out early this year) is a sample of pioneering prosaic style, brilliantly matching romance, reality, irony and philosophy. *Cornet Elaguin's Case* by **Raissa Belyaeva (Gurina)** traces the historical and biographical background of the famous Bunin's masterpiece.

The set of short stories titled *A Parchment Piece* by **Alexey Ugarov**, which is his first publication, represents the author's various stylistic search, from grotesque seriousness to ironical mockery.

The Daydreamer, the Sage, the Gamer portrays the personality of Alexander Mezhirov, one of the best Soviet poets as seen by Mezhirov's disciple and friend **Alexander Sorokin**.

Memoirs by **Anatoly Matveev** is a vivid and unsophisticated recollection of the past, written in memory of his father, Ivan Matveev, whose life with its daily battles and victories was a striking example of manful dedication to his vocation of a school teacher and of his service to Motherland.

The Early poems of **David Avidan** are brilliantly translated and introduced by Nikita Bystrov. **Marina Anashkevich, Tatiana Vinogradova, Alexey Gryakalov, and Konstantin Komarov** present variations of poetic manner throughout the issue. A romance by **Galina Katruk**, who was inspired with a lyrical poem by **Igor Melamed**, is the first instance of a musical piece in the almanac.



Харьков
Украина

Герман Владимирович Титов – литератор, архитектор, культуролог. Родился в самом конце Советской эпохи в г. Сумы, на Украине. С 1983 года живёт и работает в Харькове. Автор ряда реализованных архитектурных проектов в Харьковской, Сумской областях и Киеве (церкви, станции метро, магазины, кафе и т.д.).

С 1988 года выпускал самизда-
товские сборники стихов.

С 2000 года — публикации в
журналах и альманахах «Левада»,
«Крещатик», «Союз Писателей»,
«Ното Legens», «Каштановый
Дом», «Аврора», «ЛАВА» и др.
В 2006 в издательстве «Эксклюзив»
вышел сборник стихов
«Цветная Тень».

В 2011 — «Сны и Дали».

В 2012 году в издательстве «Точ-
ка» вышел новый сборник стихов
«Янтарная Почта».

Лауреат Харьковской муници-
пальной поэтической премии
им. Б. А. Чичибабина за 2012 год.

В настоящее время — главный
редактор Харьковского журнала
поэзии «ЛАВА».

Герман Титов

ДНЕВНИК ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ГОДА

ПРОЛОГ: ГЛОБУС ДЕТСТВА

*Вечер пятницы — утро субботы
По обоям плывут корабли
И на глобусе дремлют народы
Не нашедшие твёрдой земли*

*Аппликаций цветастые страны
В огражденьи пунктирных границ
Отдыхают — ещё очень рано
И не сыгран истории блиц*

*Время — вдавлено словно подушка
На излёте советской зимы
И на школьный пенал комнатуха
Так похожа — белеет церквушка
За окном — но безграмотны мы*

*А в учебниках бродят герои
И наскальные росписи парт
Изучают ахейцы у Трои
И пленён пустотой Бонапарт*

*Заучить наизусть их столицы
По оси поворачивать сны
И бессмыслице жизни учиться —
Лет за тридцать до новой войны*

ДЕКАБРЬ 13-е:

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Смывает времени прибой
Твою страну не понарошку
Не целься Ленский — Бог с тобой
Антошке не копать картошку

Для облегченья — жизнь и смерть
Разводят батрака на бабки
Провалится сугробом твердь
Искомый файл не в этой папке

С лихвой сливаются слова
И потому молчит Евгений
Боль изреченная — права
Но целится ревнивый гений

В бледнеющее далеко
Где облака бредут босые
И — не промазать в молоко
Россия попадёт в Россию

Начало подлинных чудес —
В простёртой в безысходность длани
Убитым падает Дантес
В ментальном и астральном плане

Иначе автору нельзя
И мудрено расставить точки —
Возьмитесь за руки друзья
Чтоб не тонуть поодиночке

ЯНВАРЬ: МАЙДАН

Пиночеты тут наперечёт
Чёт иль нечет — всё судьбе дороже
Гамбургеры свой не мыслят счёт
Гамбургским — и остывают тоже

Оттепели даже не проси
Под сосной заводят хороводы
Мёртвые идеи — без Руси
Не бывает подлинной свободы

Словно хлоркой — занесёт снежком
Расписной нужник подлунной славы
Как ни именуи теперь обком
Кардиган не сносит балаклавы

Заблужденья глупости легки
Но не все освобожденью рады —
Валятся в бою снеговики
За весны посмертные награды

КИЕВ: ФЕВРАЛЬ

Помахаемся махатма
Подожжём фуникулёр —
У богов твоих махатма
Кариес-педикулёз

Ничего — и слава Богу
Порошенко-порошок
Идиот идёт на йогу —
Думает там хорошо

Думает — не скоро путин
Привезёт свой ленинград
Глядь — а душу-то и скрутят
Демоны буддийских свят

Гражданин не будь вороной —
Воля встала на весы
В фонд гражданской обороны
Присылай её часы

С бузиной на огороде
Дядька город прикупил
Чудеса — там бродский бродит
Вдоль грушевых фермопил

Там блаватская с косою
На лихом летит коне
Тюрьмы патриоты строят
Но косятся все — вовне

Думкой — дурня утешают
И не скрыться от добра
А страна ещё большая —
Как февральский лёд с утра

ФЕВРАЛЬ: 22-е

Как там Жадан и как Майдан —
И Луцк и Киев сдан
И пыльно катится Богдан
В автобусе «Богдан»

Ждут пассажиры не дыша —
В эфире толчея
Протискивается душа
Сквозь пробки бытия

До супермаркета — вперёд
По битому стеклу
Лети мой скомканный народ
Талончиком во мглу

Попробуй бездну узаконь —
Одни стоят у касс
Других опять ведёт в огонь
Предательский приказ

Спасибо — ты ещё живой
Меж чёрных тополей
Но жизнь не стоит ничего
На родине моей

МАРТ: КРЫМ

Не видеть тебе Коктебель никогда
И это не главная — в общем — беда

Ощипан на тощий бульон Алконост
И ненависть ждёт сто восьмой перепост

Скажи — как тебе на гражданской войне
Проснувшись не зная — а в какой мы стране

Грачи прилетели — обрывки газет
Весна наступает а солнца всё нет
Добей это небо — за родину-мать
Которой давно на тебя наплевать

На выездах к смыслу — мешки да посты
Ни к жизни ни к смерти не выскользнешь ты

На кладбищах тучи темны как вода —
Подземная сотня берёт города

АПРЕЛЬ: НАДЕЖДА

Труды твои — погугли — не фонтан
И свет твой весь — под глиняным сосудом
Чужих небес — но даже если пьян
Лобзание не дай яко Иуда

Творенья тайн бо не поведать вне
Разбойник быв — ступай домой на деле
Как то зерно что глохло в глубине
Чтоб притчею проклюнуться в апреле

Есть Бог отцов — Ему доверься днесь
Его сквозняк и тень листвы шевелит
Вокреснет весь — и ты вернёшься весь
России уголок — бессмертья швеллер

АПРЕЛЬ: МИТИНГ

Если в городе стреляют
Значит людям это нужно
Это значит — дело к маю
И судьба небезоружна

В чёрных балаклавах в сквере
Инфернальные приметы
Воздают жильцам по вере
И почти привычно это

Смерть пиарится на славу
Подросли её продажи
Звёзды падают в канаву —
Сознаются в шпионаже

Видимое мирозданье —
Средний голливудский трейлер
И провалено заданье
Молотов хлебни коктейля

МАЙ: СЛАВЯНСК

Все высоты и волны твоя
Бездна в бездну кричит безответно
Это яви обещанный яд
Бронетехники вход предрассветный

Это сердце России в золе —
В окольцованном кровью славянской
Городишке среди тополей
Где истории порваны связи

Голоси теперь — не голоса
Это прадедов зримые тени
На разъездах последней Руси —
Ополчение берёз и сирени

Им назавтра дано умереть
А стихи — да вернутся им хлебом
Где есть Бог твой — где ты будешь впредь
Чёрный дым обернувшийся небом

МАЙ: 31-е

Ломкая нескладная фигура —
Кривизна в дурацких зеркалах
Даже тучи ныне ходят хмуро
Порождая безотчётный страх —

Так писал мой друг в советской стуже
Он давно уехал — и таков
Я же здесь — хотя нигде не нужен
Человек с фамилией Титов

Жизнь давно рассорилась со смыслом
Календарь похож на некролог
А страна над пропастью повисла
На развязке спутанных дорог

Поезда забыли полустанки
Самураи местные пьяны
Ангел смерти сочиняет танки
И темны аллюзии весны

Будет ли война — иль будет лето
Всякая судьба ещё права
И сидит с потухшей сигаретой
Будущей бессмыслицы вдова

ИЮНЬ: АНГЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Как выглядит ангел гражданской войны
Особенно — если смотреть со спины

На ангелу меркель совсем не похож
Крыло под брезентом — охотничий нож

Забрызганы бурой кровью штаны
И смят адресок от былой тишины

По двести — долой увезли тишину
И русское лето сменяет весну

Как выглядит солнце гражданской войны
И как отличишь его здесь от луны

Но чует земля — наступает беда
И стряхивает в темноту поезда

И всё голодней и жирней чернозём
Сожжённый карателем — корчится дом

Пылают цеха и поля и стога
Но мимо куда-то глядят облака

Родившийся русским умрёт рядовым
Чтоб русское небо оставить — живым

ИЮНЬ: 1-я МОБИЛИЗАЦИЯ

От души до смертного тела
Славный лес — шевченковский сад
Будет срублен — как ты хотела
И пора валить в Ленинград

Удались в горчичный Ганновер
Дуй туда где прячется «зэк»
Здесь конец эпохи панове —
Двадцать первый начался век

С борьбы — с бесславья — зачины
Всех трагедий были глупы
На войну уходят мужчины
От вчерашней пёстрой толпы

Что ж ты можешь — Духа отродье
Если жизнь опять не в чести
Собирать руками бесплодые
Сквозняки Господни пасти

ИЮНЬ: O SANCTA SIMPLICITAS

Святая Гелонка несёт дрова
А Гус — уже на дровах
И скоро зажгут и она права
И прах отправится в прах
Святой простотою держится мир
Опрятны её костры
И ангел смерти выйдет в эфир
Чтоб утра были добры

Чтоб добрый палач не проспал свой пост
А добрые бомбы — цель
И шли батальоны на грешный OST
За бюргерскую постель
Чтоб солнце вставало в дымной петле
На свой табурет-плетень
И знал своё место — в русской земле
Берёзы срубленной пень

ИЮНЬ: ЛИРИКА

Твоё появление оказалось главным
Теперь нельзя не заметить — лето Господне
Стало золотым грозовым и бесправным
И завтра громоухая заглушает сегодня

Переворачиваются грузовики
Взрываются опоры
Мостов и понятий — зияют битые линки
Молниями перемигиваются степные просторы
И свои республики провозглашают суглинки

И все понимают что смерть не злопамятна
И проливают ливни за гиблое дело
Звёзды зажигаются
Самолёты падают
И живущие счастливы — как всегда у предела

ИЮЛЬ: ПРИФРОНТОВОЙ ГОРОД

Айтишник где твой айпишник
В подвале ночью темно
И трезвым кажется лишним
Рисованное окно

Эпоха всех нас — трамваем
Как тот отряд октябрат
Но мы теперь точно знаем
Всё то что не говорят

Здесь холодно перед Богом
И студно перед людьми
Когда революций много
И врут базарные СМИ

Ублюдки всюду бесславны
В подвале земном темно
И кто там в Киеве главный —
Решительно всё равно

У звёзд бездарные роли
И червь добыче не рад
И поле — русское поле —
Повестка в военкомат

Иной не помним прописки
Почти прозрачные — мы
И солнце — палёный виски
Пиров во имя чумы

ИЮЛЬ: ЛУГАНСК

Бог в тяжестях знаем есть
И ливень в окопы бьёт
И град отрясает жесь —
Судьбы ночной недалёт

Ничто не выше идей —
За девять тысяч на счёт
Стреляет в русских людей
Когда-то русский пилот

Но суть рождается днесь
В коросте сажи и ран
И ветхий музыки месь —
На стройку рухнувший кран

Бетонных блоков гряды
Мешки с песком и тоской
Разорванные мосты
Над тощей мутной рекой

Свинца прорвавший кольцо
Бесслётно видишь — живой
Прикрыл картонкой лицо
Убитой на мостовой

ИЮЛЬ: ХАРЬКОВСКИЙ ВАЛЬС

Расскажи как Дельбрюк остался без брюк
Иванов — без смертных штанов
Город ночью июльской смотрит на юг
И на нём не видно обнов

Расскажи мне сбивчиво путь заречный
Чеботарских-Лопанских волн
Перекрыт застывшие в камне встречи
Топонимики волшебство

Монастырский звон семенит шажками
Не спеша меж имперских глыб
Осквернённых киевскими флажками
Меж соловых сонных садыб

Соловьиных всхлипов мальв и песочниц
Раритетных трамвайных трасс
И понятно что это давно не срочно
И конечно бессмертней нас

Расскажи отчего всё живое не плоско
В этом городе — слов в обрест —
И топорщится парк прибрежный — расчёска
Слободских вихрастых небес

ИЮЛЬ: ПОДРАЖАНИЕ СЕРБСКОМУ

Посв. Ел. Буевич

Мне б дожить юначе
До такой эпохи
Где никто не скачет —
Разве только блохи

Где без тега сможет
Вас узнать подруга
И всего дороже
Небеса над лугом

Где скудны и узки
Сны военной славы
Где ветрам по-русски
Отвечают травы

Площадной элите
В том краю уместней
Собирать на митинг
Облака да песни

Смерти нет у были
И не ранят взора
Жёлто-голубые
Ленточки позора

ИЮЛЬ: ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

Он глуп словно ленский — он перебирает рис
Идей непроросших и благословляет смерть
Не думая что с палачами можно лишь вниз
Без виз и без башни — а вверх уже не успеть

Как те что ходят к посольствам в жёлтом белье
И требуют чтоб бомбили ещё плотней
Шахтёрские степи — но жизни нет во вранье
Кружит вороньё и стёрлись пружины дней

Застрял механизм а все как один друзья
Былые войновичи славят войну с утра
Эпоха свихнулась — вернуться уже нельзя
И чёрное солнце углём ползёт на-гора

АВГУСТ: ШАХТЁРСК

Бог не выходит из машины
Хоть дверца и отворена
И пулями пробиты шины
Такси по имени «война»

Стихии затаив дыханье
Потеют за кровавой мглой
Но не хулит Творца создание
И гибнет на передовой

Живой цеплялся б за надежду
По осени шукать цыплят
Но все поделены одежды —
Твой Сын вот так же был распят

Твой замысел заряд не знает
И смертный вряд ли разберёт
Но говорит не умолкая
Подствольный Твой гранатомёт

И видно как бы ни считало
Безумие — баланс идей
Для выхода всё время мало
Сожжённых женщин и детей

Отчаянья ль назначишь меру
Перелистаешь instagram
С вершины мироздания Меру
Бьёт артиллерия по нам

Картонками слагая зданья
И корчится бетон в крови
Но если знаешь оправданье
То — назови

АВГУСТ: ПОЛКОВНИК

Вот так до бессмертья и расстанутся —
Расфрендить и позабыть
И звёзды таращат чёрствые блюда
На твой небытийный быт

Пока подрывают ночь партизаны
Пока стреляет война
Все наши слова неискусобранны
И скомканы имена

А где-то вздыхает мирное море
И дали въяве чисты
От залпов ненависти и горя
От смертной неправоты

В сосновом бору за синью подлеска
Ручей теснит бурелом
И пахнет поляна солью и леской
И детства древним теплом
И ветки переплелись со светом
И нет проклятой вины
Полковник построчно припомнит это
У той — последней — стены

АВГУСТ: 22-е

Столько безумия в воздухе августа —
Дрогнешь и без войны
Пухнет луна над гнездовьем аиста
Над труною страны

Как ни ховайся в хитонах хитиновых —
Тёмны воды Днепра
Топят буржуйки здесь бурагинами
С нашего глядь двора

Время ж само направит патроны и
Жизнь — бессмертья праща
Памятью вечной преображённая
Радость моя прощай





**Украина
Житомир**

Нина Игоревна Цюрупа

родилась в 1983 г. в Москве
в семье врачей.

Училась в Литературном инсти-
туте им. Горького (семинар Олеси
Николаевой). Работала журна-
листом, аналитиком, секрета-
рем, учителем, воспитателем,
редактором, рецензентом.

Пишет стихи и прозу.

В 2011 г. вышел первый
роман — «Человек человеку».
С тех пор опубликовано десять
романов, некоторое количество
рассказов и повестей —
в основном под псевдонимом
и в соавторстве.

Антон Моисеевич Фарб

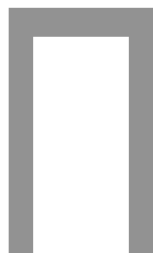
родился в 1979 г. в Житомире.

Окончил Житомирский Государ-
ственный Университет им.
И. Франка. Переводчик, бакалавр.

Работал системным админи-
стратором, переводчиком,
референтом, уполномоченным по
работе с таможен, тур-
оператором, заведующим
производством, экскурсоводом.
Литературной деятельностью
занимается с 1996 г.

Публикации в журнале «Порог» в
2001-02 гг. Роман «День Святого
Никогда» вышел в издательстве
АСТ в 2005 г. Повесть «Изнанка
миров» вышла в журнале «Реаль-
ность фантастики» в 2011 г.
и была признана победительни-
цей конкурса «Дней фантастики
в Киеве» в 2011 г. Повесть «Рим»
вышла в издательстве ЭКСМО в
2014 г.

Антон Фарб, Нина Цюрупа



О РАДУГЕ

СПАСИБО КСЮШЕ —
автору большинства описанных здесь рисунков —
за творчество и консультации

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

На флагштоках трепетали семь вымпелов — семь цветов единого пути к счастью — Радуги.

Крики чаек и шум прибоя, косые лучи по-весеннему тёплого солнца, неистово синее небо, пронзённое верхушками корабельных сосен, запах хвои и водорослей, шелест кустов жасмина, лёгкий ветерок. Ровные ряды детских голов — ученики выстроились на плацу перед белоснежным учебным корпусом.

Голов семьдесят две. Дети — лохматые и стриженные, смоляно-чёрные, огненно-рыжие, выгоревшие на солнце до соломенной белизны, лопухие, конопатые, курносые, остроглазые — такие разные и такие одинаковые в восторженном внимании к происходящему.

Воспитанники Интерната, облачённые в парадную форму — серебристые курточки на молниях, тёмно-синие шорты и кожаные сандалии, — замерли на плацу, спиной к морю, лицом к трибунам, и смотрели на нас жадно, с трепетом.

Мы же, учителя и наставники, собравшись у флагштоков, взирали на директора Витберга с подобающим величию момента почтением.

Директор вещал.

— Счастливое общество, — голос Витберга, усиленный колонками, разносился не только над плацем, но и над всем парком, окружавшим корпуса Интерната, — состоит из счастливых людей. Быть счастливым — обязанность каждого члена общества Радуги. Радуга — путь к счастью, средство достижения цели. Вам, воспитанникам нашего Интерната для трудных подростков, известного также как Школа Счастья, ещё только предстоит стать счастливыми. И не думайте, что это будет легко! Ибо истинное счастье — не сиюминутный экстаз, а единственно нужное человеку и обществу состояние души...

Я с трудом подавил зевок и поглядел на часы. До конца линейки оставалось десять минут.

— Сегодня, в первый учебный день последнего триместра начальной школы, вы подходите вплотную к самому главному испытанию в жизни. Ровно через три месяца каждая комната представит своему учителю дипломный проект и будет допущена к экзамену счастья. И не все, — Витберг выдержал драматическую паузу, — далеко не все смогут этот экзамен сдать. Те, кто не справится — примерно каждый четвёртый, — не будут переведены в следующий год жизни. Они пойдут по Радуге.

Гнетущая тишина повисла над плацем. Витберг, высокий, монументальный, с седой косицей и щегольской бородкой, обвёл замерших воспитанников тяжёлым взглядом.

— Но я верю, — повысил голос директор, — что каждый из вас — с помощью своего учителя — сделает всё возможное, чтобы занять место в нашем счастливом обществе! Радуйтесь, дети! Мир и любовь!

— Мир и любовь! — вразнобой, но громко и с энтузиазмом грянули воспитанники.

Оркестр заиграл гимн, и все вытянулись, приложив руку к сердцу. Я вздохнул с облегчением и украдкой нащупал картонный прямоугольник в нагрудном кармане рубашки.

Визитная карточка, которую дал мне Витберг вчера, обжигала руку сквозь ткань. Казалось, весь мир видит и знает, что именно лежит у меня в кармане... Горячая волна стыда накатила — и схлынула, уступив место жадному предвкушению.

Сегодня.

Вечером.

Осталось совсем чуть-чуть.

— Учитель Квинт! Учитель Квинт!

Задумавшись, я не заметил, как закончился гимн и детей отпустили к учителям. Моя четвёрка, запыхавшись от волнения, обступила меня. Несчастливцы, отбросы нашего общества, подлежащие исправлению... или эвтаназии. Алекс, негласный, но очевидный вожак маленькой стаи, задал главный вопрос:

— Учитель Квинт! Когда нам дадут проект?!

В ответ я бросил снисходительно:

— Не проект, а проектное задание. Получите его у себя в комнате.

— Ура! — Лицо Алекса озарилось фальшивым восторгом.

Он был красивым мальчиком, высоким, стройным, с правильными чертами лица — но совершенно не умел врать, что могло его погубить на экзамене счастья. Вот Борька, здоровяк-тугодум, ближайший друг и прихлебатель Алекса, радовался совершенно искренне. Он, похоже, органически был неспособен испытывать противоречивые эмоции, и я не знал, плюс это или минус в его положении.

Аутсайдеры четвёрки — пухлощекий Лёнчик и тихий, затюканный Олежка, плелись в хвосте и видимых эмоций не проявляли. Тёмные лошадки.

Вот за что я люблю экзамен счастья — это всегда такая лотерея...

— Радуйтесь, неудачники, — бросил я, входя в комнату и вынимая из портфеля запечатанный конверт. — Вот ваше задание. Шаблон номер девять. Радиоуправляемый планер. Изучайте. Меня сегодня не будет до конца дня, все вопросы — в письменном виде. Мир и любовь! — бросил я, махнув рукой.

— Мир и любовь! — попрощались детишки, и я быстрым шагом направился к выходу.

Визитка Витберга стучала в моё сердце.

Вечером.

Сегодня.

* * *

Олежка обернулся к ребятам: Алекс сел за стол, Борька плюхнулся на нижнюю койку, не снимая сандалий, а Лёня стоял рядом с Олежкой и пялился на дверь, будто не верил, что учитель оставил их одних.

— Чего смотришь? — буркнул Алекс.

Против света, падающих сквозь витражное окно косых лучей солнца, Олежка видел только силуэт Алекса. На тёмной столешнице белел конверт с заданием.

Алексу Олежка решил не отвечать. Чудесное утро, собрание, речь Витберга взбудоражили его.

Я счастлив сейчас?

И спорить, терять воодушевление, нужное для работы над проектом, Олежка не собирался. Началась новая жизнь, с сегодняшнего дня всё изменится. Даже привычная комната преобразилась: полукруглое окно почти во всю стену, витраж — самолёт, скользящий над морем — в верхней его трети; двухэтажные кровати слева и справа, овальный стол посередине и четыре чёрных, плавных очертаний стула у него; ниши с книгами и цветами, шкаф, бежевый пластик стен и тёмное дерево мебели — всё светилось особым значением.

Предвкушением счастья.

Олежка сосредоточился на этом ощущении, удерживая его.

Не хватало интенсивности. Ярче бы солнечный луч, громче — птичью трель, сильнее — запах близкого моря... Чертежи на столе манили. Олежка подошёл, распечатал конверт, вынул лист — прямые линии, цифры, сухой расчёт.

А самолёт — мечта о небе. Свобода мечты.

— Ребят, а давайте его нарисует! Нарисуем, каким он будет!

Хрюкнул Борька, сел рывком на постели. Олежка быстро перевёл взгляд на Алекса. Вот как он решит — так и сделаем, Алекс обязательно согласится. Обязательно. Сейчас.

Я счастлив сейчас?

— Ты не нервничай, — Алекс подпёр голову рукой, — спокойней, Олежка. Тебе в этом проекте участвовать не надо. Тебя всё равно не переведут в следующий год жизни. Съешь фиолетовую и ложись спать. А лучше — иди к эвтанологу и по Радуге, не для мучения.

Почему?! Борька снова хрюкнул, ещё раз, и заржал. Лицо Алекса оставалось в тени. Сейчас Лёнька скажет. Лёнька всегда поддерживал. Лёнька спал над Олежкой, и они дружили.

— Давай-давай, — сдерживая смех, посоветовал из-за спины Лёнька. — Топаи! Доктор тебя уже дождался, несчастливый ты наш! Сам понимаешь, одного всё равно не переведут. И этот один — ты, правда, Алекс? Мы-то — счастливы! А тебе — по Радуге!

Заливался беззаботным хохотом Борька. Молчал силуэт Алекса. Белели чертежи на столе.

Сейчас я несчастен.

* * *

Машины я оставил в гараже Интерната и в Приморск добрался пригородным троллейбусом — по-черепашьи медленным и плавным. От вокзала до трамвая полтора квартала пешком. Тёплый короткий весенний день догорал. За окнами трамвая сгущались чуть рыжеватые сумерки. На чистых улочках Приморска зажглись фонари, открылись кафе и рестораны, замурлыкала лёгкая музыка.

Раскачивались над проезжей частью транспаранты: «Счастье — твоя обязанность!», «Радуга — твой путь к счастью!», «Будь счастлив, брат, будь счастлива, сестра!», «Счастье — наш удел!».

Счастье, счастье, счастье. Слово, выцветшее от частого употребления и заново раскрашенное в цвета Радуги.

Наступил вечер.

Наконец-то.

Уже.

Меня настолько поглотили мысли о предстоящем, что кондуктора я заметил, лишь когда он подошёл вплотную ко мне.

— Радуйся, брат! — произнёс кондуктор и улыбнулся. — Будь любезен, предъяви билет.

Билет! Это вырвало меня из задумчивости и заставило похолодеть. Я совсем забыл про билет! Впрочем, оно и понятно — сто лет уже не ездил трамваем.

— Радуйся, брат, — машинально поздоровался я, кое-как выдавив улыбку. — Ты знаешь, кажется, я забыл оплатить проезд.

— Ничего страшного, брат! — успокоил кондуктор. — Ты можешь заплатить штраф сейчас, или прислать тебе уведомление на домашний адрес?

Я полез за бумажником. Оставлять адрес в мои планы не входило. Мало ли...

— Я заплачу.

— Двести кредитов, — всё так же безмятежно улыбаясь, сообщил кондуктор.

Ого! Хорошо хоть, необходимая сумма при себе имелась, я расплатился и сошёл на остановке, провожаемый доброжелательно-снисходительными взглядами пассажиров.

Место моего назначения уже было видно: асимметричная стеклянная призма возвышалась над черепичными крышами приземистых двухэтажных домиков, будто осколок прекрасного будущего, залетевший в сонный уголок старого Приморска. Над призмой оранжевым неонам горели слова: «Центр физической культуры и досуга».

Дверь Центра открылась с натугой. Вестибюль встретил меня прохладной пустотой.

С высокого потолка свисали оранжевые транспаранты с традиционными лозунгами вроде «В здоровом теле — здоровый дух!» и «Движение — это жизнь!». У нас любят вкладывать мысли в головы населения в такой вот простой и доступной форме. Населению нравится. На мозаичном панно мускулистые парни и стройные девушки играли в теннис и занимались легкой атлетикой. Сквозь витражи (улыбки, спортивные тела, тренажёры) пробивались лучи заходящего солнца, заливая вестибюль оранжевым светом.

Всё вокруг было таким бодрым, таким светлым, таким радостным и настолько оранжевым, будто ты попал внутрь апельсина.

— Радуйся, брат! — девушка за стойкой просияла белозубой улыбкой. — Ты первый раз у нас?

— Радуйся, сестра. Да, я впервые.

— Замечательно! Ты хочешь оформить абонемент или разовое посещение?

Хороший вопрос. Но я пока не мог на него ответить. Пришлось изобразить смущение.

— Я бы хотел для начала попробовать...

— Конечно, брат! Это будет стоить пятьдесят кредитов.

Я расплатился и получил взамен комплект одноразовой спортивной формы (разумеется, оранжевой), сменные кеды и полотенце.

— Это тебе, брат! — Девушка протянула на открытой ладони оранжевую таблетку. — В первый раз очень помогает.

Оранжевая таблетка предназначена для тех, кому предстоит физическая активность. Она повышает уровень адреналина и кортизола, но снижает тестостерон — дабы избежать побочных эффектов, о которых в приличном обществе говорить не принято. Идеальное решение для тех, кто собирается провести ближайший час на беговой дорожке или поднимая штангу. У меня же были несколько иные планы.

Таблетку я взял, вежливо поблагодарив, и даже сделал вид, что принял её, запив водой из питьевого фонтанчика.

— Дальше прямо по коридору будут раздевалки, — указала девушка. — Там тебя встретят. Мир и любовь!

— Мир и любовь, — откликнулся я и зашагал по коридору.

Над дверью раздевалки в мраморе запечатлели главнейшую мудрость нашего общества: «Человек рождён для счастья, как птица для полёта». Судьба пингинов, а тем более — кур никого не волновала. Внутри меня поджидал подкачанный юноша в белоснежных шортах и футболке, с белоснежной же улыбкой на белобрысой физиономии. Даже глаза у него были светлые, почти прозрачные, пустые и бессмысленные.

— Радуйся, брат! — приветствовал пустоглазый. — Меня зовут Игорь, я инструктор тренажёрного зала. У нас есть кардио- и силовые тренажёры, а также игровая секция и бассейн. Что тебя интересует?

Дрогнувшей рукой я вытащил визитку директора Витберга и протянул инструктору. Пути назад не осталось, и плевать я хотел на тень презрения в этих пустых глазках.

— Хорошо, брат, — кивнул Игорь. — Следуй за мной.

Мы миновали раздевалку, прошли через заставленную швабрами и ведрами подсобку, свернули в сторону гудящей котельной, очутились в воняющем сыростью и хлоркой полутёмном коридоре и остановились у вымазанных мазутом дверей грузового лифта.

— Ты немножко опоздал, брат. Занятия уже начались. Всё необходимое ты получишь внизу.

Дверь открылась с шипением. Я сглотнул и ступил внутрь.

Лифт поехал вниз.

* * *

Остальная тройка весь день спорила, Олежка прислушивался: обсуждали проект, потом решили пойти на улицу, но долго препирались, к морю или в парк. Солнце брело по небосводу, луч переполз на Олежкину подушку, огладил щёку тёплой ладонью. Олежка не повернулся.

На пляж, искать халцедоны и агаты! — постановил Алекс.

Собирались шумно и долго, делили полотенца, искали шлёпанцы. Купаться ещё рано, море не нагрелось, но бродить по кромке при-

боя, выбирая из камешков самые красивые — лучшее весеннее развлечение.

Олежка и сам бы пошёл в надежде отыскать сердолик, отполировать его о крылья носа, чтобы блестел, оплести проволокой и с гордостью носить на шее. Ещё вчера бы пошел. Ещё утром бы пошёл.

Не сейчас.

Его и не звали, будто не замечали лежащего носом к стене четвёртого.

Наконец, они ушли. Олежка, уставший от неподвижности, подождал минуту, вылез из-под одеяла и выглянул в окно. Его товарищи вприпрыжку неслись по песчаной дорожке. Рядом, на равных. Счастливые.

Олежка успел нарисовать в тетрадке стаю чёрных ворон на фоне белого солнца, голые ветви осеннего парка, штормящее море, изломанный бурей остов самолёта-«кукурузника». Полдничал Олежка в одиночестве — товарищи так и не вернулись, в столовую вообще почти никто не явился, все забрали снесь в парк и на пляж.

Олежка заглянул в подсобку и покормил мышей — учитель Квинт обещал какие-то эксперименты на грызунах, но не сейчас, а позже. Может, через месяц. Мыши были забавные, все — белые, и только один — с серым хвостом. Олежка немного повозился с грызунами, но они быстро наскучили ему.

Солнце ушло из комнаты, погрузив её в полумрак, Олежка вернулся в постель. Алекс прав, его не переведут в следующий год жизни, отправят по Радуге. «Каждый четвёртый» — сказал директор Витберг, и понятно, кто из комнаты Квинта — этот «каждый». Алекс беспристрастен в суждениях и справедлив.

Цвета сгустились, Олежка отвлёкся и некоторое время разглядывал знакомую обстановку, любясь изменчивостью тонов.

Я счастлив сейчас?

Скрипнула, открываясь, дверь, и вошел Лёнька с наброшенным на шею полотенцем, с мокрой головой. Олежка поднялся навстречу — Лёнька улыбнулся. Алекса с Борей видно не было. От Лёньки несло потом и морской водой.

— Радуйся! Купался? — со смесью недоверия и восхищения воскликнул Олежка. — Холодная вода?

— Градусов двенадцать.

Лёнька принялся вытираться. Олежка приблизился, пощупал рукав Лёнькиной рубашки — мокрая.

— Что, прям в одежде?

— А почему нет? Это же радость. Счастье. Тебе, несчастливцу ущербному, не понять.

Олежка обошёл Лёньку по кругу. С товарища натекло на пол — Лёнька так спешил в корпус, что даже не отжал вещи. Надо бы вытереть — в ванной тряпка была.

— Ты куда это, Олежка? Решил в унитазе испупаться?

Смущённый, раздосадованный, Олежка обернулся к другу. Лёнька вдруг улыбнулся так же широко и радостно, как раньше. Хлопнул Олежку по плечу:

— Или ты топить пошел? Нельзя же так! Обратись к друзьям, друзья помогут!

Лёнька с лёгкостью подхватил Олежку и перекинул через плечо. Комната перевернулась, Олежка попытался вырваться, но друг держал крепко. Не выпуская Олежку, Лёнька открыл дверь и зашагал по коридору. Олежка даже сопротивляться перестал. Это шутка такая, да?

— Ты куда меня несёшь? — спросил он мокрую Лёнькину спину.

Я же счастлив сейчас?

— К эвтанологу! — Олежка неуверенно хохотнул, но Лёнька продолжил, цитируя школьную памятку: — Я счастлив — значит, я существую. Ты несчастлив? К чему длить страдания? Все болезни лечатся: если не Радугой, то эвтанологом! Иди по Радуге, несчастливец!

Кабинет интернатского эвтанолога в соседнем корпусе, и на Олежкиной памяти работа для врача находилась четыре раза. Три мальчика из старшей группы ушли год назад. И ещё был одноклассник — давно, сразу после поступления. Олежка принялся выдираться:

— Пусти! Пусти!

Отражаясь от стен коридора, голос звучал тонко и жалобно. Лёнька не отпускал, волок к лестнице. Закатное солнце, отражаясь от стёкол Клуба, дробилось в окнах. Олежка надеялся, что кто-то попадётся навстречу. Пусто. Ни человека.

— Пусти!

— Ч-что п-происходит?!

Лёнька поставил Олежку на пол, и Олежка тут же сел — ноги не держали. Снизу вверх он смотрел на учителя Викентия, вышедшего из кабинета дежурного.

— Ч-что т-тут творится?! — Кадык на гладко-выбритой шее учителя физкультуры судорожно дёргался. — Как вам не совестно? Леонид! Это же... насилие. Вы же надеетесь стать полноправными, счастливыми членами общества. Олег, встань, когда учитель к тебе обращается. Игра без правил — удел животных. Человек играет по правилам. Для этого изобрели спорт. Насилие — удел ущербных. Вы хотите в армию? Хотите стать

солдатами? Или по Радуге? Или всё-таки предпочтёте вырасти людьми? А, дети?

— Мы хотим стать людьми, учитель Викентий, — понурившись, проблеял Лёнька.

Дрожащий Олежка вытянулся рядом с ним и попробовал ответить, но голос не слушался. Смешать все краски на палитре, жирно макнуть в них кисть и ляпнуть на бумагу — получится насилие. Учитель Викентий прав. Уши горят — Олежка участвовал в этом. В игре без правил. С элементами насилия.

— Ступайте в свою комнату, дети, — нахмурившись, приказал Викентий. — Завтра я обо всём доложу Квинту.

Олежка развернулся, чтобы идти, и поймал осуждающий, полный чего-то нехорошего, горячего, взгляд бывшего друга.

* * *

— Надевай, — протянув мне шлем и перчатки, велел распорядитель.

Пара чёрных боксёрских перчаток и чёрный же шлем с прозрачным забралом. Ну конечно. Какого ещё цвета может быть армейское снаряжение для агрессивных тренировок?

Интересно, где они раздобыли инвентарь? Его так просто не купишь в магазине.

В подвале было темно. Яркое световое пятно под единственной лампой обступила небольшая плотная толпа. Даже в полумраке за его пределами я рассмотрел характерные черты солдафона в распорядителе: короткая стрижка ёжиком, сломанный нос, расплюснутые уши, тяжёлый подбородок и глубоко посаженные глазки варёного поросё.

Солдат, точно.

Из хорошего железа не делают гвоздей, хороший человек не пойдёт воевать. Вооружённые силы — сточная канава для ущербных, чересчур агрессивных несчастливцев. Большая часть выпускников нашего Интерната идёт в армию, кроме, разумеется, тех, кто отправляется по Радуге.

— А можно без этого, брат? — спросил я, взяв перчатку двумя пальцами. От снаряжения разлило потом и кровью.

— Можно, — кивнул солдафон. — Если морду и кулаки не жалко.

Резонно. Лучше надеть. Чёрт с ней, с брезгливостью. Синяки и ссадины мне ни к чему.

— Первый раз? — поинтересовался солдафон, пока я неловко пропихивал руки в перчатки.

— Угу, — промычал я, подставляя голову под шлем.

Распорядитель застегнул липучку под подбородком. От кожаной подкладки пахло дезинфекцией. Дышать стало трудно.

— Тогда запоминай! Бой три минуты. Правил нет, но по яйцам бить не принято. Остановка боя — потеря сознания или сдача. Всё понял?

— Угу, — повторил я, не слыша себя из-за грохочущего в ушах пульса.

— Вперёд!

Меня хлопнули по спине и вытолкнули в круг света. Толпа услужливо расступилась, и я увидел противника.

Худой. Жилистый. Но — с намечающимся брюшком. Как и я, босой и в одних спортивных трусах. Дёрганные, рваные движения. Пританцовывает от нетерпения. Одна рука — у головы, вторая на уровне пояса.

Опытный? Или тоже новичок? А, без разницы...

— Бой!!! — гаркнул распорядитель, и мой противник бросился вперёд.

Новичок. Размашистые, расхлябанные движения. Плохая координация. Плохо держит равновесие. Зато агрессии хоть отбавляй. Я уклонился пару раз от его неуклюжих ударов и неловко бросил вперёд левую руку.

Попал! Рука сразу онемела от запястья до локтя. Противник, вопреки ожиданиям, не упал, а будто взбесился, пропустив удар, и обрушил на меня ураган бестолковых, но увесистых оплеух. Я попытался закрыться — тщетно. В голове загудело, ноги стали ватными. Перед глазами поплыли цветные пятна.

Да что ж это такое, а?!

Ну почему когда надо — оно не приходит?!!

Жилистый гад подобрался уже вплотную, обхватил меня за шею и прижал к себе, собираясь бить коленями. Запотевшее забрало шлема уткнулось в голое плечо, и сквозь дырочки для вентиляции ударил резкий, животный запах пота.

И тут меня перемкнуло.

Я подставил локоть под худосочное колено противника — тот как раз пытался заехать мне в печень, так что оно, в общем-то, само получилось, потом подцепил его ногу и рванулся вперед, давя массой.

Мы оба упали, но я оказался сверху.

От удара об пол из гада вышибло дух, и я сорвал его захват, уселся верхом и начал дубасить перчатками по шлему, от всей души стремясь проломить забрало и разбить невидимое лицо в кровавую кашу.

Каждый удар отзывался стуком в висках, перед глазами плыла красная пелена. Всё тело горело, каждая мышца работала на пределе возможного.

Я превратился в дикого зверя — и мне это понравилось. Ведь за этим я сюда и пришёл.

Не было больше ничего. Ни полутёмного подвала, ни толпы вокруг. Только я — и костлявый гад, которого следовало размазать по бетонному полу.

И всё это бесконечно долгое время рядом кто-то орал. Дико, бессмысленно.

Потом меня схватили под мышки и оттащили в сторону, окатили ледяной водой из ведра — и я понял, что кричал я.

Орал от ярости и от счастья.

ГЛАВА 2

— Радуйтесь, неудачники! — Учитель Квинт оглядел класс, развернулся к застеклённому шкафу с реактивами и принялся их перебирать. Голос звучал глухо: — Сегодня у нас лабораторная работа на закрепление материала. Дежурный!

Олежка поднялся. Что стряслось с Квинтом? Обычно заранее о лабораторных предупреждает. По классу пронёсся легкий гул неодобрения, Борька, сидевший рядом с Олежкой, в сердцах хлопнул по парте ладонью. Квинт оглянулся:

— Тишина в классе. Дежурного долго ждать буду?

Под взглядом его Олежка съёжился и быстро-быстро засеменял по проходу. Квинт следил за его перемещениями. Олежка втянул голову в плечи и потупился, но образ учителя никуда не делся: Квинт — налысо бритый, с хищным черепом, хрящеватым горбатым носом и слишком глубоко посаженными глазами цвета стали (сейчас они кажутся чёрными), тонкие губы кривит ухмылка, подбородок выдаётся вперед.

Учитель бывает и другим. Олежка помнил его настоящую улыбку — за такую всё на свете отдать можно, Олежка пытался зарисовать, не получилось.

— Ну? — Кажется, эти несколько шагов Олежка брёл непозволительно долго. А может, причиной гнева Квинта — вчерашняя сцена с Викентием? — Дежурный, раздай реактивы и посуду классу.

Олежка вынимал с полок колбы и указанные реактивы, пытаясь вспомнить, что же за тема была на прошлом уроке химии. Да, точно, про кислоты и щёлочи.. Реакция... как же её?!

Сейчас я несчастлив. Я не могу быть счастливым. Я должен.

Неловко, криво, Олежка раздал материалы. В классе висело поганое молчание — предчувствие шторма. Даже Борька не хохмил, даже

Лёнька отводил глаза, даже Алекс уставился в потолок с серьёзным видом. Смотреть на учителя избегали.

— Итак. Неудачники, кто назовёт реакцию между кислотой и щёлочью и объяснит, как она проходит?

Олежка вернулся на своё место рядом с Борькой. Лишь бы не меня. Алекс, выручай.

Алекс выручил: поднял руку, но Квинт ждал кого-нибудь другого. Олежка зажмурился. Только не меня. Я слово забыл.

— Хорошо. Алекс?

— Реакция нейтрализации, учитель Квинт! При взаимодействии сильного основания, то есть щёлочи, и кислоты образуются вода и соль. Написать реакцию на доске?

— Не нужно. Сейчас каждый из вас, во-первых, приготовит растворы кислоты и щёлочи, во-вторых, проведёт реакцию титрования, в-третьих, проведёт реакцию нейтрализации и запишет результаты на листочке. Условия считать нормальными. Листочки подписать в правом верхнем углу. Примите по зелёной из личных Радуг и приступайте.

Олежка раскрыл свою Радугу, подцепил зелёную гляцевую таблетку, одним видом вселяющую спокойствие и сосредоточенность, проглотил её, не запивая — капсула легко скользнула в желудок. Подождал, сколько требуется, прикрыв глаза. Успокоился, сосредоточился и принялся за работу.

Никто не отвлекался. Зелёная действовала, и Олежка перестал замечать что бы то ни было, кроме белого пластика парты, колб и пробирок, склянок и пипетки. Высунув от напряжения кончик языка, он записывал результаты.

— Дежурный! — Олежка как раз успел поставить точку. — Соберите работы!

Олежка вскочил, едва не уронив колбу, и пошёл по рядам, принимая листочки из рук одноклассников. Кое-кто судорожно дописывал, кто-то уже закончил. Стопку бумаги Олежка положил на стол учителя, Квинт кивком поблагодарил.

Я счастлив сейчас?

Боря улыбнулся Олежке, и Олежка, возвращающийся к парте, чуть не споткнулся — вообще за хулиганом Борькой такого не водилось. Не сводя взгляда с соседа, Олежка сел.

Что-то хрустнуло под задницей. По классу поплыл насыщенный запах тухляка.

Комната, заполненная весенним солнцем, пробившимся сквозь листву, светлая и чистая, портреты химиков на стенах, Периодическая та-

блица элементов — яркая и праздничная, белая доска со следами маркера — и эта вонь. У Олежки на глазах выступили слезы. Штаны промокли. Олежка боялся шелохнуться.

— Фу! — Боря демонстративно зажал нос пальцами и загундосил. — Учитель Квинт, Олежка обделался!

Товарищи грохнули хохотом. Громче всех старался Лёнька. Алекс смотрел в сторону.

— Ну-ка встань, — Квинт приблизился к парте. — Встань, кому сказано.

С трудом, будто ноги его одеревенели, Олежка повиновался. Учитель посмотрел на стул.

— Кто это сделал?

Олежка обернулся. На сидении валялась яичная скорлупа, и растекалось зеленоватой лужицей тухлое содержимое. Замутило.

— Кто это сделал? — с нажимом повторил учитель Квинт. Класс безмолвствовал. — Считаю до пяти. Если никто не признается — наказан весь класс. Раз.

Слезы всё-таки покатались по щекам. Олежка, дрожа, хлюпал носом, прятал лицо, но сесть или выйти в туалет не смел.

— Два. Три. — Слова падали редкие-редкие, как капель. — Четыре. Ну, давайте, трусы, неудачники. Давайте! Будьте людьми, возьмите ответственность. Боря?

Конечно, кто же ещё! Боря дёрнулся так, что парта вздрогнула, и просипел:

— Да. Учитель Квинт. Это я. Это...

Прозвенел звонок.

— Все свободны, кроме моей четверки. Результаты лабораторной будут на следующем уроке. Мир и любовь!

— Мир и любовь! — класс опустел.

Квинт помолчал полминуты.

— За проступок каждого из вас несут ответственность остальные. Запомните это, твари неблагодарные. За агрессию по отношению к одному из вас тоже несут ответственность все остальные. Но я не потащу вас к Витбергу. Пока что. Алекс и Лёня — соберите реактивы, вымойте посуду, приведите класс в порядок. Олежка — ступай стирать штаны. Боря — за мной.

— Но учитель, физическая культура... — начал было Алекс и осёкся.

— Подождёт. Есть вещи поважнее. Вперёд, если хотите не сильно опоздать на урок.

Квинт направился к двери, Боря побрёл за ним. Олежка выскочил следом, в коридоре былолюдно и шумно, бегали и смеялись. Чувствуя расходящуюся от него волнами вонь, кожей ощущая брезгливые взгляды, Олежка кинулся в туалет.

* * *

— Ну-с, молодой человек,— протянул я. — Изволь пояснить, зачем ты проделал эту гнусность со своим товарищем. Я жду.

Боря молчал. Он был похож на нескладного щенка-переростка — длинные руки-ноги, непропорционально маленькое тело, прыщавая мордочка и глупый взгляд. И вёл себя, как нашкодивший кутёнок. Будь у него хвост — непременно бы поджал. Боря потирал ладошки и хрустел пальцами.

Весь его вид вызывал у меня прилив брезгливости.

— Я жду.

— Учитель Квинт... Простите, пожалуйста...

Невразумительный скулёж.

— Борис, разве я требовал от тебя извинений? Меня интересует мотив поступка. Ну?

— Я думал, это будет весело...

— Весело. Так. Понятно. И что же весёлого в сорванном уроке и униженном товарище?

Боря тяжело вздохнул. Плечи его поднялись и опустились.

— Не знаю.

— Не знаешь... Что меня несколько не удивляет. Кто всё это придумал?

— Н-никто! — неуклюже попытался соврать Боря. — В смысле, я сам!

— И давно в твоей пустопорожней голове родился сей остроумный план?

— На уроке! — выпалил Боря.

— А яйцо ты украл в столовой ещё во время завтрака, так? Или сам снёс, прямо на лабораторной?

Боря расплылся в довольной ухмылке. Учитель шутит, учитель не сердится. Учитель не будет ругаться. Вот идиотик-то... А я трачу время, чтобы вложить в его дурную голову элементарные нормы поведения. Счастливым его пытаюсь сделать, достойным членом общества. Так кто из нас тупее — он, который таким родился, или я, пытающийся учить дурака?..

Внутри меня голодно зашевелился насытившийся было зверь.

— Скажи мне, брат Борис,— вкрадчиво начал я. — А тебе понравилось шутить над Олежкой?

— Ага, — опять ухмыльнулся Боря. — Ведь весело же...

Не врёт. Действительно понравилось. Дурак, и счастье у него дурацкое. Зато — настоящее. Идиотикам проще. Им не надо притворяться в нашем бездумно-счастливом обществе. Непонятно даже, за что Борю сдали в Интернат, он мало отличается от большинства моих сограждан.

— А Алексу понравилось, как ты пошутил? — уточнил я.

— Конечно! Это ведь была его идея... Ой!

— Итак,— подытожил я,— резюмирую. На твоём счету: кража еды из столовой — раз. Сорванный урок — два. Агрессивное поведение — три. Ложь учителю — четыре. Сокрытие агрессивного поведения товарища — пять. Мне продолжать?

От каждого пункта Боря съёживался, ссутулив плечи и понунив голову.

— Нет, учитель...

— Минус пять часов досуга. Пока твои товарищи будут развлекаться и работать над проектом, ты с пользой проведёшь время на лекциях по теории счастья.

— Но учитель Квинт! — вскинул голову Боря и заныл: — Так нечестно! Олежка же всё равно вылетит! Ему по Радуге! Почему вы меня из-за него наказываете?!

Зверь внутри меня открыл глаза и хищно ощерился. С клыков его капала слюна.

— Минус семь часов. За пререкания с учителем.

Ну, мысленно подбодрил я Борю, давай. Вякни ещё что-нибудь.

— Хорошо, учитель Квинт,— пробурчал Боря, повесив нос. — Как вы скажете... Если так надо...

Безнадёжен. Тупое и покорное животное. Зато счастливое. Потому что так надо. Не потому, что даёт себе труд думать. А потому что положено, приказано, навязано.

— Пошёл вон отсюда! — гаркнул я, утратив контроль.

— Учитель? — испуганно распахнул глаза Борис.

Я схватил его за воротник и толкнул к двери.

— Вон!!!

Перепуганный до смерти Боря (дылда-то он дылда, но ведь всё равно — ребёнок; а я — ещё больший дурак, чем он!) бросился к двери, которая сама распахнулась ему навстречу.

На пороге стоял Викентий, учитель физической культуры. Он вытаращился на Борю и спросил, заикаясь сильнее обычного:

— Ч-ч-то с-с-с-случилось?

— Ничего, — сказал я как можно спокойнее. — Боря, можешь идти. И закрой за собой дверь. Что тебе, брат Викентий?

— Мир и любовь, — пискнул Боря и выскочил вон.

Викентий проблеял:

— Я п-п-пришел узнать, п-п-почему твои в-воспитанники не п-пришли на урок...

— Я их задержал.

На туповатом лице Викентия отразилась крайняя степень возмущения.

— К-к-как это — з-задержал? У н-них же з-занятия по футболу! Иг-гровая д-деятельность!

— Ну и что? — Ярость, вспыхнувшая горячим огнём, превратилась в ледяной сарказм.

— Ты с-с-считаешь, что химия в-важнее ф-ф-футбола? — удивился Викентий.

Ещё один из умственного большинства. В отличие от Бори — взрослый, состоявшийся, вполне удовлетворённый жизнью дебил. Счастливый собственной тупостью.

— Да, считаю, — подтвердил я. — Ещё вопросы?

— Т-т-теперь я п-понимаю, п-почему у твоих в-воспитанников проблемы с аг-г-грессией, — заявил Викентий, надувая щёки.

Чем-то он напоминал вчерашнего солдафона. Не человек, а функция.

— Какие ещё проблемы? — нахмурился я.

Викентий поджал тонкие губы и вздернул подбородок.

— Я обо всем д-доложу директору В-витбергу, — заявил он, повернувшись на одной ноге и вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Я саданул кулаком по столу. Тихо, спокойно, спокойно. Ну и ладно, ну и хорошо, замечательно даже. Проклятая работа всё равно в печёнках сидит.

* * *

Солнце обжигало нос. Переодевшись в спортивную форму и запихнув наспех застиранные штаны в шкафчик, Олежка выбежал на улицу и припустил к стадиону. Оттуда доносились голоса, выкрики. Время было полуденное, припекало, Олежке почудилось, что он слышит сверчка, хотя быть этого не могло — до лета далеко.

Целых три месяца.

И можно научиться быть счастливым. Постараться. Стать счастливым.

Спортплощадка располагалась чуть в стороне от учебного корпуса. В живой изгороди — высокой, метра два — пели птицы, и не разглядеть было, что же там происходит, что это за крики такие. Олежка нырнул в просвет и остолбенел.

На свежестриженной траве его товарищи играли с мячом. Учитель Викентий стоял чуть в стороне и наблюдал.

Это новое упражнение? Новое задание? Спортивные игры, ограниченные правилами,

случались и раньше, но не такие. Олежка нерешительно переминался с ноги на ногу. Взмывленные, запыхавшиеся, ребята, толкая друг друга локтями, сшибая друг друга с ног, носились по площадке, стараясь «увести» друг у друга мяч ногами.

Олежка снизу вверх посмотрел на учителя. Викентий почувствовал взгляд, недовольно нахмурился:

— Быстро на поле, ребёнок.

— Но, учитель, я же не знаю...

— Не следовало опаздывать. Товарищи тебе помогут, объяснят. Где твоя четверка? К ним и ступай.

Маневрируя между одноклассниками, шараясь от них в стороны (такое чувство, что ребят в несколько раз больше, чем обычно), Олежка побежал к Алексу, Борьке и Лёньке. Они действовали слаженно и точно по какому-то плану.

— Давай-давай-давай! — заорал Алекс на Борьку. — Быстро!

Разделились, окружили ведущего мяч Даньку из четверки Викентия, оттёрли его друзей, и Борька так хитро двинул ногой, что мяч оказался у него. Борька помчался к краю поля, где зачем-то поставили рамку с натянутой сеткой. Перед сеткой, растопырив руки и ноги, маялся Сашок. Олежка кинулся следом за Борькой, но его толкали, все вокруг сопели, и Лёнька (Лёнька!) оттёр в сторону, потным своим пузом бортанул:

— Не суйся!

Я не могу быть счастлив сейчас.

Странная игра сместилась к краю поля, Алекс ухватил кого-то за руку, учитель Викентий дунул в свисток. Олежка сунулся к рамке. Борька сильно пнул мяч. Сашок вскинул руки, отбил, и Олежка увидел, что кожаный тяжелый шар летит прямо в него.

И точно в живот.

Больно было ужасно. Олежка упал, скорчившись, в глазах потемнело. Викентий снова зашвистел, заорал:

— Стоп игра!

— Всё из-за тебя, — с брезгливостью выплюнули сверху голосом Алекса. — Всё из-за тебя, несчастливцев.

Сквозь слёзы Олежка увидел, как учитель Викентий склонился над ним. Заставил распрямитесь, быстро обмял живот и рывком поставил на ноги:

— Ступай-ка ты с поля, ребёнок. Не мешай остальным. Продолжайте, дети!

И они продолжили игру.

* * *

Я зашёл к Витбергу сам, не дожидаясь, пока меня вызовут. Директор стоял у окна, за чем-то сосредоточенно наблюдая, мне пришлось обращаться к его широкой спине, по которой рассыпался хвост седых волос:

— Радуйся, брат!

Витберг не удосужился обернуться, из чего я сделал вывод: Викентий уже успел доложить об инциденте с Борей. Выходит, меня ожидал как минимум разнос, а как максимум — увольнение. Второе — более вероятно... Я не испытывал никаких эмоций. Ни огорчения, ни разочарования, ни даже обиды. Всё логично.

— Подойди, брат,— прогудел Витберг и, не оборачиваясь, махнул рукой. — Взгляни, тут очень интересно.

Кабинет Витберга — просторный, светлый, с лёгкой изящной мебелью из алюминия и пластика, был столь густо заставлен бессмысленными статуэтками, шкафчиками, секретерами, столиками и вазами с искусственными цветами, что мне пришлось прокладывать извилистый маршрут от двери к окну. Когда я приблизился, Витберг кивнул в сторону открытого окна.

— Футбол, — сказал он. — Первое занятие в этом триместре.

Из окна слышался запах свежескошенной травы, доносились возбуждённые вопли детей. Два десятка воспитанников увлечённо пинали кожаный мяч, толкая друг друга. Постыдное зрелище, напомнившее о моей вчерашней эскападе.

— Учитель Викентий в силу ограниченности интеллекта полагает, что футбол, как и всякая коллективная физическая активность, полезен для будущих членов счастливого общества, — сообщил директор Витберг. — Дескать, игры по правилам воспитывают чувство локтя и склонность к взаимовыручке. А на самом деле, любая игра против кого бы то ни было — другого человека, или команды, не важно,— есть тест уровня агрессивности. Пока детки стараются забить гол, психологи оценивают их склонность к насилию. Чем она выше — тем меньше у них шансов сдать экзамен счастья... Мне иногда жаль наших детей, да и нас с тобой, брат Квинт. Ещё три поколения назад люди играли не по правилам. И считалось естественным этапом развития ребёнка его участие в ролевых играх. Современные психологи опровергли это заблуждение.

Мне вдруг почему-то вспомнилось, что Витберга зовут Исидор. Исидор Витберг. Но его всегда называли по фамилии — как и меня, впрочем.

Исидор — высокий, широкоплечий, с ухоженным холёным лицом, аккуратно подстриженной бородкой и гривой седых волос, стянутых в конский хвост. Самим своим видом и манерой держаться Витберг доказывал, что «директор» — не столько должность, сколько способ мироощущения. Что он — хозяин целого мира, интерната для трудных подростков.

— Кстати,— прервал самого себя Витберг. — Как ты вчера сходил, брат Квинт?

— Хорошо.

— Тебе понравилось?

— Да.

— Тебе стало легче?

Я задумался и покачал головой:

— Станет,— уверенно махнул рукой Витберг. — Просто не сразу.

Он наконец-то отвернулся от окна и смерил меня оценивающим взглядом.

— Хочешь коньяку, брат?

Было два часа дня. Я не отказался.

Витберг прошествовал через весь кабинет и достал из одного из картотечных шкафчиков квадратную бутылку и два пузатых бокала.

— Викентий уже приходил? — поинтересовался я.

— Приходил? Да он примчался сломя голову, чуть дверь не выбил, весь такой взволнованный и потрясённый аморальным поведением учителя Квинта, который наорал на ученика! — Витберг довольно хохотнул и пригубил коньяк, причмокнув от удовольствия: — Викентий — исключительно правильный член нашего общества. И, естественно, исключительно тупой...

Директорское кресло жалобно скрипнуло под весом Витберга, когда тот вальяжно в нём развалился и покачал коньячный бокал в ладони.

— Вот что я тебе скажу, брат Квинт,— серьёзно произнес директор, любясь игрой света в золотистом напитке. — На таких, как Викентий — правильных, исполнительных и тупых, стоит наше общество. Им приказали быть счастливыми — они жрут Радугу и радуются каждому дню. Для них нет выбора, нет сомнений и непредписанных мыслей тоже нет.

Директор мечтательно прищурился, глядя на игру света сквозь тёмный, чуть красноватый коньяк. Хрусталь искрился в солнечных лучах, коньяк загадочно мерцал.

— Попить с ним коньяку да поговорить о жизни — было бы весьма затруднительно. Поэтому, брат Квинт, я так ценю тебя. Как человека. Учителя. Своего ученика и, возможно, преемника. Собеседника, друга, наконец! Помнится, я не поверил счастью, когда ко мне попало твоё резюме.

Подумать только, инженер-системщик, пускай и бывший, в нашем Интернате. Да ещё какой! Прославленный Квинт, работавший над «таблеткой счастья», над элитными, сложными эмоциями! И плевать мне было даже на скандал с твоим увольнением... Подумаешь, минутная слабость, вспышка негодования — с кем не бывает?

Да уж. Минутная слабость стоила мне карьеры и привела к ссылке в замечательный Интернат для проблемных деток, чья эндокринная система не воспринимает Радугу как должное. Для несчастливцев, извращенцев, таких же, как мы с Витбергом, только маленьких.

— А ты знаешь, брат Квинт,— вдруг сменил тему Витберг,— что в нашем Интернате — самый низкий процент отсева на экзамене счастья? И вовсе не благодаря тупицам вроде Викентия! Скорее, такие педагоги, как мы с тобой, добились этого. В том числе, личным примером. Вот почему я и рекомендовал тебе сходить туда, где ты был вчера. И я забуду про сегодняшнее происшествие. А ты — на будущее — бери отгул, после визитов... туда.

— Понял, — кивнул я.

— И будь любезен, верни мою визитку. Туда тебя теперь пропустят и так, а если попадёшься санитарам, я бы не хотел иметь с тобой ничего общего. Сам понимаешь, живём мы все вместе — а вот умираем в одиночку.

* * *

Я не могу быть счастливым. Я — несчастливцев. Я — не жилец.

Олежка сидел в пустой комнате — все на занятиях. Он больше не пойдёт на уроки. В открытое окно влетали звуки игры, запахи весны и моря, кружились пылинки в цветных солнечных лучах. Олежка скорчился на стуле спиной к окну. На столе — его рисунки. Последний — маленькая фигурка в куцем пальто и шапке-ушанке замерла, вытянувшись по струнке, у корней зимнего дерева. Чёрное и белое. Одиночество. Несчастье. Смерть.

До этой весны Олежка не думал о смерти. Он знал: она существует, её не миновать. Потом. Когда-нибудь. После долгой счастливой жизни — заслуженный отдых. Да, некоторые уходили раньше, эвтанологи помогали, лечили их, отправляли по Радуге.

Если у тебя болит горло — ступай к врачу. Если у тебя болит... Олежка не знал, как называется то, что саднило в груди, драло изнутри когтями, скручивало живот. Или кишки заворачивались от подлого удара?

Я несчастлив. Я несчастлив всегда.

Слёзы падали на рисунок. Чернильные линии расплывались кляксами. Фигурка у корней дерева уже не напоминала мальчика. Неприятное, аморфное, амёбоподобное нечто. Оно пожрало ребёнка. Олежка схватил лист обеими руками и скомкал его. Запустил в стену, вскрикнул тонко.

Я. Несчастлив. Я. Несчастлив. Я.

Он не мог это нарисовать, не мог выплеснуть из себя. Олежка перебирал свои работы: солнечные дни и пасмурные дни. Море и горы. Цветущие деревья. Попытки портрета — непохоже, но старательно, а Лёньку вполне можно узнать.

Ночной костёр — искры возносятся к звёздам. Серия рисунков: котёнок и миска с едой, котёнок и мячик, котёнок забрался на шкаф. Очень смешно. Радостно. Олежка мял и рвал плотную бумагу, уничтожая всё, созданное им.

Тени. Олежка помнил, когда и как это было. Три мальчика из старшего (Олежка тогда был в среднем, четвёртом) класса тогда ушли по Радуге. И Олежка изобразил два профиля со странными, изогнутыми причёсками, разной штриховкой — черты лица, впалые щёки и острые уши. Надрезы ртов. Закрытые глаза. И — алым — слёзы.

Никому Олежка не показывал этого, даже сам редко доставал и смотрел. Он гордился техникой...

Я был счастлив? Когда рисовал — был счастлив?

...тем, что на бумаге вышло почти как в голове. Но получилось страшно. Нет, этот рисунок он рвать не будет. Он возьмёт его с собой.

Куда?

Олежка медленно оглядел комнату, отмечая каждый оттенок привычного сквозь льющияся слёзы. Невозможно. Больно так, что скорчиться бы, свернуться бесчувственным комком, перестать думать и видеть. Навсегда перестать думать и видеть. И дышать.

Он рыдал в голос, с выкриками, и лупил по столу ладонями, чтобы почувствовать своё тело, ещё не мёртвое, но уже не принадлежащее ему.

Если ты болен несчастьем, если невыносимо... Радуга. Олежка дрожащими пальцами открыл футляр — таблетки просыпались. Олежка ползал по полу, пока не нашёл жёлтую. Радость. Час радости. Успокоиться. Это ненормально. Так не должно быть. Без таблеток не должно быть слёз. Все знают.

Таблетка не лезла в горло — пришлось запить, стуча зубами о край стакана.

Вроде подействовало. Олежка лёг на кровать, устался в дно верхней койки, хлюпая носом. Сейчас станет легче.

Его скрутило заново и ещё сильнее. Несчастье. Пустота. Одиночество. Брошенность. Предательство. «Тебя всё равно не переведут в следующий год жизни. Съешь фиолетовую и ложись спать. А лучше — иди к эвтанологу, не дли мучения». Алекс прав.

Но встать и идти Олежка не мог — не осталось сил, тело сводило судорогой плача. Сполз с кровати и на четвереньках добрался в ванную. Заставил себя подняться, открыл воду — прозрачная струя ударила в фаянс раковины звонко и радостно — умылся.

Легче?

Ноги дрожали, приходилось держаться за стенку. По-стариковски шаркая, Олежка выбрел в коридор. Слёзы кончились, оставив отчаяние, комок в горле — не вдохнуть, безразличие. Радуга не помогает только ущербным, несчастливцам, которым одна дорога — к эвтанологу.

Лечебный корпус далеко, идти придется через двор, на глазах у всех. Можно попросить проводить первого встречного учителя. Хорошо бы Квинта. Квинта Олежка любил больше остальных педагогов. И хотел увидеть его ещё раз.

И это будет счастьем.

Олежка добрёл до лестницы. Спустился, крепко ухватившись за перила. Никто не встретился ему — все на обеде, наверное. Холл тоже был пуст, эхо последних шагов Олежки металось между облицованными мрамором стенами. Тяжёлая дверь — Олежка навалился всем телом, и она распахнулась всё в тот же беспощадно-солнечный день, будто отделённый от Олежки тонированным стеклом.

Веселье, возрождение к жизни — по одну сторону.

Идущий к эвтанологу мальчик — по другую. Внутри себя.

Олежка запрокинул голову. Снова потекли слёзы, заливая уши... В небе, ярко-синем, такое и не нарисуешь, летел планер. Белая тонкая птица, сверкающая в лучах солнца, раскинула вытянутые крылья. Планер скользил в бесконечности — туда, где нет боли и страха, к ослепительному счастью покоя. Планер не зависел от земли, хрупкий, игрушка на ладонях ветра, он парил так далеко от Олежкиного горя.

Планер не собирался к эвтанологу. Планер не так собирался идти по Радуге — дай ему радугу, он пролетит сквозь неё.

Слёзы высохли. Опустошённый, Олежка сел на землю, не сводя с планера взгляда.

Я счастлив сейчас.

А значит — никуда не нужно идти.

ГЛАВА 3

Парк в центре Приморска, окружавший Институт систем человека, назывался Зелёным не только и не столько в честь таблетки Радуги — символа умственного труда — сколько из-за разнообразнейших деревьев и кустарников, здесь произрастававших, начиная банальными кедрами и кипарисами и заканчивая экзотическими пальмами и диффенбахиями. Дендрарий, не парк.

По усыпанным мелким гравием дорожкам беззаботно бродили студенты, степенно выходили преподаватели в изумрудных мантиях, деловито спешили инженеры с кожаными портфелями.

Портфель я поставил на скамейку рядом, вытянул ноги и блаженно прищурился на солнышке. Мне всегда было хорошо в Институте Счастья. Шесть лет учёбы, два года аспирантуры и пять — карьеры инженера систем человека были, пожалуй, самым безмятежным периодом в моей жизни.

Но сейчас меня грели не только тёплые воспоминания. Жить прошлым — не для меня. Планы на будущее наполняли сердце настоящей радостью, не химическим суррогатом жёлтой таблетки. Больше всего это ощущение — не счастье, а предвкушение его! — напоминало то чувство, что я испытал позавчера, в подвальном помещении Центра физической культуры и досуга, избивая тощего противника.

Свобода без примеси стыда и страха.

— Радуйся, брат Квинт! — произнёс знакомый голос, вырывая меня из глубин самоанализа, самокопания и самосозерцания.

— Радуйся, брат Арсений! — улыбнулся я в ответ, открыв глаза и — впервые за последний год — искренне обрадовался.

— Счастлив ли ты, брат?

Арсений присел на скамейку рядом с моим портфелем.

— Вполне, спасибо. А ты?

— И я счастлив, — соврал Арсений.

Высокий, худосочный, бледный, в очках и потёртом пиджаке, мой бывший коллега и напарник по лаборатории практически не изменился. Всё те же бегающие глаза, всё тот же затравленно-виноватый взгляд... Сегодня к этому добавилось нервное подёргивание век и манера воровато озираться.

— Ты принёс?

— Да, — сглотнул Арсений. — Но... зачем они тебе, брат Квинт?

— Для эксперимента.

— Но разве...— удивился Арсений. — Какого ещё эксперимента? Тебя взяли обратно в Институт?!

В голосе его слышался страх: меня выгнали из Института год назад. Я тогда наорал на Арсения и едва не прибил его — очкарик запорол опыт, над которым вся лаборатория работала два триместра. Как раз над «таблеткой счастья» мы трудились, пытались собственными чугунными лбами расшибить утопию, приготовить из неё удобоваримое блюдо.

— Пока нет, — я уклонился от ответа. — Давай таблетки. Быстрее, я на работу опаздываю.

Арсений вытащил из кармана пиджака блистер и украдкой сунул его в мой портфель.

— Вот, как ты просил, — прошептал он. — Армейского образца. Белого цвета, но на самом деле — чёрные. Адреналин, допамин, кортизол... Боевой коктейль, в общем.

— Знаю, — перебил я, встал со скамейки и подхватил портфель. — Спасибо. Мир и любовь, брат!

— Подожди! — вскочил Арсений. — А на ком ты собрался ставить эксперимент?

Я улыбнулся.

— О! У меня много подопытных мышек.

* * *

Никто ничего не заметил.

Никто ничего не понял. Они вернулись с обеда, пересмеиваясь, и даже не спросили, где был Олежка. Он не рассказывал, он уже убрал порванные и смятые рисунки, спрятал уцелевшие. Думал, товарищи заметят, что с ним неладно, пристанут. Они не обратили на Олежку внимания. Тогда он принял две фиолетовые и лёг спать.

Последней мыслью, когда Олежка покачивался уже на лиловых волнах сна, было: «Везде же камеры! Дежурный учитель всё видел! Видел!» Олежка испугался, но море бессознательного расступилось и поглотило его.

Он очнулся от резкого, как удар тока, беспокойства. Рывком сел на кровати. Пропотевшая майка, влажное лицо, сердце колотится. Верхняя койка заскрипела, и свесилась оттуда лохматая голова Лёньки:

— Чего орешь, несчастливец?

— Не ору, — прошептал Олежка. — Просто проснулся.

— Да ладно. А кто верещал только что?

Прислушавшись к себе, Олежка понял: вполне мог кричать. Что-то осталось там, в жидком желе сновидений: пустая шкура змеи, капли крови,

слёзы и тихий шёпот (пожалуйста, пусть это кончится, пожалуйста) — всего лишь отблески вчерашнего.

Солнце уже взошло, но ещё не забралось в комнату, и за окном синело утро. Дрых Лёнька, Алекс, подперев щеку рукой, прислушивался к диалогу, но молчал.

— Ну, может, — без охоты согласился Олежка. — Кошмар приснился.

Позавчера он рассказал бы всем. Вчера — Лёньке. Сегодня Олежка стыдился себя, стыдился прошедшей истерики, кошмара. Всплеск несчастья — что может быть хуже?

Утро начиналось с гадкого осадка, с попыток вспомнить сон, с попыток понять: заметили товарищи? Не заметили? Сообщили Квинту?

Как назло, опаздывал учитель. А есть хотелось — Олежка не обедал и не ужинал вчера, желудок прилип к позвоночнику.

— Радуйтесь, неудачники! — лицо появившегося на пороге учителя светилось. Олежка прикинул, сможет он это нарисовать или нет, и понял, что не сможет — не понимает. — Я задержался, так что быстро принимаем таблетки.

Квинт швырнул на стол блистер с белыми и поставил бутылку воды.

— Давайте, давайте, неудачники, я вам наливать, что ли, должен? Олежка. — Внимательный взгляд. — В следующий раз сначала зайти ко мне. Понял? Хорошо. Шустрее, шустрее, раки вы варёные. Без вас всё съедят.

Щёки Олежки пылали от стыда. Он сунул белую в рот, но Квинт кивнул на бутылку:

— Запивать обязательно. Улучшается усвояемость веществ. Неудачники! Вы даже не представляете, сколько трудов, сколько технологий вложено в Радугу! Сколько людей трудятся, чтобы привести вас к счастью! Привыкайте к гигиене эмоций: утром — белую. Очиститься от шлака подсознания, прийти в тонус. Потом, после завтрака, принимать в зависимости от потребности цветные... Так. — Квинт хлопнул в ладони. — Всё? Бегом в столовую.

Олежка судорожно подхватился: бежать, спешить. Сейчас белая смоев всю сонную гадость, мир станет серым, ровным и спокойным...

Счастливым?

...до первой утренней таблетки: жёлтой или зелёной. В тёплой вате апатии пройдёт завтрак. А есть-то хочется. В животе бурчит, аж руки трясутся.

Олежка спешил по коридору следом за широко шагающим Квинтом. Спина учителя, обтянутая светлой курткой, выделялась от-

чётливо, остальной коридор будто затемнили. Подрагивали пальцы, пересохло во рту, и, кажется, похолодало.

Догнать учителя.

Олежка тряхнул головой — зачем? Пихаясь локтями, его товарищи ломанулись вперёд, и Олежка поддался: изнутри его толкало вперёд, настигнуть и обогнать, прийти первым.

Я счастлив сейчас?

Кровь гулко стучала в ушах, Олежка, перепрыгивая через ступеньки, нёсся вниз за товарищами, и, кажется, даже вопил. Учитель не остановил их.

Четвёрка Квинта срезала путь до столовой по газону и в двери ввалилась одновременно. Другие ученики повернули головы на шум. Олежку будто оглушило. Он, замерев, смотрел на очередь, спокойную утреннюю очередь.

Я несчастлив сейчас. Я голоден.

Алекс решил первым. Проход к раздаче, к буфету, к Марьяне, царившей здесь, был узким, и Алекс принялся прокладывать себе дорогу, расталкивая стоящих в очереди. Следовавший за ним Борька помогал. Лёнька — тот вообще ледоколом плыл, животом раздвигал первоклашек.

Послышался слабый ропот.

Я несчастлив.

Затмение, помрачение. Олежке стало предельно ясно: он должен. И он сделал. Перемахнул через металлическую оградку, формирующую очередь, отдал чью-то ногу, двумя руками в грудь пихнул другого, коленом под зад дал третьему. Поднырнул, снова толкнул, юркнул между широкими спинами — и оказался прямо перед Марьяной.

Я счастлив! Сейчас я счастлив!

Сердце бешено колотилось, руки подрагивали, все цвета стали ярче, но зрение сузилось. Олежка огляделся, чтобы удостовериться: он действительно пришёл первым. Он смог!

Буфетчица Марьяна всегда любила Олежку, выделяла его, по голове гладила и подкладывала добавку, повторяя: «Кушай, заморыш, кушай, несчастливец!»

Сейчас круглое, в ямочку, лицо её исказилось страхом, негодованием, брезгливостью. Марьяна указала на Олежку толстым пальцем и прошипела:

— Ты что делаешь?!

— Радуйтесь! — поздоровался вежливый Олежка. — Мне кашу, пожалуйста, яичницу и сосиски. И томатный сок.

Лицо Марьяны скукожилось, будто буфетчица собиралась заплакать. Шары груди заходили под халатом вверх-вниз.

— Ребёнок, что с тобой? Где твой учитель?

Апатичная утренняя очередь расступилась. Алекс, Борька и Лёнька оказались рядом с Олежкой. И ещё рядом оказался Викентий, вечный дежурный учитель. Его присутствие Олежка почувствовал сразу — тяжёлая рука опустилась на плечо, сгребла за ткань рубашки.

— Пойдём к директору Витбергу, ребёнок. В-второе п-проявление агрессии.

У голодного Олежки на глазах выступили слёзы. Он попытался вырваться: это несправедливо! Он только хотел позавтракать! Ему было нужно!

Викентий волок его через столовую под недоуменными взглядами учеников. Олежка озираясь в поисках Квинта: это несправедливо! Учитель должен защитить. Учитель поможет. Где же он?

Квинта не было видно.

* * *

Результат первого же опыта оказался неожиданным. То ли я переборщил с дозировкой — таблетки-то армейские, рассчитаны на вырождков восемнадцати, а не одиннадцати лет от роду, то ли сыграло роль отсутствие ежеутренней белой, снимающей естественный гормональный фон...

В любом случае, эксперимент вышел из-под контроля, едва начавшись. Драка в столовой, драка из-за еды, да просто драка сама по себе — явление настолько редкое, дикое, постыдное и немыслимое, что весь Интернат — буквально! — притих, замер и прижал уши.

Даже чайки заткнулись. И только море монотонно билось о дальние скалы. Воздух, прогретый солнцем, загустел киселём, и в полном безветрии застыли корабельные сосны. И повсюду в жаркой и душной гуще висел одуряющий запах жасмина.

Уж не знаю, кому пришло в голову высадить пышные, изумрудно-зелёные кусты жасмина у входа в медицинский корпус, но пока я там стоял, от аромата у меня начала кружиться голова и заломило в затылке, как перед грозой.

Вокруг не было никого, Интернат будто вымер. Детишки, столкнувшись с ужасной, бесстыже-откровенной агрессией, антиподом счастья, спрятались по комнатам. Пробудились дремучие инстинкты, не подвластные Радуге и пропаганде: опасно — шмыг в нору! И сиди, пока старший не позовёт, не успокоит, не вытрет сопельки...

Я стоял у дверей медблока и потирал руки. Они... дрожали? Нет. Чесались. Вот. Руки чесались сделать первую запись в журнал наблюдений, пересмотреть записи видеокамер в столовой, рассчитать дозировку чёрных таблеток на массу

тела подростка... Я терпеливо ждал. Ещё руки чесались дать по морде правильному тупице Викентию, чтоб не вмешивался в ход эксперимента. Без шлема и перчаток, прямой контакт, почувствовать податливую кожу костяшками, услышать хруст сломанного носа.

Ага, вот и Викентий!

Всё-таки в правильных тупицах есть своя прелесть — они удивительно предсказуемы. Хотя оттого не менее опасны.

Викентий шествовал по дорожке, с брезгливостью ухватив за воротник вырывающегося Олежку. Мальчишка, всё ещё под действием боевого коктейля, трепыхался. На лице физрука отпечатались отвращение и ошеломление.

Беднягу настолько поразил факт драки, что он потащил зачинщика прямо к эвтанологу, как я и ожидал.

Меня же, в свою очередь, поразил зачинщик — Олежка. Вот уж на кого бы в жизни не подумал! Без пяти минут изгой, тихоня, интроверт, аутсайдер и кандидат на прогулку по Радуге сейчас покраснел варёным крабом, волосы слиплись от пота, а глаза побелели.

Звериное бешенство металось во взгляде Олежки.

Отлично. То, что мне надо.

— Радуйся, брат Викентий! — поприветствовал я коллегу.

— Радуйся, б-брат Квинт... — пропыхтел физрук в ответ, с трудом удерживая трепыхающегося ребёнка.

— Можно узнать, куда ты тащишь моего воспитанника? — поинтересовался я, подчеркнув интонацией всю непристойность данного занятия. Тащить, физически заставлять человека — фу, гадость какая!

— К-к-к эвтанологу! — выдохнул Викентий. — Да уймёшься ты н-наконец?! — гаркнул он на мальчишку, умудрившегося лягнуть учителя по голени.

Ага, Викентий переволновался. Будем ковать железо, пока горячо.

— Олег, — тон холодный, чтобы остудить ребёнка. — Успокойся. Немедленно.

Олежка замер, вылупившись на меня нашкодившим щенком.

— Брат Викентий, отпусти его. Немедленно.

— Я... Н-но я же... — задохнулся от негодования Викентий.

— Ты применил физическое насилие к ребёнку. Ты, учитель! Какой пример ты подаёшь другим детям?! Разве смогут они быть счастливы теперь?!

— Н-но он же...

— Он — ребёнок. Ты — учитель. Отпусти его.

Викентий разжал пальцы на воротнике Олежиной курточки. Мальчик съёжился и втянул голову в плечи.

— Брат Квинт! — пробормотал физрук. — Ты видел, что произошло в столовой?

— Да. И я даже знаю, что было тому причиной.

— И ч-что же?! — вознегодовал Викентий.

— Ты, брат Викентий.

— Я?!

— Успокойся, брат! — Я умиротворяюще взмахнул рукой. — Ты слишком взволнован. Всё в порядке. Я никому не расскажу.

— Но я... Я же... Что я с-с-сделал?

Бедолага Викентий едва не плакал. Ему было и стыдно, и страшно, и он решительно ничего не понимал своим очень правильным, но — увы! — очень маленьким мозгом.

Я вытащил Радугу и вытряхнул на ладонь две таблетки: голубую и зелёную. Умственная активность и спокойствие.

— Прими, брат, — смиренно предложил я. — Тебе надо.

Викентий послушно (вот он, вбитый годами рефлекс! Вот он, доступный и олигофрену путь к счастью!) проглотил обе.

— А теперь послушай. Вчера ты не допустил моего воспитанника к футболу. Надеюсь, тебе, учителю физической культуры, не надо объяснять всю важность игр по правилам для психологической разрядки воспитанников? А так же для их дальнейшей социализации? Ведь наши дети должны реализовывать потребность в игре! Ты затеял бессмысленный спор о том, что важнее — химия или футбол, и из-за этого четыре ученика получили психическую травму. Олежку вообще изолировали от коллектива, отстранили от общего дела. Во что это вылилось — ты видел сам. Но не надо волноваться, брат! Я ничего не доложу Витбергу. А с Олегом и его товарищами разберусь лично. Договорились? Вот и славно. Мир и любовь!

— М-мир и люб-бовь... — проговорил пришибленный таблетками и обвинениями Викентий, после чего развернулся на месте и побрёл в сторону жилого корпуса.

— Ну, а с тобой, голубчик, — обратился я к Олежке, — разговор особый. Раз уж вы, неудачники, не в состоянии контролировать свои дикарские наклонности и животные привычки, то часы досуга для вашей комнаты станут несбыточной мечтой. Будете работать над проектом круглосуточно. До самого экзамена счастья. Надеюсь, хоть так до вас дойдёт, что вы — команда и за ошибки одного будут отвечать все. Это понятно?

— Понятно...— буркнул Олежка, сникнув и потускнев.

Вот и отлично. Теперь посмотрим, как поведёт себя группа, лишённая свободного времени и личного пространства. Как же хочется всё записать в журнал!

Я поймал себя на мимолётном, но искреннем ощущении счастья.

* * *

— Сидит,— сообщил Алекс кому-то за спиной Олежки. — Эй, несчастливец!

Олежка не обернулся — сил не было. Все желания, силы, возможности остались там, у кабинета эвтанолога. Когда учитель Квинт ушёл — Олежка не заметил. Он сидел за столом и смотрел на свои сцепленные руки. Пальцы — червячками.

— Я кого зову?! — Алекс развернул Олежку.

Олежка оглядел товарищей. Все трое, оказывается, стояли за его спиной.

Невыразительное, приспособленное только для отражения счастья, лицо Алекса смяла гримаса — будто Алекс собирался зареветь. Зачастило сердце, вспотели ладони, Олежка, сидящий к товарищам вполоборота, попытался встать, но Боря ударил его по плечу, отправил на место.

— Ты! — Алекс приблизил лицо к Олежкиному, Олежка отшатнулся — изо рта товарища с каждым звуком вылетали брызги слюны. — Ты виноват! Ты! Ты учителя подставил! Из-за тебя нас наказали!

Глаза его выпучились, щёки побледнели. Олежка задрожал. Алекс резко распрямился и махнул Боре рукой:

— В туалет его.

Боря протянул руку, чтобы сгрести Олежку за шиворот, но Олежка опередил его, сам поднялся. В туалет — так в туалет. Там нет камер. Если надо было разобраться без учителей, всегда в туалете это делали.

Ноги подгибались, ныло в животе, во рту пересохло. Олежка косился на товарищей: головы слегка склонены, плечи — напряжены, кулаки — сжаты. Он и сам чувствовал потребность набиться. Но получилось только ссутулиться.

В туалет его втолкнули. Олежка повернулся к Алексу, готовясь к диалогу.

Алекс, со свистом втянув воздух, лупанул Олежку кулаком в ухо.

Стало горячо и звонко. Олежка затряс головой. Алекс ударил снова — он целился в нос, Олежка увернулся. Он не понимал, что происходит, действовал неосознанно.

Поднять руки, защитить голову. Пятиться, пока не упруешься в стену, лопатками ощущая холод кафеля.

Тяжёлое дыхание. Испарина. Комок тошноты в горле. Острая резь в животе.

— На-а! — завопил Боря и кинулся на Олежку.

Олежка оказался на полу. Скорчился, попытался закрыть сразу и голову, и живот. Боль обожгла вспышками в боках и спине. В ногах. Это что? Почему?! Что происходит?

Меня бьют.

Стыдно, страшно. Это происходит с кем-то другим. Это происходит не с Олежкой. Прямой в нос. Хруст. Олежка гундосо вопит. На белой плитке пола — маслянисто-красная кровь. Мокро в штанах. Наверху сопят и толкаются, выковыривают Олежку из угла, куда он, оказывается, заполз.

— Н-на!!! — Лёнька.

Падает сверху, седлает Олежку, разворачивает лицом, отрывает руки от носа. Олежка видит занесённый кулак. Зажмуриться. Снова хруст. Темнота наплывает. Олежка ныряет в неё... Не получается. Справа, слева, сверху — град ударов. Кто-то плачет. Скулит.

— Получи, получи, получи! Н-на, гадёныш, на!

Дышать становится легче: Алекс оттащил Лёньку, шипит на него:

— Убьёшь же. Нельзя. Агрессия.

И это слово ставит точку. Они замирают, глядя друг на друга. Они идут к умывальникам, открывают воду, смывают кровь.

Олежка поворачивается на бок и закрывает глаза. Голова кружится.

В сини неба летит планер — все дальше, дальше. Оттуда, из счастливого далека, не видно Олежку.

ГЛАВА 4

Послеобеденную сосредоточенную тишину разорвал полный горя и разочарования вопль Лёньки. Олежка, возившийся с депроном, удивлённо поднял голову.

Все четверо сидели вокруг стола, заваленного бумагой, обрезками пенопласта, кусками тонкой проволоки, торсионами, элеронами, электроникой... Алекс тоже посмотрел на замершего с паяльником в руке Лёньку:

— Ты же говорил, что умеешь паять,— тихо начал Алекс. — Ты же говорил, что умеешь!

Запах канифоли — будто запах солнца, залившего комнату. Олежка втянул голову в плечи: сегодня выходной, работа над проектом наконец-то сдвинулась с мёртвой точки, после долгих споров распределили обязанности, и даже Олежке

нашлось не последнее дело: перенести детали с чертежа на депрон. Борька с Алексом пытались наладить резку пенопласта горячей струной, а Лёньке по его просьбе доверили электронику.

— Я умею! Очень даже умею! — Лёнька взмахнул паяльником. — Я умею, правда! Но тут такие мелкие все эти штуки!

Алекс поднялся, опираясь руками о стол. Замер напротив Лёньки.

— И? И что ты натворил, увалень?

Всё не так. Всё пошло наперекосяк с того дня, когда Олежку побили. Он вернулся из лазарета, он ничего никому не сказал, ни Квинту, ни врачу, соврал, что упал с лестницы и прямо носом, но в комнате изменилась атмосфера, и Олежка винил в этом отчасти себя. Товарищи стали дёргаными. Олежка боялся, что снова будет драка. Выброс агрессии. И тогда — эвтанолог для всех. За руки держась, пойдём по Радуге.

Я обязан быть счастливым.

Олежка хотел жить — страстно, взахлёб, он никогда раньше не замечал, сколь прекрасен мир, многогранно и ярко бытие, в смоле которого застыли мухами четверо ребят за круглым столом тёмного дерева.

— Я ничего не натворил! — запричитал Лёнька. — Просто тут всё маленькое такое! Но время же ещё есть! Мы ещё достанем!

— Что? Достанем — что? — У Алекса втянулись щёки и дрогнул подбородок.

— Приёмник...

Алекс глубоко вдохнул и зажмурился. Самая тонкая деталь радиоуправляемого планера. Воздух в комнате сгустился. Боря полез из-за стола к Лёньке, толстак выставил вперед паяльник, защищаясь:

— Возьмём ещё один! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

— Идиот! — простонал Алекс. — А если нам не дадут ещё один?! Мы же запорем проект!

Волосы на голове у Олежки шевельнулись. Запорем?! Не сдадим? К эвтанологу?! Ужас отразился на лицах всех ребят. Даже до Лёньки, кажется, дошло.

— Только не бейте, — тонкий голос его дрожал, — только не бейте!

Я обязан стать счастливым.

Олежка лихорадочно соображал. Должен быть выход. Без драки, без эвтанолога, без несданного проекта. Где-то можно взять приёмник. И чтобы к этому пульту подходил. Четверка Викентия вот делает яхту... Стоп.

— Четвёрка Викентия, — Олежка удивился, услышав свой голос, — делает яхту. У них должен быть приёмник-передатчик. Только не отдадут...

— Не отдадут, — Алекс повернулся к нему, — заберём. Возьмём сами, понимаете?

* * *

Дежурить на мониторах — занятие скучное, и раньше я его всегда ненавидел, но сегодня даже обрадовался возможности на ночь удрать из дома. Ирена вычитала в каком-то глянцево́м журнале, что совместный приём синих и рыдания на грани истерики очищают душу, повышают эффективность красных, делают секс приятнее и вообще — укрепляют брак.

С чего она взяла, что наш брак нуждается в укреплении — ума не приложу... Наверное, из того же журнала.

Из-за её лекции о катарсисе синих, экстазе от красных и доброжелательном взгляде на жизнь после жёлтых я опоздал на дежурство. Когда я вошёл в аппаратную Интерната, на местном жаргоне именуемую рубкой, Викентий — а до меня дежурил именно он — сказал чуточку сварливо:

— Радуйся, б-брат! Время не подк-к-к-орректируешь?

Была половина десятого. Я опоздал на полчаса.

— Радуйся, — кивнул я. — Счастлив ли ты, брат?

— Счастлив, с-спасибо. А т-ты, б-брат?

— Ну конечно, — произнёс я, опускаясь в кресло. Тихонько загудели сервомоторы, настраивая высоту подголовника и угол наклона спинки. — Мир и любовь!

— М-мир и люб-бовь, — ответил Викентий. — Если ч-что, я б-буду у с-своих, в ж-жилом корпусе.

Физрук вышел, а я пошевелил контроллером мониторов. Ну-с, посмотрим, чем занимались мои мышата... Я лишил их часов досуга на весь выходной, чтобы усилить стресс-фактор. Вкупе с подстёгнутым уровнем агрессии это должно вылиться в очередной конфликт внутри группы. Интересно, как поведёт себя Олежка...

Я отключил на главном мониторе прямую трансляцию пустых коридоров, достал бобину с записью прошлых суток и просмотрел на ускоренной перемотке. Поначалу всё шло, как обычно. Дети работали над проектом. Пожалуй, даже более усердно, чем всегда. Вряд ли дело было в чёрных таблетках; скорее, ими двигало стремление выслужиться перед учителем.

А потом Лёня запорол приёмник.

Конфликт вспыхнул спичкой. Я включил нормальную скорость воспроизведения и звук и наслаждался классической, будто по учебнику, борьбой за место в иерархии стаи. Детишки стре-

мительно откатывались по эволюционной лестнице назад, к приматам.

Но Олежка снова меня удивил. Вместо того, чтобы заниматься грызнёй, он предложил решение за чужой счёт. Умный мальчик.

Я сменил бобину на запись из коридора, перемотал до вечера и наткнулся на начало вылазки моих ребят в комнату воспитанников Викентия. Судя по таймеру, это случилось одиннадцать минут назад. Значит, кража происходит прямо сейчас! Щелчок тумблера, монитор мигнул и вывел прямую трансляцию из комнаты двести четыре.

От увиденного у меня на затылке выступил холодный пот.

* * *

Свет погасили, только луч луны крался по полу. Узкий, синий. Соскользнул с койки Алекс, раздёрнул шторы: пора.

На камерах сегодня, Алекс узнал, дежурит Квинт, и хорошо бы он уже лёг спать или умотал в дом к директору Витбергу, как учитель обычно делает. Лёнька, воспрянувший и горящий желанием загладить вину, предлагал перерезать провода, чтобы Квинт не видел происходящего, но Алекс не позволил.

Мы не делаем ничего запрещённого.

Мы просто должны найти приёмник-передатчик. И взять его. Мы обязаны быть счастливыми.

Олежка шнуровал кеды и прислушивался к себе. Внутри всё подрагивало от предвкушения. И от общности. Настороженность, недоверие к товарищам ушли. Они снова были командой, все четверо, комната Квинта.

— Пойдём,— шепнул Алекс и открыл дверь.

Ночной интернат молчал. Коридор освещался ярко, уборка уже закончилась, оставив после себя запах мокрой тряпки. За окнами царил непроницаемая тёплая тьма, чуть шевелила тюль, будто хотела заползти внутрь. Олежка поёжился. Дверь за спинами четверки Квинта закрылась — с тихим щелчком. Даже Алекс вздрогнул.

— Вперёд.

Борька хихикнул и ткнул Лёньку локтем в бок. Олежка стоял чуть в стороне, наблюдая, как товарищи ухмыляются, почёсываются — и никуда не идут. Алекс не спешил сделать первый шаг.

— Мы им покажем,— зашептал Боря, подхихкивая,— они спят же. А тут мы! Мы им покажем!

Лёнька закивал, потирая ладони:

— Они нас не ждут! Так никто не делал! А мы сделаем! Мы... Мы возьмём, да? Сами.

— А если не отдадут? — спросил Олежка.

Он представил, что получится, попробуй кто-нибудь отнять нужную для проекта деталь у него. Не отдал бы. Вцепился бы, убежал...

— Отнимем, — Алекс улыбнулся во весь рот,— мы просто отнимем. Они не смогут не отдать. Это уже будет агрессия. Мы просто возьмём. Никто так не делал.

Олежка оглядел товарищей: Боря дрожал, часто облизывался, Алекс, потупившись, улыбался, Лёнька посмеивался. И все избегали смотреть друг на друга. Олежка понимал, почему: стыдно. Задуманное — стыдно. Но очень хочется. Но стыдно.

Я должен стать счастливым.

Тесной группкой они шли по коридору. Нужная комната — четвёрки Викентия — была как раз следующей, идти всего ничего, но ребята еле плелись, не переставая перешёптываться, пересмеиваться, уверять друг друга, что «это будет круто». У двери затихли.

Алекс приложил палец к губам, оглядел товарищей. Олежка отступил — убежать бы, не видеть. Нехорошо получается. Мерзко.

Алекс без стука распахнул дверь в комнату четвёрки Викентия.

Ребята, конечно, спали. Сопели в восемь дырок. Планировка и обстановка во всех комнатах Интерната была одинаковая, только витражи на окнах различались. Лунный свет пробивался сквозь неплотно задёрнутые шторы, и видно было, что на столе — бардак, а по спинкам стульев развешены мокрые плавки и полотенца — четвёрку Викентия часов досуга не лишали, и выходной день она провела на море.

Надежда быстро взять нужное и уйти улетучилась: где искать крохотную деталь?

Один за другим ребята скользнули в чужую комнату. Олежку затрясло, несильно, но противно. А вдруг учитель Квинт уже бежит по коридору? Он, конечно, к эвтанологу не потащит, а всё равно не хочется, чтобы застукал.

— Кто это? — по голосу Олежка узнал Даньку.— Алекс, ты? Вы чего, ребят? Ночь уже.

Он слегка притормаживал — Даньку разбудили после приема фиолетовой. Четвёрка Квинта сегодня от ночной таблетки отказалась, а комната Викентия — выпила.

— Радуйся! Где у тебя детали? — спросил Алекс.

— Что? Ребят, что случилось? Погоди...— Данька спустил ноги с кровати, нашарил тапочки. — Я сплю, да?

— Спишь, спишь. Нам приёмник-передатчик от вашей яхты. Понял? Где он?

Свет не включали, хотя со светом было бы сподручней. Зашебуршились другие мальчишки, свесился с верхней полки Сашок, застонали справа...

— Где?! — рявкнул Алекс, сгрёб Даньку за шиворот и встряхнул.

И все как взбесились. Боря завопил, смёл со стола бумаги. Лёнька схватил стул (чьи-то мокрые плавки шлёпнулись на пол), и тряс им, угрожая. Алекс продолжал валтузить Даньку, вцепившегося в его запястья. Голова Даньки болталась. Олежка вспомнил, как его били, и перед глазами поплыло.

Он не сможет ударить человека.

Алекс — мог. Боря бесновался и размахивал руками, Лёнька наступал на забившихся в угол мальчишек, держа стул за ножки, Алекс методично, широко улыбаясь, навешивал Даньке:

— Где приёмник? Где приёмник? Где приёмник?

Ничего не осталось в нём от любимца учителей, души компании. Олежка пятился к двери, всхлипывая.

Они даже не сопротивлялись! Они плакали, да, но даже не звали на помощь. Агрессия, насилие — и ребята Викентия впали в ступор. Алекс швырнул Даньку на пол и пнул. У Олежки болью откликнулось отбитое нутро. И в расквашенном носу защипало.

Надо позвать Квинта! Он остановит безумие! Поможет!

Страхнув оцепенение, Олежка развернулся — и столкнулся нос к носу с Викентием.

Щелкнул выключатель, побоище озарилось мягким светом.

— Ч-ч-ч... — Слово застряло у Викентия в горле. — Ч-ч-ч...

Олежка проследил за его взглядом.

Алекс не прекратил своего занятия, он ничего не заметил — белоглазый, с неподвижной улыбкой на лице. Кошмар в комнате длился. Викентий дёрнул кадыком и ринулся на помощь ребятам, отшвырнув Олежку. Сначала он оттащил Алекса от неподвижно лежащего Даньки. Потом, волоча Алекса за собой, кинулся к Лёньке... Боря заткнулся сам.

Олежка склонился над Даней, глядя с сочувствием на товарища по несчастью.

Нас всех теперь отведут к эвтанологу. Я не смогу объяснить, что не с ними. Нас всех к эвтанологу. Правильно. Мы несчастливы. Мы ненормальные.

Даня тяжело дышал.

— В-вы! В-в-в... — Викентий одной рукой удерживал по-прежнему улыбающегося, покачивающегося из стороны в сторону Алекса, другой — Лёньку.

Стул валялся на полу рядом с рыдающими мальчишками.

— В с-с-свою к-комнату!

Боря и Олежка поплелись за Викентием. Алекс брёл, послушно переставляя ноги и, кажется, не замечал окружающего. Лёнька с изумлением оборачивался каждые несколько секунд.

— Уб-б-бийцы, — спина Викентия мучительно подрагивала. — Уб-бийцы. В-выродки.

Он распахнул дверь и швырнул Алекса на кровать, Борю — следом. Лёнька и Олежка осторожно обошли учителя. Олежке почудилось, что Викентий сейчас начнёт избивать товарищей — настолько ненормальным он казался. Его всего корёжило, будто неисправного робота.

— Ур-р... Ур-р... К-к... Эвтанолог! — Викентий потряс над головой сжатыми кулаками. — К-к эвтанологу! Всех! И К-квинта! Эт-то он! Все границы! Не человек! К эвтанологу всех, и учителя вашего!

У Олежки похолодело в груди. К эвтанологу — Квинта?

— Последняя капля! — слова полились из Викентия свободно. — Это была последняя капля! Больше не потерплю! Ни от кого! Все по Радуге пойдёте, Квинт — первым! Сидеть здесь!

Он выбежал за дверь и запер её снаружи. Повисло нехорошее молчание. Товарищи переглядывались. Щёки Алекса наливались краской.

Что же делать, что же делать?! Квинт спас Олежку, когда Викентий тащил его на смерть. Теперь нужно спасти учителя, Олежка обязан спасти учителя.

О своей жизни он не думал, только об обожаемом Квинте.

Решение пришло само: Олежка сперва дёрнул за ручку — дверь не открылась, потом подбежал к окну и распахнул его. В тёплой ночи шелестели ветвями яблони, рассаженные под окнами.

И до ближайшего толстого сука — проверено десятки раз — допрыгнуть легко.

Олежка сел на подоконник, свесил ноги наружу и скользнул вперёд и вниз.

* * *

На улице стояла духота. Горячий воздух загустел с наступлением ночи, стал вязким и липким. Давило в затылке, и было трудно дышать — как перед грозой, но не было ни облачка на небе, и только огромная, лимонно-жёлтая луна нависала над Интернатом.

Вокруг фонарей — светящихся белых шаров — кружилась мошкара. Ветви кустов сплетались во мраке. Под ногами шуршал гравий.

Я изо всех сил старался не бежать. Бегущий учитель, пускай даже ночью, привлекает слишком много внимания. Шагом, Квинт, шагом — спортивным, быстрым шагом... и не срываться на бег.

Шумит кровь в ушах. Колотится сердце. Чуть дрожат руки. Тахикардия, потеря мелкой моторики, повышенный мышечный тонус. Непроизвольный выброс адреналина. Рекомендация: две синих или одна фиолетовая и два-три часа покоя.

Мои надпочечники сработали после того, как я увидел драку в комнате двести четыре. Опасность, пусть отдалённая, разбудила звериные инстинкты. И это у меня — обычного, пускай и не очень сдержанного человека. А как там мои мышата на чёрных армейских таблетках?

Да они же разорвут ребятишек Викентия в клочья!

Если я их не остановлю. Спокойно, Квинт, спокойно. Не бежать. Идти. Идти быстро! Ещё можно успеть всё прекратить. Записи камер я потом сотру. Лишь бы Викентий туда не попёрся...

— К-к-квинт! — Викентий вылетел мне навстречу.

Лицо бесцветное, глаза прозрачные, губы посерели и дрожат. Бледный призрак из темноты — он встретил меня у пожарного щита, взбудораженный и донельзя перепуганный.

Или — разъяренный? Да нет, не может быть...

— К-к-винт! Т-твои в-в-в-вы... в-выродки! Они!!! — Заикание вдруг пропало, и из Викентия хлынуло: — Устроили драку! Разгром! Это чудовищно! Директор Витберг! Я доложу! По всей форме! Это против правил!

Я опоздал. Ах, чёрт, обидно... Комок в горле и стук в ушах. Некая отстранённость, как будто это происходит не со мной. И колючая мысль: жалко мальчишек. Теперь мне их не спасти. Я создал их и убил.

— Я не потерплю! — разорвался Викентий. — Немыслимо! Твои методики! Привели к э-э-э-тому! Позор! Я же п-п-п-п... п-предупреждал! П-правила!

Проклятый идиот. Такой эксперимент загубил. Скудоумный, тупой, напыщенный кретин. П-п-правила...

И тут я почувствовал: в груди зашевелился зверь. Он просыпался, разбуженный чувством досады — и дозой адреналина. Надо было что-то сделать, обуздать его, не дать вырваться — но Викентий опять ляпнул про правила, и я не выдержал.

Коротко замахнувшись, я врезал ему кулаком в живот.

Физрук рухнул на колени.

* * *

Где он?! Олежка тщетно пытался унять дыхание. Где Викентий?!

Обогнать Олежку он не мог — по лестнице идти дольше. Остановился, чтобы позвонить эвтанологу? Или вызвать СЭС?

Олежка затряс головой, но ужас не отступал. Кабинет эвтанолога. Кушетка. Крепления для рук и ног. Учитель Квинт — беспомощный, одинокий. И длинная игла, тянущаяся к вене.

Этого не должно быть! Учитель спас Олежку, и Олежка спасёт учителя. Иначе не станет никого.

В ветвях яблони запел соловей. Олежка дрожал, душная ночь казалась ему холодной. От жилого корпуса к дому директора Витберга бежала посыпанная белым гравием дорожка, ныряла в тень деревьев, куда не проникал лунный свет, мерцала там, во мраке. Скрипнула дверь, и на пороге жилого корпуса застыл Викентий — Олежка узнал его фигуру.

Спрятаться. Куда? Олежка нырнул за пожарный щит.

Викентий пришёл в движение. Целеустремлённый, угрожающий, он спешил к Витбергу, чтобы отправить по Радуге всю четвёрку Квинта вместе с учителем. Спасти Квинта. Олежка закусил палец до боли — решение где-то рядом, но его не нащупать. Высунулся из-за щита, уставился в удаляющуюся спину. Перевёл взгляд на стенд.

Изогнутый клык багра, увесистый лом. Лопата. Ведро.

Олежка аккуратно, двумя руками, снял со щита багор — тяжёлый, металлический. Холодный. Есть один человек, он хочет убить пятерых других людей: учитель Викентий сейчас идёт к директору, чтобы эвтанолог усыпил друзей Олежки и самого Олежку.

Это неправильно. Это нужно прекратить. Сердце стучит так сильно, что красная пелена плывёт перед глазами. Олежка тонет в страхе и ярости, не помнит себя.

Гравий хрустит под ногами — предательски громко. Неладное творится в небе, вспышки, зарницы. Светлая куртка Викентия — впереди, там, во тьме.

Олежка припустился быстрее, обеими руками сжимая успокаивающее железо багра.

Непроглядно.

Пятно спины — цель.

Догнать. Быстрее. Не слышит? Громко.

Не слышит.

Голоса.

Викентий заикается. Отвечает... учитель?! Квинт?

Что-то происходит в нескольких шагах впереди. Олежка резко останавливается и крадётся к учителям. Может быть, Квинт вразумит Викентия? Может быть, обойдётся? Вспышка в небе. Белая куртка Викентия. Квинта не видно за физруком.

Ну же! Олежка чуть не плачет, прикусывает губу: он не может выносить этого.

—...п-правила!

Резко выдохнув, учитель Квинт что-то делает с Викентием. Физкультурник падает на колени. Олежка понимает: Квинт ударил. Как тогда, в туалете, Алекс ударил Олежку.

Квинт.

Ударил.

Значит...

Коротко стриженная макушка Викентия прямо перед Олежкой. Багор оттягивает руки. Учитель Квинт разевает рот. Олежка с трудом замахивается и опускает багор — острым крюком прямо в темечко.

Хрустит противно. Ни слова не сказав, выдержув застрявший в черепе багор из рук Олежки, Викентий валится вперёд.

Лицом вниз. Пахнет кровью. В небе снова вспыхивает зарница, пробиваясь сквозь сплетённые ветви деревьев. Поёт соловей.

— Я всё правильно сделал? — спрашивает Олежка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

— **И**так, Олег, — сказал санитарный инспектор Феликс с широкой, искренней улыбкой. — Ты не мог бы опять рассказать, где были твои друзья в ночь... инцидента?

Рисовать хотелось — аж пальцы зудели.

Приходилось терпеть. Инспектор Феликс в миллионный раз решил со мной побеседовать. Я ёрзал на жёстком стуле, старался не вертеться, не смотреть в окно. Не получалось.

Я видел акварель: мазки зелени, прозрачные оттенки серого и голубого, и, поверх, синий, фиолетовый, чёрный. Дождь только закончился, серый пар валит от земли. Но тучи густые. И море грохочет. Шторм.

За окном, прямо у порога, бесстыдный армейский фургон блестел брезентовым тентом. Его я бы тоже нарисовал — маслом. Его и военных, этих выроdkов, — каждый вечер мы пробирались ближе к постам и наблюдали за сменой караула. Я точно знал, что не пойду в армию.

— Я ведь уже рассказывал, — вздохнул я, — мы были у себя в комнате...

Инспектор Феликс закивал, вытащил блестящую коробочку, из неё извлёк стопку листиков — исписанных и чистых, и принялся что-то сверять, пометать и даже зарисовывать. Он всегда так делал. Мы изучили и обсудили инспектора вдоль и поперек, с его бумажечками, белым комбинезоном и широкой улыбкой. Улыбка мне снилась чуть не каждую ночь. Клацала белыми зубами и скалилась.

Даже щербатая чашка улыбается душевней, чем инспектор Феликс.

Даже ночной комар зудит не так назойливо, как инспектор Феликс.

У меня засвербело в носу, я почесал переносицу, чтобы не чихнуть. Алекс утверждает, что у него аллергия на беседы с Феликсом, у меня, похоже, тоже.

— А Лёня? Что делал Леонид, когда зазвучала сирена?

— Паял что-то, кажется... Для проекта. Мы ведь планер должны сделать, к экзамену счастья. Он и паял.

— Приёмник, — подсказал инспектор. — Лёня паял приёмник. Так?

Ладони взмокли, пальцы в кедах поджались. Инспектор любил задавать неожиданные вопросы. И непонятно было, как относится приёмник к убийству — первому за последние сорок лет, я в газете прочитал. То есть мне-то понятно, но Феликсу что за связь причудилась?

— Наверное, приёмник.

— А Лёня... Леонид — он умеет паять? — вкрадчиво уточнил Феликс.

Цепляется за всё подряд. Я так же перебираю акварельные карандаши, когда не могу нащупать рисунок внутри головы, когда не знаю, с чего начать — будто правильный цвет сам прыгнет в руку.

— Не знаю. Я не умею паять, как мне разобратся?

Увиливать научились все воспитанники, но я тут был лучшим. Это ведь не так сложно — соврать взрослому. Особенно если знаешь, ради чего. Я-то знал. Я не хотел к этанологу. Я хотел рисовать. Вот эту улыбочку («бедный ушибный мальчик, тебя не переведут в следующий год жизни») я бы изобразил на облаке. Белом облаке над плоским океаном. А в океане — рыбу, лупоглазую глупую рыбу.

— Мне кажется, дорогой брат Олежка, что ты не совсем со мной искренен.

Улыбку пришлось рисовать не на бумаге, а на своем лице.

— Сам Лёня, — Феликс порылся в бумажках-записочках, — утверждает, что уже лёг спать, когда завывла сирена.

Ага! Ну и кретин ты, Лёнька!

— Да нет, — я уверенно махнул рукой. — Не может быть. Время-то было детское. Часов десять. А у нас отбой в одиннадцать. Паял он, точно говорю.

— Ага. Ну да. Логично. Так и запишем: паял... — и Феликс действительно записал на бумажке каллиграфическим почерком «паял».

Всё-таки учитель Квинт прав: они все дураки. Надо просто твердить одно и то же много раз, и рано или поздно они поверят. Главное — не путаться. Стоять на своём. Даже если сморозил глупость — её и держись.

Учитель Квинт за меня теперь горой, ведь он обязан мне жизнью. Учитель Квинт поможет и не выдаст меня Феликсу — никогда. Он и записи на камерах подправил, чтобы нас всех спасти. С Лёнькой и остальными я поговорю... А с бывшей четверкой Викентия и говорить не надо: им так стыдно, что их побили, что они вообще молчат о той ночи. Точнее, твердят дружно, что с кроватей попадали. Инспектор снова перебирал бумажки, кажется, забыв про меня.

— Я могу идти, инспектор Феликс?

Из окна тянуло влажной липкой духотой. На улице было сыро и жарко, но в кабинете инспектора — ещё хуже. Быстрее бы свалить отсюда, взять лист бумаги и... нет, никакой акварели. Грифель. Чёрное и белое. Замысел рисунка бился под черепушкой, хотел воплотиться.

— Да-да, конечно, брат Олег. Мир и любовь! И пригласи ко мне... этого... Александра из группы Викентия.

— Хорошо. Мир и любовь!

Спину покрывал холодный липкий пот. Руки чуть-чуть дрожали. Но в целом мне было круто.

Я справился. Как всегда. Я снова всех спас. Теперь надо, чтобы остальные не подвели.

Я счастлив? Пока нет. Но я смогу быть счастливым.

* * *

Непогода смысла жителей Приморска с пляжей, выдула из городских парков, душевных и глянцево-зелёных, загнала с блестящих от дождя тротуаров под навесы кафе и ресторанов. Отовсюду звучала музыка, заглушая стук капель по зонту, и Квинт двигался из одной полосы навязчивого ритма в другую, слушая бесконечное «люди любят, когда их любят» и «чайки парами на берегу».

Воздух напитался влагой, и дышать этим туманом не было возможности.

Небо, днём однотонно-серое, сейчас наливалось меланхоличной синевой, всё вокруг наливалось синевой, и Квинт плыл в идеальной синеве,

чувствуя, как липнет к спине сорочка и что ботинки отяжелели, промокнув.

Директор Витберг соизволил попросить о встрече в «одном закрытом клубе». Квинт представил себе оный клуб, где, проводя вечера в бесконечных спорах, старые пердуны пьют коньяк из пузатых бокалов. Дождь располагал к коньяку. Температура воздуха намекала на холодное пиво в запотевшей кружке.

— Радуйся! — раскинул объятия юноша с глазами месячного котёнка. — Ты счастлив, брат?

Он заступил Квинту дорогу — вода струится по лицу, капает с длинного носа, бесцветные губы растянуты в улыбке, праздничный комбинезон белеет, отражая свет фонарей.

Кто бы это мог быть? Служащий СЭС? Водитель автомобиля, на котором Квинта увезут к эвтанологу? Просто сумасшедший?

— Я счастлив, — Квинт просиял в ответ, — а ты счастлив, брат?

— Да-да, — с носа юноши упала очередная капля, — ты же — учитель из Интерната? Из Школы Счастья? Брат?

Ах, вот оно что. Один из «поклонников жанра», как их окрестил про себя Квинт. Граждане лет от восемнадцати и до тридцати, счастливые и беззаботные, следили за расследованием убийства с жадным интересом. Счастливые, самодовольные, неунывающие в своем жизнерадостном идиотизме, они бессознательно тянулись к крови и грязи. СЭС работала, по слухам, не покладая рук. Инженеры-системщики в срочном режиме искали «таблетку острых ощущений».

— Брат? Ты же — оттуда? Ты видел детей-убийц, брат? Правда, что их держат в клетках? Правда, что они не умеют разговаривать?

Ну вот откуда, скажите на милость, в голове у благополучного, пусть и слегка трёхнутого, парня, такие завиральные идеи? Откуда такие фантазии? Квинт улыбался, не в силах ответить, а блаженный продолжал:

— А правда, что всю старшую группу уже отравили по Радуге? А ты сам видел тело, брат?

Сдать бы тебя СЭС, с тоской подумал Квинт. Там бы тебя, радостного, живо вылечили. И общество от тебя заодно избавили. Он оттеснил юношу плечом и поспешил дальше, не обращая внимания на недоуменные вопли.

Подпольный клуб — в прямом смысле подпольный, располагался в подвале кафе «Мираж». Квинт прошёл мимо кожаных красных диванчиков, мимо стеклянных столиков, торшеров на гнутых ножках и круглых плафонов к стойке. Бармен в галстук-бабочке протирает бокалы.

— Радуйся! Ты счастлив, брат? Не желаешь ли фирменный молочный коктейль?

— Радуйся, — буркнул Квинт. — Счастлив. Не желаю.

На стол легла визитка. Бармен подвинул её к себе, внимательно изучил, вскинул брови.

— Заходи за стойку, брат. Я открою дверь.

Посетители кафе в сторону Квинта даже не обернулись. С барменом говорит — значит, так надо. В служебную дверь за стойкой прошёл — тоже так надо. Все хорошо, сосём фирменные молочные коктейли и жуём пышки.

— В конце коридора — налево и вниз, — предупредил бармен. — Кодовый замок, код на визитке. Последние пять цифр.

Квинт, хлюпая промокшими ботинками, миновал коридор, спустился по узкой лестнице на один пролёт и ввёл код. Ни замок, ни тяжёлая металлическая дверь с поворотной ручкой его не удивили. Квинта вообще ничего не могло здесь удивить — он уже видел клубы извращенцев.

Зал подпольного клуба Квинта не удивил — потряс.

Такое чувство, что ты очутился на шахматной доске, даже внутри её. Пол выложен чёрной и белой клеткой, две стены — белые, две — чёрные, зеркальный потолок. У Квинта закружилась голова, и он не сразу осознал, что в залелюдно, музыки нет, только шум голосов, и запахи в воздухе (в отличие от верхнего «Миража») плывут вполне себе аппетитные.

— Радуйся, — метрдотель, похожий на говорящего пингвина, материализовался у левого плеча, — чем могу помочь тебе, брат?

— Я ищу... — Квинт запнулся, соображая, можно ли упоминать настоящую фамилию директора.

— Друг мой! — Исидор Витберг, слегка пьяный, спешил навстречу. — Друг мой, сюда!

Метрдотель проводил попавшего в Витбергов объятия Квинта до столика, положил толстенное меню в кожаном переплётё.

— Милейший, — Витберг поймал метрдотеля за полу, — милейший, секундочку. Мой друг в первый раз здесь. Полагаю, нам следует это отметить! Черепашков суп, две порции, и бутылочку коньяка сейчас.

Квинт пристроил зонт и расстегнул куртку. Витберг сиял лихорадочным светом, болтал не переставая. Не вслушиваясь особо, Квинт осматривался. Что за желания удовлетворяются в этом подвале? Объевшись до икоты, подпольные гурманы бьют друг другу лица? Сношаются прямо на металлических столешницах, слизывая соус с тела слу-

чайного партнёра? В полночь повара выходят из кухни и гоняются за посетителями с ножом — кого поймают, завтра подадут на обед?

В любом случае, Квинту здесь не нравилось, и по доброй воле он сюда возвращаться не собирался.

—...проклятый дождь, друг мой, проклятый дождь! У меня кости ломит, гудит в голове, хочется спать, спать, спать, не просыпаясь. И эти инспектора — ходят в тумане, как призраки прошлого, вся работа — псу под хвост, дети не пройдут финальных испытаний, это яснее ясного, им не до счастья. Мы потеряем их всех, а следом — Интернат. В правительстве давно поговаривают об устаревших методах, о нерациональности педагогики... наших детей «вылечат», понимаешь? Не переведут в следующий год жизни. Отправят по Радуге. И младшую группу мы уже не наберём, дорогой мой друг. В лучшем случае, их станут пичкать таблетками, надеясь выправить химическим образом, а мы, мы с тобой, брат Квинт, останемся не у дел. Понимаешь? Упёрлись в Радугу, а ведь счастьем можно научить только собственным примером, только человек может сделать другого человека счастливым. Нам не дадут... Бедные дети. Бедные мы. Что остаётся? Пить. Наливай!

Квинт налил. Былостыдно и скучно. Витберг выпил залпом. Щёки директора покраснели, шея — тоже, Исидор расстегнул верхнюю пуговицу на сорочке. Откровения лились из него, словно пресловутый дождь с неба. Квинт перестал слушать.

Витберга можно понять. Он строил свой мир, Интернат, год за годом. Спрятался в домике директора от остальной вселенной, контактировал только с учителями, даже преемника себе нашёл — Квинта. С каждым годом показатели Интерната улучшались, Витберг учил воспитанников счастьем... и вот — всё рухнуло. И Витберг оказался не в силах бороться. В голове талантливого педагога, тайного бунтаря (сидит же Исидор сейчас в подпольном клубе!) и эрудита не зародилась элементарная мысль: попытаться отстоять своё детище.

Свое счастье.

Пить — легче. Выход труса: наливай, забудь обо всём.

— ...эти дети. Сколько сил на них положено, друг мой, сколько сил! А теперь, не поверишь, я боюсь ночью ходить по нашему парку. Я боюсь, что меня огреют багром по голове. Как они могли додуматься до этого, спрашиваю я себя? Как им в голову пришло, как они не испугались?

Ты ещё скажи, старый дурак, что дети толпой набросились на счастливого крестина Викентия

и загрызли его. Квинт налил по новой. Надо бы уйти. Встать и уйти, оставить Витберга наедине с его унынием.

К столику, толкая тележку с аквариумом, приблизился официант. Поверх его белого комбинезона был надет чёрный кожаный фартук. В аквариуме плавали красноухие черепахи, вытягивали шеи.

— Радуйтесь! Которую изволишь, брат?

Витберг воспрянул духом, крикнул и ткнул пальцем в небольшую любопытную рептилию. Официант натянул резиновую перчатку, сунул руку в воду и ухватил избранницу за заднюю лапку. Привычное, экономное, но сильное движение, и официант, наклонившись, ударил черепаху об пол.

Панцирь хрустнул.

На белой плитке остались капли крови, алой, как у человека.

Официант замахнулся ещё раз.

Удар.

Панцирь несчастного животного разлетелся осколками. Витберг засмеялся.

Посетители зааплодировали.

Борясь с тошнотой, Квинт отвёл взгляд. Мир Витберга разлетелся на куски, что тот панцирь. Но директор ничего не делает. Он предпочитает вкушать черепаховый суп.

* * *

Они ушли смотреть на солдат, а я остался. Тупые вояки с мордами-тарелками меня не интересуют, пусть знают. Я сидел на крыльце. Тяжёлые капли срывались с козырька и разбивались о гравий. Вроде, нет дождя. А вроде, есть.

Буфетчица Марьяна дала яблоко — просто так, снова меня пожалела, и я грыз это яблоко, смотрел, как шлёпает по листьям дождь, которого как бы нет, и вовсе не завидовал тем, кто ушёл пялиться на солдат.

Подумаешь.

Я нарисую солдата — в зарослях, смотрит с прищуром, лицо — белым пятном. И сначала никто не будет солдата замечать, только пугаться, а потом, когда увидят, будут отшатываться, ронять рисунок и говорить: гляди-ка, мальчик, а смог так передать самую суть.

— Ребёнок. Радуйся.

Директор Витберг в последнее время плохо выглядит. Будто он плачет по ночам, закрывшись в своём домике. Глаза — красные, нос — красный. Это я виноват. Во всём, что происходит в Интернате, виноваты мы с учителем Квинтом.

Я улыбнулся директору и снова откусил от яблока. Брызнул сок.

— Ребёнок, ты же из четвёрки Квинта? Вы проводили опыты с мышами?

Проводили. Последние две недели учитель Квинт испытывал на мышах разные вещества, а мы помогали. Это было интересней, чем мешать растворы в колбах. После некоторых препаратов мыши начинали лучше проходить лабиринт, а от других грызлись.

— Пойдём-ка со мной.

Я поднялся и запульнул огрызком в мусорку. Не попал.

— Покажешь мне этих животных. Учителя Квинта на месте нет, а мне хочется посмотреть.

Я вытер руки о брюки и пригласил директора:

— Пойдёмте.

Лабиринт с мышами учитель Квинт организовал в подсобке. Сам притащил хвостатых альбиносов, сам их кормил, а мы помогали. Интересно же. Я распахнул дверь, включил свет и продемонстрировал хозяйство Витбергу. Он подошёл к стеклянному лабиринту, заложил руки за спину и качнулся с пятки на мысок.

Мыши завозились в клетке, тыкались в дверцу, ждали, когда их выпустят. Я потянулся открыть заслонку, но директор остановил меня:

— Погоди, ребёнок. Надо же. Совсем как мы. Мечемся, бегаем, а выхода и не видим.

А ведь действительно. Один мыш, с серым пятном у хвоста, был поумнее других. Всегда первым проходил лабиринт, и я всегда за него болел: он не такой, как остальные. Умный и одинокий. Наверное, с ним никто не дружит.

Прям как со мной. Я — самый умный мыш.

Мысль мне понравилась. Нарисую лабиринт и маленьких человечков в нём. И большое лицо, смотрящее сверху. У лица была неживая улыбка инспектора Феликса и черты учителя Квинта.

— Спасибо, ребёнок. Выключи свет и закрой здесь всё. Мир и любовь.

Он ушёл, загребая ногами, будто туфли были велики директору. А я ещё несколько минут посмотрел на мышей и побежал рисовать, пока картинка не стёрлась из моей головы.

— Рисует.

Алекс вернулся довольно давно, вернулся один. Вздвинченный, как всегда, метался по комнате, но я на него внимания не обращал. Перетопчется. Не он тут самый-самый, не он всех спас от этанолога. Алекс боится — инспектора, солдат, учителя, того, что произошло в Интернате.

Я не боюсь ничего.

— Рисует, значит, — Алекс обращался к витражу. — Отрывается от коллектива.

— Что я, солдат не видел? — не выдержал я.

Рисунок не получался. Лицо, склонившееся над лабиринтом, выходило неправильным. Я уже даже перед зеркалом позировал, чтобы понять, как делать, а всё равно — не выходило.

И тут ещё Алекс.

— А ты присмотришься, — посоветовал Алекс, — вдруг случится чудо, и тебя переведут в следующий год жизни? В солдаты пойдёшь, несчастливец. Людей пугать.

В комнате царил дождливый полумрак. Я посмотрел на Алекса так, чтобы он осознал: зарывается.

— Это ты в солдаты пойдёшь. А меня в нормальную школу переведут. И в семью возьмут. Мама меня заберёт, понял?

Он рассмеялся. Хлопал себя по ляжкам, согнувшись пополам, и гнусно хрюкал. Я мог его убить — как Викентия. Запросто. Я — единственный в Приморске, кто убил человека. И ещё учитель Квинт мог бы, он тогда почти справился, но я успел и помог. И всех спас.

— Да твоя мама давно тебя забыла! Ты же — несчастливец! Урод! Художник выискался!

И я не выдержал. Я вскочил, отпихнул стул, встал напротив Алекса и выпалил:

— Я нас всех спас! Это я нас всех спас, когда Викентий побежал эвтанологу звонить!

Алекс заткнулся и отпрянул. Даже руки поднял, будто я взаправду собрался его убивать.

— Т-ты?!

— Я! Да! А ты только бояться можешь! Трус! Я буду счастливым, понял? Я — счастливей всех буду! А ты ничего не сможешь! Ты перетрусишь, и тебя к эвтанологу заберут! Феликс тебя заберёт!

— А если я пойду, — медленно, нехорошо улыбаясь, произнес Алекс, — и ему всё расскажу? Прямо сейчас?

— Попробуй, — сердце зашло в груди, но голос не дрожал, — а он тебе скажет, что ты тоже виноват. Вы все виноваты. Меня не остановили. Коллективная ответственность. И вас тоже накажут — мы же одна комната. И накажут, как меня. Эвтанологом. Ну? Идёшь?

— Иду. — Алекс уже пришел в себя. — Только знаешь, несчастливец, куда я иду? Домой к учителю Квинту. Он забирает меня на выходные. А тебя — нет. Потому что ты — урод. Самый настоящий урод, которых свет не видывал. И тебя всё равно не переведут в следующий год жизни!

Он схватил свою сумку и рванул за дверь, а я остался.

Самому умному мышу наверняка так же одиноко. И он не видит стеклянных стен, рас-

шибается о них, ищет выход. Самый умный мыш — как я.

Он может всех спасти. Но рука учителя возмёт из клетки не его, а другого, покрасивее.

И всё равно я буду счастливым. Буду.

Я вернулся к рисунку. Руки тряслись, грифель ломался, и лицо, склонившееся над людьми в клетке, получалось мёртвым и злым.

* * *

Квинт уложил Алекса в гостевой комнате, пожелал доброй ночи и закрыл дверь. Класть воспитанника в детской, с Денисом, он не рискнул — эксперимент продолжался, дети принимали препарат номер три, и смесь агрессии с умственной активностью давала интересные, подчас неожиданные результаты. Проще говоря, в эмоциональной устойчивости Алекса Квинт уверен не был и рисковать сыном не желал.

То, что поначалу представлялось удачной идеей, сейчас, в электрическом свете позднего вечера, внушало если не страх, то опасения. Вспомни Олежку, вспомни несчастного Викентия и подумай, зачем ты привёл домой потенциального убийцу.

За последние недели Квинт прочитал много книг по истории педагогики и возрастной психологии. Раньше дети играли — брали роли, как в кино или театре, вживались в них, моделировали ситуации, в общем, творили... Представить своего сына или Алекса играющими Квинт не мог. Общение же обычное, повседневное, у них не ладилось.

Семейный ужин превратился в испытание. Сияла улыбкой Ирена, проявлял сдержанный интерес Денис, Алекс пытался всем угодить и понравиться и при этом на каждое слово возражал, ввязывался в спор с энтузиазмом неофита, и Квинту приходилось сглаживать острые углы. Конечно, все странности Ирена спишет на «ущербность несчастного мальчика», она же приняла светло-зеленую таблетку жалости. Но всё-таки Квинт проявил неосмотрительность.

В гостиной звучал нескончаемый диалог, кто-то признавался кому-то в любви. Поморщившись, Квинт попытался проскользнуть мимо открытой двери.

— Милый! Ты присоединишься ко мне?

Снова в её голосе экзальтированная слезливость. Синяя меланхолия поверх невыветрившейся жалости — подходящее соединение для просмотра сериала. Упершись руками о косяк, Квинт заглянул в комнату. Ирена сидела перед телевизором, завернувшись в плед и поджав ноги. На столике — чай в фарфоровой чашке, печенье; диван принял форму тела, Ирена — домашняя, уютная, в ситцевом платье... Мелкий узор совершенно не подходит к её лицу.

— Нет, милая! Я поработаю немного и приму фиолетовую! Радуйся!

Квинт улыбнулся и развернулся, чтобы идти.

— Милый! — Ну вот, она уже плачет. — Ты так занят в последнее время. Посиди немного со мной!

Решить, что приготовить на ужин, она не может, зато решить за Квинта, как ему проводить свободный вечер — всегда пожалуйста.

— Мир и любовь! — изрёк экранный герой, закатывая глаза. — Прощай, любимая, долг призывает меня нести счастье всему обществу, не только тебе!

На актёре был комбинезон эвтанолога. Красавица-актриса лупала вишенками глаз и давила слезу. Квинт присел на диван рядом с Иреной.

— Представляешь, милый, она не хочет, чтобы он, его зовут Александр, работал по специальности, эвтанологом. После того, как эвтанолог излечил её двоюродную бабушку, она, её зовут Марина, считает, что профессия эта скорее вредит обществу, чем помогает. Сериал с острой социальной проблематикой, так сказали в анонсе. Три серии назад Александр согласился с Мариной и попытался устроиться в больницу, но призвание и долг оказались сильнее любви. О, милый, я так переживаю за неё! А четыре серии назад...

Это длилось, длилось и длилось. Пересказ вымышленных проблем картонных героев, искреннее сопереживание их несуществующим эмоциям и драмам, сравнения с собственной судьбой — высосанные из пальца режиссёра. Квинт знал, что Ирена болтала не просто так, а с намёком, она доносила до мужа свои мысли. Например, свежую идею: человек обязан быть счастливым. Квинт тоже обязан быть счастливым, и обязательно — рядом с ней.

Эксперимент можно признать успешным уже сейчас — дети опередили сверстников по многим показателям. Счастливы они? О, нет. Они глубоко несчастны, равно как и Квинт. Из этого состояния он ищет выход, меняя сочетания цветов, превращая чёрную таблетку агрессии в таблетку личного (пусть и открытого для других) счастья. А если совместить агрессию и меланхолию? Допамин и серотонин на фоне адреналина и тестостерона? Нейтрализуют они друг друга? А если...

— Милый! Ну что ты? Послушай, это же интересно и полезно. Александр пошёл в эвтанологи потому, что в детстве столкнулся с несчастливцем, наложившим на себя руки. Тогда Александр решил, что будет помогать безнадежным... Милый, тебе не кажется, что это так благородно? Нести счастье другим? Можно ведь и до пути по Радуге помочь человеку. Сделать его счастливым!

Будь у неё своя жизнь, свои эмоции — стала бы Ирена столько времени проводить перед телевизором? Будь у неё хоть капля здоровой агрессии — стала бы она терпеть равнодушие мужа?

В кармане брюк лежал пузырёк с препаратом номер два, опробованным на прошлой неделе. Квинт назвал его «раскрепощение» и считал удачной, пусть и далёкой от цели находкой.

— Милый, — Ирена коснулась его руки, — ты не слушаешь? А что, если нам принять по красной? Мы же две недели не занимались любовью. Я понимаю — у тебя неприятности на работе, но ведь организму необходима регулярная разрядка.

Что ж, жена, безусловно, права. Квинт забыл про эту самую «разрядку», якобы необходимую его организму, но Ирена — молодая здоровая женщина. И красная разбудит задремавшее желание. А ведь можно попробовать всё изменить, разомкнуть надоевший круг.

— Ты знаешь, милая, Арсений, мой коллега по Институту, поделился вчера со мной новейшей разработкой. Штучная эмоция для занятий любовью. Дарит небывалые ощущения.

Давить на Ирену, убеждать с интонациями консультанта в универмаге. Она не сможет отказаться.

Конечно же, она не отказалась. Квинт вынул из кармана пузырёк и выкатил две пилюли на протянутую узкую ладонь.

Они поднялись и прошли в спальню. Набивший оскомину ритуал семейного счастья: красная — для него и для неё. Вода из высокого стакана. Скользкое покрывало, сброшенное на пол в порыве страсти. Глаза Ирены разгорелись, губы налились кровью, она постанывала, стягивая с Квинта рубашку.

Возбуждение, охватившее Квинта, было привычным и механическим. Секс с женой давно уже стал настолько предсказуемым и однообразным, что смахивал на мастурбацию. Одна и та же поза, один и тот же ритм. Но сегодня... Номер два подействовал.

Разум оставался ясен, как и положено естествоиспытателю во время эксперимента, хотя Квинт отвечал на лихорадочные ласки Ирены и желал её. Ирена терлась о Квинта, облизывала и покусывала его, сползла в ноги и целовала пальцы, скользила вдоль всего тела, чего-то требуя.

Чего — Квинт не мог понять.

Существо, оказавшееся с ним в постели, похоже, не обладало даром речи. Из нечленораздельных вскриков и всхлипов Квинт уловил только просящие интонации.

— Милый, — забормотала Ирена, — милый, милый, милый...

Она встала на четвереньки и прогнулась в пояснице. Обернулась через плечо, облизнула пересохшие губы. Развела бёдра, обнажив естество. Беззащитная. Покорная.

Квинт привычно уложил её на спину. Ирена широко, будто первый раз его видела, распахнула глаза.

— Милый!

Снова те же скулящие интонации и этот взгляд — умоляющий, робкий. Квинт вошёл в неё резко, повинуясь инстинктам. Ирена вскрикивала, руки её шарили по плечам и спине Квинта, сквозь прикрытые ресницы блестела полоска белка. Полные груди колыхались в такт движениям, Квинт ждал, что Ирена вот-вот кончит, но кульминация почему-то не наступала.

Ирена, хрипло выдохнув в очередной раз: «Милый!» — вонзила ему в плечи ногти.

Это было так неожиданно больно, что Квинт отпрянул, но Ирена ногами обхватила его поясницу и впилась зубами в предплечье. Прокусила кожу. Квинт зашипел, страсть улетучилась, он отвесил Ирене пощёчину — в полную силу.

Ирена кончила.

Квинт вырвался из её объятий, скатился с кровати. Нет, конечно, жена не выдрала из руки кусок мяса. Следы от зубов остались, но крови не было. Квинт приподнялся и посмотрел на Ирену — она лежала, раскинувшись, уставившись в потолок, на лице её играла блаженная улыбка.

Улыбка сытого животного, получившего своё. Самки, спровоцировавшей самца на агрессию. Квинт отправился в ванную мыть руку; он тёр ладонь щеткой для ногтей и пытался побороть мучительное чувство стыда за Ирену: она не виновата, она стала жертвой эксперимента.

И месяцем раньше такая любовь принесла бы Квинту разрядку и желаемое облегчение, и не было бы ни стыда, ни брезгливости.

— Квинт! — тихо позвала из спальни Ирена. — Ещё, Квинт! Ещё!

ГЛАВА 2

Мышь с серым хвостом удрал из клетки. Я не сразу заметил, что его нет на месте: менял опилки, думал, спрятался куда-то. Обшарил всю подсобку, в каждый угол заглянул, но мыша не нашёл.

Занятия уже кончились, все разбрелись по комнатам — погода дурацкая, а на берег и вовсе не пускают, штормовое предупреждение.

Я бы пошёл на пляж сейчас. И чтобы буря, ураган и волны.

Алекс переночевал у Квинта и вернулся надутым, самодовольным — кулаки чесались, когда я на него смотрел. Это я всех нас спас. Они все мне должны. И почему-то я несчастлив. Я заставлял себя быть счастливее, ещё счастливее, я даже в подсобку пошёл, чтобы посмотреть на мышей — настроение улучшить.

А серохвостый сбежал.

Я им гордился — с одной стороны.

А вообще очень обидно, когда твой друг уходит, не попрощавшись и не позвав тебя с собой. От несправедливости щиплет в носу.

Я дочистил клетку и убрался из подсобки — делать здесь больше нечего, другие мыши — скучные, как товарищи по комнате. Серохвостый удирает сейчас — садом, мокрыми кустами, травой, которая для него — больше деревьев, шуршит прошлогодними листьями, форсирует лужи, перелазит через неохватные стволы — мелкие веточки... Мелькает белая шкура, и бдящим в душном сумраке сада солдатам кажется, что это — солнечный зайчик.

Куда он может податься?

Я бы пошёл в Приморск, к учителю Квинту. Его адрес я давно подсмотрел в журнале и помнил наизусть. И даже по карте посмотрел, как идти. Туда бы и направился — чтобы показать ему рисунки. Чтобы учитель Квинт понял, кто тут лучший, чтобы вспомнил, как я его спас.

В комнату не хотелось. Во-первых, я бы не сдержался и побил Алекса. А во-вторых, они там, наверное, планер доделывают, а мне их проект не нравился. Скучный планер обклеят белой плёнкой. Разве можно? Я предложил бы разрисовать, но после вчерашнего опасался.

Обратишь на себя внимание — Алекс побежит к инспектору Феликсу. У него дури хватит всех нас угробить, у Алекса. Просто из вредности и правильности, хоть в последнее время Алекс не очень-то и правильный.

Они и правда доделывали свое страховидище. Ни на кого не глядя (зато они на меня пялились), я взял из шкафа папку с последними рисунками. Спустился вниз, засяду на крыльце. И может быть, что-нибудь изображу под дождливое настроение.

Все молчали. Ну и я молчал, больно надо с ними говорить.

Гордо вскинув голову, я покинул вражескую территорию.

Спустился вниз, вынырнул в сад. Туман, шелест, воздух неподвижен. Сад казался чужой страной, ещё неизведанной, а я был в ней первооткрывателем. Дорожки превратились в звериные тропы, здания — в горы. Я замер от восторга. Никогда и

никому ещё не приходило в голову рисовать не на бумаге — рисовать наяву. Будто я заснул, и всё — по моему желанию. Даже лучше.

Этот новый мир целиком принадлежал мне.

Я подумал и решил, что я — не первооткрыватель, а туземец. И мне надо мимо захватчиков, высадившихся на мирном и счастливом острове, пронести самое ценное — рисунки — к вождю, известному своей мудростью. Спасти творческое наследие от произвола, всё такое, как в учебнике истории.

Счастье спасти.

Я свернул с тропы в джунгли. Переступить легко, с пятки на мысок, чтобы никто не услышал. Ветка хрустнула — кто-то движется впереди. Может быть, птица, а может, враг или дикий зверь, тигр. Ничего, я смогу договориться с обитателями лесов, а если там человек — обхитрю и убегу или убью его даже. Я замер, прислушиваясь, слившись с джунглями. Тишина. Капли падают, кеды мои уже промокли. Скользнул ещё глубже в сумрак, ободрал колено о колючки ядовитого куста, зашипел от боли.

Теперь я ранен, и звери почуют кровь. И вообще, я умру от заражения через три часа, если не успею к вождю, у него есть снадобья.

Дальше я крался осторожней, и скоро, не выходя на звериные тропы и чудом избежав встречи с хищниками, вышел на опушку.

Самое сложное: опушку контролируют захватчики. Отсюда слышны грубые голоса солдат, и, приблизившись, можно рассмотреть их лагерь. На их стороне — военный опыт, на моей — знание джунглей и инстинкт.

Сейчас я — белая мышь с серым хвостом.

Я запихнул рисунки, стараясь не измять их, за пояс, под рубашку, лёг на живот и пополз. Патруль удалялся, я был у самой опушки, но новое препятствие встало передо мной: забор.

Враги обнесли джунгли забором!

Не зря, однако, меня прозвали Ловкой Рукой, я был опытным охотником и неунывающим разведчиком. Сдержав подбадривающий клич, я нырнул из кустов, разодрав рубашку, и перемахнул невысокую (ха! они рассчитывали, что меня можно остановить штакетником!) преграду.

Теперь я был на свободе.

Избегая широкой реки, по которой проносились, обдавая меня смрадом, бегемоты с горящими глазами, я поспешил к далеким горам Приморска.

Вождь ждал меня.

Главное — не попасться в таком виде взрослым. Вернут в Интернат и не подумают. К счастью, обочина дороги была обсажена зелёной изгородью, и я нырнул в новообретённый мир — путешествовать в нём было интересней, чем наяву.

* * *

— Милый? — Ирена пугливо просунула голову в дверь. — Ты не занят? Нам надо поговорить.

Квинт с раздражением захлопнул книгу и посмотрел на жену. Как у всех блондинок, после почти суток истерик, рыданий, заламываний рук и скулежа, лицо Ирены покрывали красные пятна, нос и веки опухли, а глаза все ещё были мокрые.

Чем же она закинулась? После той приснопамятной ночи, когда препарат номер два разбудил в добропорядочной домохозяйке тягу к мазохизму? Синие? Бледно-зелёные? Голубые?

Какой комбинацией таблеток Ирена попыталась заглушить стыд?

— Да, милая, — сказал Квинт терпеливо. — Слушаю тебя.

— Я по поводу твоей работы... — Голос Ирены чуть-чуть дрожал, но голову она держала высоко и смотрела прямо в глаза, не в пол, как раньше. — Я понимаю, что это очень важно. Я понимаю, что ты делаешь что-то очень значимое. Я готова терпеть то, что ты днями и ночами пропадаешь в Интернате, а потом ещё работаешь дома. Хотя когда ты работаешь дома, тебя всё равно что нет. И я готова быть одна, если так надо.

— Я не понимаю, — перебил Квинт. — Чего ты хочешь от меня? Мне угодиться и проводить время с тобой?

— Я хочу, чтобы ты уделял внимание своему ребёнку, а не только чужим! — Ирена повысила голос на мужа. Чуть-чуть, но — впервые на памяти Квинта жена позволила себе такое. Остаточное действие «двойки»? Или попытка спрятать стыд за обвинениями?

— Я же объяснял. Мне надо наблюдать за детьми вне привычной среды обитания. Смогут ли они социализироваться...

— Но не каждый же день! — воскликнула Ирена, мелодраматично всплеснув руками. — Ты опять привёл какого-то интернатовского несчастливца! Подумай о Денисе! Он не может расти в таком окружении!

Квинт поднял брови и вскинул ладонь, прерывая намечающуюся истерику:

— Стоп! Какого ещё несчастливца?

— Он сказал, что его зовут Олежка. Он ждет внизу, в прихожей.

Квинт рывком выдернул себя из кресла (толстый том «Гипоталамо-гипофизарная система человека» упал на пол) и метнулся к двери, грубо оттолкнув жену. Два шага по коридору, бросить взгляд в детскую — Денис сосредоточенно клеит макет, свернуть налево и схватиться за перила, чтобы не упасть.

Олежка стоял внизу, у лестницы — чумазый, лохматый, в изгвазданной серебристой курточке и порванных кедах — и зажимал под мышкой стопку мятых листов.

— Радуйтесь, учитель! — ребёнок шмыгнул носом. — Вы счастливы?

Этого мне только не хватало, подумал Квинт. Эксперимент в очередной раз вышел из-под контроля. И опять — из-за Олежки. Что не так с этим мальчишкой?!

— Конечно, — буркнул Квинт. — И тебе радоваться, брат Олег. Поднимайся, раз пришел. Ты где так вымазался?

— Это не важно, учитель! — Лицо Олежки осветилось искренней радостью. — Я принёс свои рисунки. Я хотел показать их вам.

— Обязательно. Только умойся сначала...

Пока Олежка плескался в ванной, Квинт разложил рисунки на столе. А ведь малец талантлив... Пейзажи Интерната. Грозное небо над морем, предчувствие шторма. Планер среди облаков, падает вниз. Люди в клетке и огромное лицо над ними. Огромный глаз над городом, небоскрёбы дымом втягиваются в зрачок. Ещё один глаз, радужка — радугой. Смерть с рожицей ребёнка и маленькой косой. Распятая на невидимом кресте дева с черными кожистыми крыльями. И портреты — простые грифельные рисунки: директор Витберг с булочкой в руке, безликие солдаты в касках и мокрых плащах, инспектор Феликс в белоснежном комбинезоне...

— Простите, учитель, — с робостью сказал Олежка. — Я сбежал из Интерната. Я не знаю, почему. Просто мне было надо... чтобы вы увидели. Как я рисую.

Квинт сложил руки на груди и оценивающе взглянул на Олежку.

Ребёнок как ребёнок. Одиннадцать лет. Тощий мальчишка с испуганным взглядом огромных карих глаз. Ссадина на колене, царапины на лице.

Мальчишек в Интернате — семьдесят две штуки.

Но этот — особенный.

Этот — убийца.

— Расскажи по порядку, — попросил Квинт.

И пока мальчишка сбивчиво рассказывал, Квинт — слушая вполуха обыденную историю подростковой грызни за лидерство в стае — пытался анализировать, что же не так с этим ребёнком.

Он подумал бы, что создал чудовище, но с момента инцидента с Викентием (Квинт даже в мыслях старался избегать слова «убийство») Олежка не получал Радуги. Даже белых по утрам. Нет, то есть таблетки Олежка глотал исправно, — но Квинт заменил их на разноцветные витамины, плацебо.

Во-первых, ставить эксперименты на ребёнке, способном на убийство, было попросту опасно. Олежку следовало сдать этанологу сразу же, но — тогда Квинта усыпили бы следующим. И жалость тут ни при чем.

А во-вторых, Квинту был нужен контрольный образец, с которым можно сравнивать реакции его подопытных мышек — Алекса, Бориса и Лёни. Мышка с естественным эмоциональным фоном. Учитель Квинт боролся с природой, и Олежка отдан был ей на откуп.

И сейчас Квинту выпал шанс: мало кому из исследователей удаётся побеседовать с белой мышью. Откровенничать с Алексом Квинт не мог, это нарушило бы чистоту эксперимента. У Алекса и так всё продвигалось нормально. А вот Олежка... Почему бы и нет?

— Почему ты пришёл ко мне? — перебил Квинт уныло-скучный монолог Олежки.

— Я... Я подумал... Что вы мне можете. Вы ведь можете мне?

— А почему я должен тебе помогать?

— После того, что я сделал... Для вас. Для нас. Для всех.

Ах, вот оно что! А ведь малолетний убийца не испытывает раскаяния. Он даже гордится содеянным. Однако. Как интересно. Экий он монстрик. Всё-таки естественный гормональный фон — ужасная штука, непредсказуемая и опасная. От Радуги отказываться нельзя. Такие вещи, как эмоции и мироощущение, пускать на самотёк — чревато крупными проблемами, не только несчастьем. Ничего, Квинт создаст таблетку счастья и приструнит природу. Победит. Он уже близок к финишу.

— Ты знаешь, кто я? — спросил Квинт, задумчиво перебирая рисунки.

— Конечно, учитель... — удивился Олежка.

— Ну да, ну да, разумеется. А знаешь, кем я был?

— Нет, учитель.

— Я был инженером. В Институте систем человека. Олежка задохнулся от восторга.

— Я работал над таблеткой счастья, — продолжил Квинт. — Потом я ушёл из Института. И устроился в Интернат. Но работу свою не прекратил. Понимаешь, о чём я?

Олежка кивнул, затаив дыхание. Во взгляде его были обожание и щенячья преданность.

В дверь поскреблись.

— Милый, — позвала Ирена в щёлочку. — К тебе пришли.

— Кто там ещё?! — рывкнул Квинт.

— Санитарный инспектор Феликс...

Олежка пискнул и втянул голову в плечи, пытаясь сжаться в комочек.

— Не выдавайте меня ему, — шёпотом попросил он. — Пожалуйста!

Выдашь тебя, как же! Откуда ты взялся на мою голову, подумал Квинт в тихом бешенстве. Жизнь его сейчас зависела от этого дефективного ребенка, ну и туповатого инспектора. Ай да Квинт. Ай да гений. А судьбу твою решают всякие счастливые идиоты.

— Сиди здесь, — приказал Квинт и крикнул жене: — Я сейчас спущусь!

Инспектор Феликс ожидал в прихожей. Он даже не снял прозрачный дождевик, весь в каплях воды, и от Феликса валил пар. Белый комбинезон промок под мышками, зализанные волосы растрепались.

— Радуйся, брат Квинт! — приветствовал инспектор учителя. — Извини, что беспокою тебя дома. Но у вас в Интернате очередное чрезвычайное происшествие.

— Радуйся, инспектор, — кивнул Квинт, спускаясь по лестнице. — Какое ещё происшествие?

— Побег. Сбежал один ребёнок. Из твоей группы. Олег... — Феликс полез за коробочкой с записочками, но Квинт жестом его остановил:

— Он не сбежал. Это я его забрал.

— Вот как? — удивился Феликс. — А почему нет отметки в журнале на контрольном посту?

Контрольно-пропускные пункты военные установили на всех въездах и выездах из Интерната сразу после гибели Викентия. У Квинта был постоянный пропуск, на Алекса он вчера оформил разовый.

— Не знаю, — пожал плечами Квинт. — Забыл, наверное.

— Как же вас выпустили?

— Да как обычно. Они же там дрыхнут и в карты режутся, солдафоны эти.

— Прискорбно слышать, — нахмурился Феликс. — Я проведу дознание и назначу дисциплинарное взыскание. Конечно, от солдат не приходится многого ожидать — как ни крути, а они — отбросы общества, но службу-то они должны нести исправно...

Праведный гнев санитарного инспектора нацелился на армейских раздолбаев. Квинт мысленно выдохнул.

— Это всё, инспектор Феликс? — уточнил он на всякий случай.

— Да. Да, конечно. Простите за беспокойство. И вот ещё что: завтра у меня отчёт перед директором Витбергом о результатах расследования. Приходите, там будут все педагоги Интерната.

— О результатах? — удивился Квинт. — А разве есть уже результаты? Вы нашли того, кто это сделал?

— В некотором роде, в некотором роде, — загадочно улыбнулся Феликс, оправляя дождевик. — Мир и любовь, брат!

— Мир и любовь, — ошарашенно повторил Квинт.

Когда за инспектором захлопнулась дверь, Олежа — он, оказывается, не усидел в кабинете и подслушивал разговор — спросил:

— Что же теперь будет?

— Я не знаю.

Квинт смотрел прямо перед собой.

* * *

Где я?!

Темно, серо. Тяжёлые шторы. Низкий столик. Я спал на диване, одеяло сползло на пол. Я дома у Квинта, учитель уложил меня в гостиной.

— Радуйся, Олежа! — жена учителя, Ирена, стояла, оказывается, в изголовье, улыбалась, держа на согнутых руках стопку одежды и полотенце. — Ступай умываться, я принесла тебе перемену белья.

Глаза её влажно блеснули. Я хорошо знаю это выражение — оно появляется у буфетчицы Марьяны после бледно-зелёной жалости, и тогда Марьяна прижимает меня головой к мягкой груди, а может и вкусным угостить, и шепчет: «Несчастливец, несчастливец!»

Противно. Раньше я не замечал, насколько противно.

— Поторопись, — сияя улыбкой, Ирена зашла вместе со мной в ванную и воду открыла, будто я не умею, — мы собираемся завтракать, а потом Квинт отвезёт тебя обратно.

Только она это сказала, я вспомнил, и пришлось за стену схватиться, чтобы не упасть. Сегодня инспектор Феликс объявит об итогах расследования. Может быть, мы с учителем доживаем последние часы. Вот тебе и «поторопись»...

Я остался один, и мне совсем поплохело. Так гадко — хоть к эвтанологу иди. Но меня туда и так пошлют, чего спешить?

Никто, кроме Квинта, не мог понять, что со мной происходит. Да и то... Ведь не учитель убил Викентия. Я смотрел на себя в зеркало и повторял: убийца, убийца, убийца. Вот что я должен нарисовать. Вот что я нарисовать уже не успею: антрацит ночи, белые камни дорожки и глянцево-чёрная кровь вокруг пробитой головы труп.

Даже зеркало, из которого я смотрел на себя, покрылось пятнами.

Пришлось зажмуриться и со всех сил ударить себя по щеке. Стало больно, мокро и стыдно. Раз-

ревелся, разнюнился, не решено же ещё ничего. Учитель Квинт что-нибудь придумает и спасёт нас обоих.

Но всё равно завтрак, первый мой нормальный семейный завтрак, прошёл наперекосяк. Мне противна была жалость Ирены, и хорошо ещё, сын учителя (я видел его мельком вчера) успел уйти в школу.

— Спасибо, милая, — учитель, глядя мимо жены, поднялся из-за стола. — Пожалуй, нам пора.

— Но, милый, ты же ничего не скушал! И ребёнок...

— Мы опаздываем. ребёнок и так пропустил завтрак, не хватало ещё опоздать к началу занятий.

— Ладно, — она как-то вся сникла, я даже заёрзал на стуле — неудобно получилось. — Во сколько ты вернёшься, милый? Когда тебя ждать?

— Я. Не. Знаю, — отчетливо и отдельно произнёс учитель Квинт. — Мир и любовь. Олежка, пошли.

И мы пошли, а потом и поехали. По дороге учитель молчал, а я глазел по сторонам — вчера шёл здесь же, но внутри своего мира, и не рассмотрел Приморск.

— Учитель Квинт, — решился я, — а разве сегодня будут занятия, учитель?

Квинт поморщился и включил радио. Сам, наверное, не знает, обсуждать вообще не хочет. Даже самый сильный взрослый бывает слабым и неуверенным. Только учителя Квинта это не делает хуже. Я украдкой любовался им: учителя нужно рисовать тушью, не акварелью. Сейчас губы учителя сжаты в нитку, глаза — щёлочками, он следит за дорогой, мы едем всё быстрее, фоном — размытые дома Приморска. Диктор зачитывает прогноз погоды: штормовое предупреждение, жителей просят не выходить на берег и по возможности сидеть дома.

— Вот так, — перед самыми воротами сказал учитель Квинт. — Что бы там ни случилось, брат Олежка. Что бы этот индюк Феликс ни придумал. Стой на своём: ты ничего не знаешь. Ты никого не трогал. Прорвёмся, брат. Мы же — умные, должны прорваться.

Точно! Как я мог забыть о том, что мы — умные, а они — не очень-то? Что мы — из племени серохвостых, и мы умеем выбираться из лабиринта?

Пришёл рисунок: серохвостый — пилот планера, не того белого убожища, которое доклеивают сейчас мои товарищи, а настоящего, яркого, всеми цветами спектра разрисованного.

Я счастлив. Я сейчас счастлив.

Я улыбнулся учителю, но Квинт не ответил на улыбку, высадил меня у учебного корпуса.

Тут директор Витберг, совсем старый, совсем красноглазый, ещё и с трясущимися руками, и поймал меня, ухватил за плечо, вонюче дыхнул в лицо:

— Радуйся, ребёнок, пойдём-ка со мной.

Я чуть не вырвался, чуть не заорал от страха, но сдержался, потому что учитель Квинт это видел, потому что учитель не вылез и не забрал меня и вообще он же сказал, мы прорвёмся. И я пошёл с директором Витбергом. Седой его хвост мёл по плечам, волосы слиплись от грязи — только вблизи видно, плечи директора ссутулились, и шаркал он. Я подумал немного и сообразил: это из-за грядущего выступления Феликса. Правильно его учитель Квинт «индюком», хоть и совсем непохоже.

— Вот, — директор нашарил в кармане пиджака флакончик, — держи, ребёнок. Пойдёшь и дашь одну таблетку мышам. В воду положишь. Наденешь резиновые перчатки, откроешь флакончик, кинешь таблетку в воду, закроешь флакончик, выкинешь его в ведро и туда же — перчатки. Потом руки с мылом помой. Ты понял, ребёнок?

— Я понял, директор Витберг. А зачем?

— А затем, милый мальчик, что мышей в Интернате быть не должно. Сам бы сделал, — он странно повёл плечами, — но боюсь. Сорваться я боюсь, милый ребёнок. Ступай и радуйся. Не забудь: всё делай в перчатках.

Что это с ним сегодня? Я, конечно, сделал, как велели: пошёл к мышам и постарался радоваться. Получалось неуверенно, хоть я улыбался изо всех сил. Белые будто ждали меня, вперились бусинками глаз, один даже голову наклонил.

— Сейчас дам вам таблетку. — Я вытащил из шкафчика перчатки, учитель Квинт всегда настаивал, чтобы мы с опасными веществами в перчатках работали.

Стоп. Это что же? Это значит, таблетки — опасны?

Открыл флакончик я со всей осторожностью, помахал над ним ладонью, принялся: ничем не пахнет. Пробовать на всякий случай не стал. Сунул одну таблетку в поилку и решил подождать, что будет.

Перчатки я не снял, но флакончик закупорил.

Через минуту один белый, с любопытством шевеля усами и розовым носом, подскочил к поилке, встал на задние лапки, попробовал воду. Обратное, к домику, он брёл, пошатываясь, лапки подгибались, и мыш упал, не дойдя до войлочной норы.

Он дёрнулся несколько раз и затих.

Я сидел, не в силах пошевелиться, не в силах ничего сделать, и смотрел.

По очереди двое остальных попили воды. И тоже затихли. Кажется, они не дышали. А раз не

дышали, значит, они умерли. Я встряхнул флакон: в нём оставалось ещё предостаточно яда.

Это получается, я эвтанологом поработал, да? Убил мышек? Был бы среди них серохвостый — я бы плакал, а так — просто не мог встать и пойти на занятия или в комнату, сил не было. И даже перчатки снять не мог, не то чтобы флакон выкинуть.

Дверь закрипела, я чуть не уронил яд, сунул флакон в карман и содрал перчатки. На пороге стоял Алекс.

— Радуйся, — выдавил я.

— А, несчастливцев. Ты чего тут? Иди давай. Я мышей покормлю.

— А мыши, — я зачем-то поднялся и указал на клетку, как во время представления, — мыши вот. Не надо их кормить.

— Что — вот? — он подвинул меня в сторону. — Что...

Голос Алекса сорвался. Алекс схватился за горло и издал странный звук, будто ему жук туда попал.

— Т-ты? Что с ними? Несчастливцев, что с ними?

Он повернулся ко мне, схватил меня за грудки, я вырвался и кинулся бежать. Я нёсся пустым коридором, Алекс гнался за мной и кричал, он вопил, чтобы я остановился, что я отвечу, что я — убийца, и это подхлестывало меня мчаться всё быстрее и быстрее, я ворвался в комнату, хотел захлопнуть дверь, но Алекс оказался сильнее, он влетел следом, толкнул меня так, что я упал на пол спиной.

Борька и Лёнька стояли надо мной и смотрели.

Алекс распахнул шкафчик, выхватил папку с моими картинками, я дёрнулся, чтобы встать, но Лёнька ногой пихнул меня обратно, а Борька прижал к коврику.

Алекс начал уничтожать картины.

По одному. Он разрывал мои рисунки и кидал мне в лицо.

Они гибли в его руках. Флакон с ядом врезался в бедро. Кажется, я плакал, Алекс плакал точно и повторял:

— Убийца, убийца, убийца!

Будто сам был лучше.

ГЛАВА 3

Для общего собрания педагогов инспектор Феликс выбрал летнюю площадку со сценой-«ракушкой» — место проведения экзамена счастья и праздничных концертов, но к обеду небо затянуло тучами, набрякшими дождем, и даже начало глухо гроыхать вдалеке, и собрание спешно перенесли в крытый актовый зал.

Квинт вошёл последним. В зале, украшенном флагами семи цветов Радуги, было пусто и сыро. Из сотни с лишним мест педагоги и обслуживающий персонал (Феликс собрал действительно всех, вплоть до буфетчицы Марьяны) заняли от силы тридцать. Каждый сидел отдельно, как минимум через три кресла от соседа, и мрачно взирал на сцену.

У самой сцены толклись и гоготали солдаты. Дебиловатые увальни с оружием чувствовали себя не в своей тарелке, и оттого держались ещё более шумно и развязно. Но когда инспектор Феликс поднялся на сцену, замолчали даже они.

— Радуйтесь, братья! — улыбнулся инспектор. — Счастья вам!

— И тебе того же, — очень тихо пробурчал Квинт в ответ.

— Как вам, наверное, известно, — начал инспектор, — в нашем замечательном Приморске существует целая сеть подпольных заведений для удовлетворения извращённых потребностей некоторых несчастливцев.

Сердце Квинта пропустило удар. При чём тут это? Неужели глянцевоый, туповатый инспектор действительно во всём разобрался?! Да нет. Ерунда. Не может быть. Квинт взглянул на Витберга, сидящего в первом ряду. Директор побледнел и съёжился.

— Один такой, с позволения сказать, клуб по интересам был раскрыт в ходе проверок санитарной инспекции в прошлом месяце. Ничего страшного там, конечно, не происходило. Несчастливцы собирались для просмотра непристойных фильмов, так называемых «детективов» — кинолент про убийства и расследования.

По залу прокатился общий вздох и шепоток осуждения. Солдаты заухмылялись, как от скабрёзного анекдота.

— По долгу службы, — продолжал Феликс, — я посмотрел несколько этих, так называемых, картин. Со всем приличествующим отвращением, разумеется. Мог ли я подумать, что вскоре мне предстоит самому расследовать... — инспектор выдержал паузу, — убийство?

Шепоток начал превращаться в гул.

— После всех усилий Института систем человека, после колоссального прорыва в области эндокринологии, десятков лет разработки Радуги — мог ли хоть кто-нибудь в нашем мире предположить, что произойдёт немыслимое?

Из Феликса мог получиться неплохой актер. Он бы вполне вписался в телесериал из тех, что обожала Ирена. По крайней мере, вниманием аудитории он завладел мастерски.

— Нас — санинспекторов — не учили расследовать убийства, — доверительно-сокрушённым тоном пожаловался Феликс. — В нашем мире не бывает убийств. Не бывает расследований. Все эти термины давно стали непристойными. Мы идём к счастью, и наука наша, вместо того, чтобы изобретать способы поимки преступников, созидает счастье, Радуга помогает нам в этом. Быть счастливыми — наша священная обязанность. Весь наш мир и, в частности, ваш Интернат — призван оградить людей от таких чудовищных всплесков агрессии. Но тем не менее, система дала сбой.

Квинт поморщился. Это не система дала сбой. Это эксперимент по улучшению системы свернул не туда. Обычное дело для эксперимента, заурядный случай научного поиска. Викентия жалко? Ну да, жалко. Теоретически. Да ради таблетки счастья сотни таких викентиев прибить можно...

— Я пытался повторить увиденное в кино. Проводил допросы. Дознания. Расследования. Сверял показания. Искал убийцу. А потом понял — я всё делаю не так. Целый месяц я топтался на месте, опрашивал детей и педагогов, чувствуя себя героем непристойного фильма, а ведь решение было у меня под носом... Очевидно, что убил кто-то из детей. Эти дети первоначально ненормальны, они агрессивны. Интернат — фильтр нашего мира. Те, кто не сдадут экзамен счастья, не могут стать членами нашего счастливого общества. Убийство в Интернате означает, что фильтр засорился, перестал справляться. Что делают в таком случае?

Зал замер в напряжённой тишине, и тут до Квинта дошло, что собрался сделать инспектор Феликс. Решение было простое и эффективное. И действительно, лежало на поверхности. От злости Квинт скрипнул зубами.

— Фильтр меняют. Я принял решение об эвтаназии всех воспитанников Интерната. Всех. До единого. У меня нет права на ошибку. Лучше усыпить семьдесят два нормальных ребёнка, чем упустить одного убийцу.

Пальцы Квинта с такой силой сжали подлокотники кресла, что те затрещали. Ещё чуть-чуть, и Квинт раздробил бы их. В ушах гудела кровь, перед глазами мельтешили красные точки. Внутренний зверь рвался на волю, за кровью Феликса.

Феликс говорил ещё что-то — про сохранение рабочих мест, новый набор детей, дополнительные медикаменты, грузовики из крематория для утилизации тел — но Квинт его уже не слушал.

А ведь я был совсем близко, подумал Квинт, стараясь дышать ровно и глубоко. В одном шаге от решения. А сейчас у меня — опять! —

отнимут мою лабораторию. И мышек усыпят. Всех. Алекса, Борька, Лёню. Мышек, которых я почти сделал счастливыми. Даже Олежку отправят по Радуге.

И мне придется всё начинать сначала.

Если хватит сил.

Хватит ли?

Не знаю.

—...процедура начнётся завтра, в три часа пополудни, — вещал со сцены Феликс. — К каждому педагогу будет приставлено трое солдат в целях обеспечения безопасности. Пожалуйста, подойдите ко мне и получите списки. Только не надо толпиться!..

Завтра в три? Квинт поглядел на часы. Сутки. Остались ровно сутки. А что, если...

Квинт вскочил на ноги. Где Витберг? Вот он — бредёт, сломленный, к выходу. Надо догнать. Только спокойно, не бежать ни в коем случае. Уверенный шаг уверенного человека.

У меня всё получится. Я успею, твердил про себя Квинт, пробираясь через толпу у сцены. Спонтанный выброс агрессии превратился в азарт погони. И Квинту это даже понравилось.

Он догнал директора уже на крыльце.

— Душно, — сказал Витберг тусклым голосом и ослабил галстук-бабочку. — Нечем дышать, не правда ли?

С неба упали первые капли дождя.

— Брат Витберг, — Квинт встал рядом. — У меня будет просьба. Надо провести экзамен счастья. Для моей четвёрки. Завтра утром. Экстерном.

— Но зачем? — слабо удивился Витберг, все ещё пришибленный перспективой массовой эвтаназии. — Их же все равно отправят по Радуге. Какой смысл?

— Смысл есть. Если они сдадут экзамен перед неминуемой эвтаназией — значит, мне удалось.

— Удалось — что?

— Создать таблетку счастья, — сказал Квинт, с удовлетворением глядя на вытянувшуюся физиономию Витберга.

* * *

Они покончили с рисунками и даже позволили мне, ползая по полу, собрать обрывки. Ничего я не мог спасти. Ни единой картины. Они всё уничтожили. Из-за каких-то мышей...

Нет. Из-за того, что я — серохвостый. Они пришли в мой мир, они хотят лишить меня счастья, они хотят занять моё место. Я их всех спас — и вот благодарность, теперь они растопчут меня.

Алекс рыдал на койке, грыз подушку и подвывал, Лёнька и Борька — прихвостни — отпаивали его во-

дой, а я собирал обрывки рисунков и всех ненавидел.

Так ненавидел этих белых мышей! Жалких подопытных зверьков — я не такой, я — сам по себе, я не завишу от Радуги, умею быть счастливым и без неё, я рисую в голове личный мир, я — помощник учителя Квинта, а они — мыши. Грызуны. Вроде тех, что лежат сейчас в подсобке и даже не дышат.

Я обязательно нарисую мышек. Мёртвых грызунов, жалких и одиноких. И серохвостого, глядящего на них с другой стороны решётки, дикого, вольного серохвостого.

Всё просто. Я замер на полу, комкая обрывки картин. Всё просто. Я могу рисовать на бумаге. Но рисовал наяву, я рисовал свой мир и жил в нём. Попробуем ещё раз.

Я отнёс мусор в корзину. И покинул вражескую территорию. Я крался пустыми коридорами к центральному костру, у которого дежурят, поддерживая огонь под котлом, женщины. Я был тенью, и никто не заметил меня — все соплеменники сидели сегодня по своим шатрам...

Весь день до вечера я скрывался в джунглях, пропустив и обед, и ужин. Кажется, это называлось постом, и предки делали так перед особо важным делом. После полудня пошёл было дождь, но скоро прекратился, и тучи опустились ещё ниже, ветер стих, будто набираясь сил. Как я.

Марьяна читала газету за столиком. Кружевная шапочка её превратилась в ритуальный убор из перьев чайки. Заметив меня, Марьяна шмыгнула носом:

— Ох, несчастливцев... Несчастюшко мое! Что тебе, детонька, покушать? Ужин-то праздничный пропустил, детонька.

Липкая жалость обволокла меня, но стойкое сердце разведчика не дрогнуло, и я попросил:

— Сока, Тетьмарьян, если можно, для товарищей...

— Иди сюда, деточка ты моя несчастливая, — Марьяна по обыкновению привлекла меня к пухлой груди, — иди сюда, лапонька моя. Ужин-то праздничный... Праздничный!

Она разрыдалась самозабвенно, не после светло-зелёной, после тёмно-серой. Я позволил слабой женщине проплакаться, не интересуясь причинами. Выдержка сыграла мне на руку. Когда я шёл обратно с графином апельсинового сока, мне пришлось в голову: а неплохо было бы в этом мире бродить не одному, пригласить других, чтобы друг тоже видел вместо парка — джунгли, а вместо жилого корпуса — шатры нашего племени...

Тишина охватила Интернат.

И пока я спешил от главного костра к своему шатру, грянул гром.

Налетел ветер, рванул деревья, закричала в

небе чайка, фотографической вспышкой ударила молния, взвыло далёкое море. Я побежал.

Всё сильнее становились порывы, ветер подталкивал меня в спину. И обернулся ураганом, когда я вбежал на крыльцо. Я торжествующе взметнул в небо кулак. Второй рукой я бережно прижимал к груди добычу — бурдюк с пьяным соком пальмы.

Перед дверью я остановился, чтобы немного поколдовать над соком.

В моём шатре ещё не спали. Алекс по-прежнему лежал на шкуре, но теперь — лицом вверх. Борька сидел на подоконнике и смотрел в окно. Лёнька бегал вокруг стола. Свет мигнул. Я вынырнул из своего мира, поставил графин на стол и проблеял:

— Ребят... Тут соку. Попить. Я налью?

— Налей, — разрешил Алекс без выражения.

Наверняка он уже и думать забыл про мышей, но разыгрывал страдание. А может быть, учитель накачал всех таблетками, эксперимент-то продолжался. Я поднёс Алексу сок, делая вид, что Алекс — вождь, а я на самом деле провинился. Алекс принял стакан слабеющей рукой (а может, зря я решил, что он не уживётся в моем мире? Нет, не зря, нет, он не смог бы, он бы всё там разнёс и изувечил). Лёнька с Борькой подтянулись к столу и с удовольствием набулькали себе — как же, в неурочный час, редкость такая — апельсиновый сок.

Омытый слезами Марьяны. Жалкой и ничтожной.

А я сел рисовать. Ничего не получалось — рука дрожала. Первым за пузо схватился Лёнька — он жадный, больше всех вылакал. Взвыл дурниной, покрылся потом, морда залоснилась. Борька кинулся к нему — и замер, ощупывая живот. Алекс скрючился на кровати. Свет мигнул ещё раз — и погас.

Ураган стenal за окном, стучались в стекло ветви яблони, и, высвечивая самолет на витраже, били молнии, одна за другой.

Я смотрел на планер — его уносило всё дальше в небо — и слушал гром.

Они ползали и плакали — недолго. Лёнька добрёл до моей постели. Борька остался на ковре. Алекс свалился с кровати со звуком спелой абрикосины, упавшей с ветви на землю.

Я попытался нырнуть в свой мир, но мне было слишком страшно. Хорошо хоть — недолго. Скоро они замолчали, и я остался наедине с бурей.

А когда всё кончилось и дали свет, тщательно вымыл кувшин и вернулся за стол. Планер — уродливо белый, обычный, смотрел на меня, и никто не в силах был мне помешать сдать экзамен счастья.

Ведь я мог изменить целый мир. Я мог сотворить его. Нарисовать заново.

И я был счастлив.

ЭПИЛОГ

Инспектор Феликс перетасовал свои записочки и разложил их перед собой замысловатым пасьянсом.

— Ещё буквально несколько вопросов, брат Квинт, — извиняющимся тоном произнес он. — Для, так сказать, получения единой картины событий.

Квинт кивнул. Ему было всё равно.

— Значит, эксперимент, — уточнил Феликс, сверяясь с бумажками. — По получению так называемых «таблеток счастья»?

— Да, — сказал Квинт тускло.

Таблетка счастья... Хорошее название. Ёмкое.

— Задачей таблетки был контроль уровня агрессии и перенаправление оной, так? А целью эксперимента было вернуть себе должность в Институте систем человека? — Феликс опять переложил записки, теперь уже в другом порядке.

Он вообще очень любил порядок. Всё раскладывать по полочкам. Вот и Квинта он раскладывал на простейшие составляющие. Цель и задача. Цель — карьера, задача — таблетка счастья. Как у него всё славно получалось. Просто, а главное — доступно для понимания.

Не дождавшись ответа Квинта, Феликс продолжил:

— И эксперимент провалился, так?

Детей упаковали в чёрные пластиковые мешки на молниях. Армейское снаряжение, так и называется: «мешок для трупа». Мешки были рассчитаны на взрослых, и когда Алекса, Борю и Лёню грузили на каталки, мешки казались полупустыми. Санитары легко забросили их в кузов фургона крематория и захлопнули дверцы.

А Олежка стоял и смотрел. Лицо его было чистым и светлым, как и положено счастливому ребёнку.

Счастливому от природы.

Квинт проиграл.

— Частично провалился.

— Угу, — промычал Феликс. — То есть тот факт, что Олег выглядит вполне счастливым и наверняка сдаст экзамен — есть следствие твоего эксперимента?

Квинт криво усмехнулся.

— Можно и так сказать...

Олежка счастлив вопреки всему. Наперекор воле учителя и общества. Без Радуги. Сам по себе. То, чего не смог достичь Квинт, воплотилось в убийце.

— А Алексея, Бориса и Леонида ты собственноручно усыпил, так как они не оправдали твоих ожиданий? Тебе было легко это сделать, ведь до этого ты убил мешавшего тебе Викентия. Я думал на детей, предположить не мог, что ты экспериментируешь с Радугой. Если бы хоть намёк — я бы про-

верил у всех педагогов и воспитанников кровь. И смертей бы больше не было. Кроме твоей.

— Да, — согласился Квинт. — Так всё и было. Всё так. Ты прав.

— Выходит, ты нашёл таблетку счастья, но подействовала она не на всех? — резюмировал инспектор. — Только на Олежку?

Квинт вздохнул.

— Это уже неважно, — заявил он. — Мы закончили?

— Осталось чуть-чуть. Ты проверял таблетку счастья на ком-то ещё? Например, на себе? Тебя она сделала счастливым?

А ведь и вправду, молча удивился Квинт. Эта таблетка сделала меня счастливым — пускай и на очень короткий срок. Хотя я её и никогда не принимал.

Я был счастлив, пока искал её. Я был бы счастлив, если бы нашёл. Но я не смог.

— Это уже не имеет никакого значения. Эксперимент провалился. Опыт не удался.

Феликс покивал задумчиво и что-то черкнул на бумажке.

— Да-да, конечно, понимаю... — Феликс не смог сдержать гримасу отвращения, хотя изо всех сил старался сохранить невозмутимость. — Ну что ж, брат Квинт, мне всё ясно.

Мне тоже, подумал Квинт. Но уже слишком поздно. И, наверное, так будет лучше.

— Ты готов, брат? — спросил инспектор. — Тогда пойдём.

Феликс проводил дознание в своём кабинете. До медблока оттуда было минут пять ходьбы. Выйдя из душного, провонявшего страхом, стыдом и жалостью кабинета на улицу, Квинт вдохнул полной грудью одуряюще-свежий воздух. Всё вокруг было чистое, блестящее, омытое дождём, и в изумрудной зелени сверкали капельки воды в тёплых лучах солнца. Высоко-высоко в прозрачном небе парил яркий, красочный, разноцветный планер — это тренировался, готовился сдать экзамен Олежка.

День был прекрасен. Умирать не хотелось.

Но было уже поздно. Свой экзамен Квинт провалил.

У дверей медблока их ждали.

Коллега Витберг, с блаженной улыбочкой на лице. Ну ещё бы, гроза миновала, Интернат уцелел, паршивую овцу изловили и ведут на бойню.

Экс-коллега Арсений — представитель Института, прячет облегчение под маской сочувствия. Не бойся, про тебя Феликс ничего не знает.

Дражайшая супруга... проклятая идиотка, притащила сюда Дениса! В глазах Ирены слё-

зы, губы дрожат, руки судорожно стискивают плечи сына. Денис, не понимая, что происходит, робко улыбается и бессмысленно таращит пустые глаза.

Олежка не пришёл, у него есть дела поважнее.

Гадёныш. А впрочем, зачем ему?.. Он счастлив теперь.

И в этом нет моей заслуги, подумал Квинт. Вот что обидно. Я ведь старался.

Феликс и Квинт молча прошли мимо провожающих, поднялись на второй этаж. Инспектор, звеня ключами, отпер кабинет эвтанолога, пропустил Квинта вперёд. Дежурного врача сегодня не было, Витберг после отмены маскового усыпления щедрой рукой раздал всему персоналу отгулы. Но санитарные инспектора проходили эвтанологическую подготовку и в экстренных случаях могли провести процедуру самостоятельно.

Сегодня как раз был такой случай.

Квинт снял пиджак, закатал рукав рубашки, лёг на кушетку. Дерматиновая подушка холодила бритый затылок. Тело начало мелко-мелко дрожать.

— Брат Виктор Квинт, — начал Феликс, наполняя шприц, — ответь на мой вопрос.

— Да, инспектор, — сказал Квинт, стараясь унять дрожь.

— Ты счастлив?

Квинт глубоко вдохнул, досчитал до пяти, медленно выдохнул и сказал:

— Нет.

Игла без боли вошла в вену. И наступила темнота.

* * *

На флагштоках трепещут семь вымпелов — семь цветов единого пути к счастью — Радуги.

Крики чаек и шум прибоя, косые лучи повесенному тёплого солнца, неистово синее небо, пронзённое верхушками корабельных сосен, запахи хвои и водорослей, шелест кустов жасмина, лёгкий ветерок. Ровные ряды детских голов — ученики выстроились на плацу перед белоснежным учебным корпусом.

Голов шестьдесят девять. Дети — лохматые и стриженные, смоляно-чёрные, огненно-рыжие, выгоревшие на солнце до соломенной белизны, лопухие, конопатые, курносые, остроглазые — такие разные и такие одинаковые в восторженном внимании к происходящему.

Воспитанники Интерната, облачённые в парадную форму — серебристые курточки на

молниях, тёмно-синие шорты и кожаные сандалии — замерли на плацу, спиной к морю, лицом к трибунам и смотрят на учителей жадно, с трепетом.

Наставники, собравшись у флагштоков,зирают на директора Витберга с подобающим величием момента почтением.

Директор вещает.

Голос его подрагивает, глаза слезятся, а руки беспокойно оглаживают белый комбинезон. Директор выглядит выгоревшим на солнце, выжженным солью морской, как кусок плавника, выброшенный на берег ураганом. Дети этого не замечают. Для них наступил самый важный, самый волнующий день, и нет детям дела до того, что их — на три человека меньше, чем должно быть. И что на одного меньше стало учителей.

— Счастливое общество, — говорит Исидор Витберг, — состоит из счастливых людей. Сегодня каждый из вас докажет, что может влиться в наши ряды — ряды счастливых и свободных личностей. Сегодня — экзамен Счастья, и я верю, друзья, что вы выдержите его. Много испытаний выпало на долю нашего Интерната в последние месяцы, но мы прошли их с честью. И мы — счастливы. Радуйтесь! Мир и любовь!

— Мир и любовь! — голоса четвероклассников ещё не начали ломаться, они по-детски чисты.

Громче всех кричит большеглазый, маленький для своего возраста мальчишка в первом ряду. Он стоит наособицу. Рядом с ним нет товарищей. В руках у мальчика — яркий, кричащий о стремлении в небо планер.

Слово берёт инспектор Феликс — дети привыкли к нему и не боятся. Феликс улыбается, он всегда улыбается. Только в тот день, когда погибли дети из комнаты Квинта, он был серьёзен. Впрочем, выражение лица ничего не значит для инспектора: он счастлив всегда и искренне.

Директор Витберг может только позавидовать такому качеству. Его счастье, и раньше не полное, сейчас подтачивается изнутри неудовлетворённостью, одиночеством и страхом. Исидор — сильный человек, он признался себе: да, пришла осторожная старость, он вздрагивает от каждого шороха, и по ночам обступают Витберга беспокойные тени его учеников и его преемника. Квинт смотрит, насупившись, стальные глаза его темны, губы Квинта шевелятся, слов не разобрать, но Витберг знает: Квинт презирает его. За что ты убил детей? — спрашивает директор. Учитель отворачивается и уходит. Не раздавленный, сломленный, каким был он у кабинета эвтанолога, а будто понявший что-то, недоступное

Витбергу. Исидор знает, что ещё полгода, может быть, год, и он последует за Квинтом по Радуге.

Инспектор Феликс подбадривает детей и призывает их к счастью.

Олежка, последний мальчик из комнаты Квинта, поднимается на открытую сцену. Несчастливцев, первый кандидат на визит к эвтанологу, за последний месяц он преобразился. Директор Витберг лично занимался с мальчиком, но так и не понял, в чём дело. Словно умерший Квинт оставил в паренёчке частицу себя. Лучшую, счастливую частицу.

— Радуйтесь! — звонко вскрикивает мальчишка.

Он интересуется инспектора Феликса. В Олежке кроется разгадка убийств — не формальная, закрывшая дознание, не признание несчастного Виктора Квинта, а потаённая, глубокая. В Олежке — смысл, метафизика произошедшего. Феликс осознаёт это, но вспороть нарыв тайны не решается. Хлынувший гной может затопить не только Интернат и самого инспектора, но и Приморск, и весь мир. Поэтому Феликс не трогает Олежку, а лишь наблюдает за ним.

Мальчик счастлив. Можно не проводить экзамен, и так видно: потерявший обожаемого учителя и товарищей при трагических, надломивших даже директора и проехавшихся катком по Феликсу обстоятельствах ребёнок счастлив. Так искренне, так сильно, что хочется забиться в тёмный угол от сияния детской улыбки, палящей подобно летнему солнцу.

В самый тёмный угол своей души — да только нет в душе Феликса тенистых парков и мрачных джунглей, всё ярко и сверкает глянцем летнего дня. Феликс живёт в реальном мире, игра ему недоступна.

Феликс выбрасывает из головы мистику и любит Олежкой, запускающим планер.

В небо стремится яркая птица, небывалая птица, гостья из дальних стран, ещё не открытых для счастья. Птица вольная, дарующая надежду, зовущая за собой. А на спине птицы сидит белая мышка с серым хвостом, наряженная в костюм лётчика начала прошлого века.

Вздых восхищения — планер закладывает вираж над головами собравшихся. Пальцы Олежки танцуют на рычажках пульта, легчайшими прикосновениями управляя моделью, но даже инспектор Феликс, даже директор Витберг и буфетчица Марьяна не могут отделаться от мысли, что птица летит сама по себе и уносит мышку в мир ребячьих снов, полузабытых за ненадобностью.

Олежка счастлив. Он не принимает Радугу, но, кажется, никто не знает об этом. Обманывать взрослых так просто, если ты счастлив, — им этого достаточно.

Взрослые не знают о твоём мире, они существуют параллельно и не трогают тебя, только восхищаются твоими рисунками, такими светлыми, трогательными. Взрослые вглядываются в твои картины и не могут понять, что же, что цепляет?

Они не видят теней. Не хотят видеть — и не видят. Они не видят диких зверей в пятнающем листу солнце. Они не умеют играть и отучили от игры своих детей. Они утратили способность к творчеству, осклопив себя.

Никто не знает, что серохвостого мыша на планере зовут Квинт.

Директор Витберг счастлив. Инспектор Феликс счастлив. Счастлива буфетчица Марьяна.

Счастлива Ирена Квинт, в эту минуту наблюдающая за своим сыном, сдающим экзамен. Денис Квинт тоже счастлив, он вместе с мамой выпил жёлтую рану утром. Про отца Денис не вспоминает, а Ирена вспоминает раз в неделю, когда неосознанная тоска гонит женщину в ванную, Ирена берёт бритву покойного мужа и легонько, чтобы не осталось следа, только выступило несколько крохотных рубинов крови, проводит лезвием по предплечью. Потом Ирена глотает две тёмно-синих и вволю плачет. Утром от слёз не остаётся и следа.

Мир — плоский, маленький, яркий и понятный, как обкатанный морем сердолик.

Планер — высоко в небе. Олежка заливисто смеётся.

Директор Витберг треплет его по щеке:

— Ты сдал экзамен, Олежка. Радуйся!

— Мир и любовь! — заключает сияющий инспектор Феликс.

Санкт-Петербург — Партемит — Житомир —
Москва — Севастополь

8.05 — 29.06.2012





Марина Анашкевич

Москва

Россия

ПЕСНЬ ВСЕЛЁННОЙ

Я — МА! МАТРИ САМА!
А МАТЬ обидеть — что умереть,
поэтому ЯМА — смерть...
МАДОННЫ ВСЕЛЁННА бездонна...
МАТРЁНА-МАТРОНА на троне
калёном, ядрёном
в сонме своих детей:
дочерей, сыновей...
Ей-ей-ей-ей!!!

Я — ПРАМАТЕЙА,
огнь времён
прошлых и будущих
изпокон...
МАТЕР МАТУТА,
у МУТТЕР
звёзды там и тут
на Древе растут
без счёта, вольготно!
Я — МАРТА, Я — МАЙКА,
Я — МАЛА-НАНАЙКА,
АЛАЯ МА, АЛМА-АТА,
МАМАЕВЫ горы-высоты,
МАТКИ медовые соты...
Я — МАТА ХАРА, ТА-МАРА,
АЛАЯ ТАРА, АЛТАРЬ!
МАКОВ завет, МАКОШИ цвет!
МААТ с пёрышком...
Скрипка АМАТИ стонущая...
Жар ЗАРАСВАТИ — амрита
скрыта в МАТРЁЖКИНОЙ печи...
Десятирится, курится

Марина Александровна Анашкевич родилась в Москве. В 1997 г. окончила Литературный институт им. А.М. Горького (семинар прозы Михаила Лобанова). Член Союза российских писателей с 1999 г.

Известность писательнице принесла повесть «Пораженная Венера», опубликованная в 1999 г. в журнале «Постскриптум». В том же году повесть была выдвинута критиком М.Ремизовой на премию «Антибукер» и вошла в шорт-лист по номинации «Братья Карамазовы». Критик П.Басинский выдвинул «Пораженную Венеру» на премию им. Аполлона Григорьева среди двадцати лучших прозаических произведений за 1999 г. Рассказ «Другая» вошел в шорт-лист Международной Волошинской премии (2011 г., номинация журнала «Октябрь»).

Автор двенадцати книг. Имеет Благодарность от Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры.

СУТРА С УТРА

запечно, млечно, вечно...
Я — ГА! МАСТЕРИЦА,
ЯГОДА БАБА, ЖАР-ПТИЦА
алая, ярая, жизни сок!
От смерти на волосок
тот, кто ЁГУ безногой
змеёю зовёт.
Чай: не змея,
ЯГА МА — ЯГОДА
свето-тела
зрела, рдела, спела...
Без жала тебя рожала МА...
Со мной ОЖИВЁШЬ,
вовек не умрёшь!

СУТРА С УТРА

Лозой волоокой,
егозой вьюсь,
стрекозой колкой
верчусь...
Мне в себе
жарко и хладко,
солono-сладко,
дремотно-щекотно,
плотно-вольготно...
Взрослая
молниеносную
снять стяжаю,
в клубь вострую
сплетаю,
росой окропляю
из себя...
Толкаю вон

ал звон,
бел огонь
мягкими вздохами,
томными охами...
Сквозь слёзы шепчу,
что лечу,
сквозь смех кричу
не горлом —
кручу как хочу волны
на дне,
в глубине смольной,
при этом светом
невольнo
из-ливаясь,
на-ливаясь
мёд-цветом радуг,—
Ах!
запах мой так сладок...
Сама лоза
не пьёт вина...
Другие пили
да нахваливали,
ягоды спелы
раздавливали,
утаивали
в кувшине вино
от него самого...
Полною чашей быть
и губ не смочить?
как же жить,
дальше вить,
голубить
всех и вся,
кроме себя?

В ответ тогда
(для одних — беда,
но не для всех, вот смех!)
из ковша
вышла звезда...
Взвилась кобылицей —
копытца,
как когти тигрицы,
огонь к порогу
снизу доверху!

И стала лоза
горюч-слеза,
радость,
мёд-младость...
Ха!

Пришла пора
отведать вина
сполна
мне самой, одной
вприкуску
с хрусткой звездой,
на лестнице сидя
высоко,
ногою покачивая
легко,
смотря далеко
и на всё иначе,
храня глубоко
винное семечко
до времечка,
глубже и паче,
чем прежде...



ЭВОЭ!

Вергилий прощается с Данте на вершине горы, где посреди леса текут из одного и того же источника, но направляясь в разные стороны, две реки. Одна течёт налево: это — Лета, река забвения; направо — Эвноя, запечатлевающая всё навсегда в душе человека. Данте купают в Эвное, откуда он возвращается, «как новое растение, которое только что переменило свою листву», готовый вознестись к звёздам вместе с Беатриче.

МАЧТОЮ ВВЫСЬ

мечта росла...
Вокруг — паруса
бело-алые,
бриз...
Если бы... нет, не волна —
ВОЙНА!
Где теперь верх, а где —
низ?..
У каравеллы
мачта
вспыхнула спичкой!
Стручок обгорелый
вместо мечты...
Где теперь я?... и где ты?..
Мечта была —
сплыла
ломкою льдинкой,
ваза хрустальная
с вереском
вдребезги!
Витали пылинки
с горчинкою...
Жива и мертва
стояла.
Знала:

БЕЛО-АЛОЕ
ПЕРЕПЛАВЛЕНО
БУДЕТ ВНОВЕ,
МОЛОКО С КРОВЬЮ
не в вазе льдистой —
В КРИНКЕ ЧИСТОЙ.
Сын вдовый
вернётся,
вдоволь напьётся,
вымолвит:
Вновь
в молоке кровь,
будто солнце в ночи!
Нарублю дров
для твоей печи,
огонь разожду,
пока ты на речке
моешь волосы цвета ржи...
ТАМ теперь смерть, а ТУТ — жизнь.
Ничего не отвечу,
с улыбкой беспечной
сплету косицы
в венок,
пущу по водице
в поток Эвнوي
с Мечтою новой...



Москва
Россия

**Дмитрий Александрович
Конаныхин**

Правнук Георгиевского кавалера, белых и красных казаков, внук моряков и плотников, сын инженеров Космической гонки, Дмитрий Александрович Конаныхин родился в Советском Союзе, научился читать в три года, бросил курить в семь лет, выучился пахать, косить, молотить, рыбачить, укладывать асфальт и влюбляться, мечтал вслед за родителями создавать новые старты Байконура, работал для космических программ России, Индии и «Морского старта», по ночам разгружал вагоны и опять много учился, строил и ломал карьеры, объездил полмира, много слушал, ещё больше запоминал, и всё для того, чтобы писать о людях честных дел и подвига, о настоящих людях нашей замечательной Родины.

Дмитрий Конаныхин

МЫ ВСЕ ПОЙДЁМ С ВАМИ ВОЕВАТЬ!

1.

«**М**ы все пой-дём с ва-ми во-е-вать! От! Нас! Пой-дёт! Зо-ся-ге-рой!» — Шеренга второго «Б», в которой, крепко сцепившись руками, стояла Зося Добровская, крикнула дружно и уверенно. «От нас пойдёт Зося-герой» — эти слова ещё мячиками прыгали по сухим листьям под высокими каштанами у старой Топоровской школы, а Зося уже начала разбег. Сзади цепь игроков немедленно восстановила свою прочную связь. Её соседи, Славка Адаменко и Лиля Зарудько, уже стояли, крепко сжав ладони друг друга.

Зося никак не уважала банты. И как ни старалась мама Тася, не могла соорудить на рыжей голове своей дочи сколь-нибудь приличное подобие причёски хорошей девочки. Чёлка летела в глаза, сзади весело подпрыгивали косички, щёки круглились, веснушки чуть ли не дымились, кулаки ходили, как поршни паровоза, глаза блестели зелено, ноги плотно били землю — Зося шла в атаку. Это было забавно — она всегда играла с мальчишками, поэтому и замашки были мальчишечьи. Она наконец выбрала цель — слабое место в цепи «ашек», закусил губу, в азарте шмыгнула носом, резко изменила направление бега и пошла на прорыв — не на девчонок, которые плотно сблизилась плечами, а на мальчишек, растянувших цепь.

Шаг, второй, третий!

«Кха!» — только и смогла крикнуть Зося, с разгону напоровшись на два сцепленных кулака, ударивших её в солнечное сплетение. Свет куда-то выключился, осталось только недоумение — её первый раз в жизни ударили. Да как жестоко! «Ашки» Федька Зозуля и Димка Герасименко не ожидали, что задавака Добровская будет рвать именно их сцепку, испугались проигрыша, махнули сцепленными руками назад, вперёд — и чётко вмазали рыжей в дыхалку.

Зося стояла на четвереньках, изо рта текла слюна, потом она медленно повалилась на бок, поджимая ноги.

«Кха. Кха... Х-х-ха...» — пыталась она схватить воздух, но почему-то не получалось. Ей не было страшно, скорее обидно. Очень обидно. «Это не по правилам! Это нечестно! Нечестно!»

Наконец она смогла хоть как-то потянуть в себя тот недостающий пузырь воздуха, маленький, чахлый, наполненный пылью школьного двора и всеми неуловимыми запахами полноцветной осени, и перевернулась на спину. Она мало обращала внимание на грохот ног вокруг — над ней мелькали тени — второй «Б», и мальчишки, и девчонки, с диким визгом летел в драку. Девочки-«ашки» сбились в кучку на правом фланге и визжали от испуга не менее громко, «бэшки» бросались портфелями, орали, верещали, а Зозуля и Герасименко изо всех сил бежали по двору, стараясь скрыться от справедливой расправы. Остальные мальчишки прыгали через забор палисадника, по цветам, которые посадила биологичка Маргарита

Абрамовна, или пытались как-то отмахаться от наседавших «бэшек», но напрасно — в драке девочки были даже опаснее — они были крупнее, от злости утратили девчачьи мягкость и тихость и вцеплялись в чубы, в уши, хватили за шеи, лупили кулаками — страх Божий попасть под кулак рассерженной украинской девочке, выросшей на бабушкиной сметане и молоке!

В одночасье прелестный, вылизанный, чистенький дворик Топоровской средней школы №1 стал местом самого вопиющего безобразия. Наконец, волна ора достигла такой высоты, что переплеснула крышу флигеля, проскакала мимо выгоревшего траурного портрета Генералиссимуса и докатилась до окон директорской. Из одного высунулась перекособоченная фигура Зиновия Аркадьевича; директор прислушался, нырнул внутрь. Через минуту он уже бежал по ярко освещённому слепополуденным солнцем двору, смешно прихрамывая на плохо гнущейся ноге, сзади двумя колобками катились завуч Лидия Сергеевна Лозовая и сторожиха баба Груша Бульбенко.

Бурные драки редко бывают длинными, да и нет в сельских детях жестокости — просто врезали дуракам, да и хватит. А как услышали «ашки» и «бэшки» поскрипывающий дискант, так и вовсе перестали шуметь — даже убежать не помыслили — так велик был авторитет директора, что и в голову им прийти не могло позорное бегство.

— Эт-то что такое, позвольте спросить?! Какие классы? Ты откуда? — Зиновий Аркадьевич крутился на прямой ноге, не замечая, что в запале вертит над головой своей знаменитой сучковатой палкой.

— Втолой «бэ» — пискнул кто-то.

— Второй? «Бэ»? — Маленькие глаза директора взлетели к безмятежному небу, затем укололи завуча, которая, словно паровик, шумела и пытела рядом, растёгивая кофты и обмахиваясь платком.

— Це класс Тази нашей Терентьевны, — продемонстрировала свою незаменимость баба Груша. — Це йонный класс. (Почему «йонный» — она не смогла бы сказать, само вырвалось, для пущей серьёзности фигуры речи.)

— Йонный? Почему «йонный»? — Сбился с мысли Луценко. — При чем тут?.. А-а-а! «Её» класс? Да?

— Точно. Йонный класс, — упрямо воткнула баба Груша. — Йонный.

Зиновий Аркадьевич Луценко, до паранойи щепетильный в вопросах чистоты речи, от этого «йонный» впал в натуральный ступор и даже

забыл о происходящем вокруг. Он обмяк, взялся за виски длинными пальцами и больно стукнул себя ручкой палки, что-то пробормотал себе под нос, явно считая вслух.

— Так, Агриппина Марковна, ступайте. Мы разберёмся.

Баба Груша хотела досмотреть, что творилось, но не смела послушаться. Своенравно вздёвнув одно-времененно носом, щеками, плечами, колоссальными грудями и задом, она пошла назад. Красноречивее её спины в ту секунду ничего не было. «Ишь ты, Рипина Марковна, надо же, ишь ты», — донеслось её тщательно выверенное бурчание.

Директор опять взялся за виски.

— Так. Молодые люди. Живо собрали свои вещи и... — он на секунду задумался, от чего второклашки покрылись инеем. — И марш по домам!

Второй раз повторять не надо было. Как стайка всполошённых воробьев, драчуны и драчуни брызнули во все стороны. А под большим каштаном сидела рыжая Зоя Добровская и угрюмо перебирала каштаны.

— Добровская? Зоя? Ты почему же такая перепачканная? — Лидия Сергеевна говорила поставленным голосом идеального педагога идеальной школы идеальной страны. — Ты же дочка учительницы. И должна бы понимать, что важно не только вести себя хорошо в школе, но и после школы...

Лидия Сергеевна набрала воздуха и закатила столь высокопарную и многословную тираду, что Зиновий Аркадьевича слегка шатнуло, как от бабыгрушиного «йонный».

Под ливнем бесконечной проповеди завучихи Зоя стояла, чуть опустив голову, и терпела. Нет-нет, она была очень послушной девочкой, но папы-мамин характер давал себя знать. Она подняла на секунду голову, глянула на директора. Дважды ошеломлённый Зиновий Аркадьевич, подобно балетману, отмеряющему тридцать два фуэте примы, слегка шевеля губами, отмечал все сложносочинённые, сложноподчинённые предложения и прочие виньетки речи Лидии Сергеевны, давно уже утерав нить в лабиринте лозунгов, нравоучений, да и, что греха таить, ловкой саморекламы предприимчивой завучихи, славившейся безупречными речами на всевозможных собраниях и конференциях. К несчастью Лидии Сергеевны, коллектив топоровской школы был тогда ещё довольно молод и по-послевоенному нелицеприятен в оценках. Поэтому её речи и призывы пока попадали мимо цели. Её время наступит чуть позже, да и она сама в том не сомневалась. Ещё несколько минут будущая орденоносица испытыва-

ла терпение директора и растерявшейся Зоси — девочка и не знала, насколько далеко она зашла в недостаточном старании. Между тем, директор уже закипал, как чайник, и натурально побулькивал, постукивая палкой по земле.

Но Лидия Сергеевна избежала ненужного выяснения отношений, потому что из-за флигеля раздался зычный зов бабы Груши.

— Ой, Зиновию Аркадьевичу! Вас до телефону! Чуете? Бжигит швидше-но! З Києву звонять!

Директор что-то фыркнул и, не хуже иного рысака, уковылял от надоедливой дамы. Лидия Сергеевна, набравшая в грудь воздуха для очередной «психической атаки», осеклась на полуслове и посмотрела ему вслед, выпуская воздух, как проколота шина. Потом глянула на рыжую девочку, жеманно поджала губы и пошла в школу лёгкой, как она думала, походкой.

Зося осталась одна. Можно было бы, конечно, дожидаться маму, но она вспомнила об очередном педсовете, а ещё два часа торчать в школе ей не хотелось.

Обычно Зосечка оставалась рядом с мамой. Мама проверяла тетради начальных классов, списывала журналы своим круглым почерком. Зося же садилась на правую «камчатку» (оттуда хорошо было видно парк) и делала уроки.

Вообще, в школе удавалось писать гораздо лучше — обстановка помогала, да и все наклонны с нажимами удавались лучше. Зося здорово освоила нажимы — особенно она любила заглавные буквы. И тоненькая ниточка полочки «У» в удивительном повороте утолщалась горделивой широкой полоской, утончавшейся в хвостике. «Ф» вообще получалась образцово. Все эти тонкие петельки и утолщённые вертикали — сплетались в удивительное кружево. Да и нельзя сказать, что Зося очень уж каллиграфила, просто это, видимо, было семейное. И папа Вася любил иногда такую виньетку закрутить в подписи, что и старорежимному писарю не под силу было бы.

Второй «Б» вообще был замечательный класс, Зося всегда это знала. Она, конечно, путалась иногда, но почти не называла маму «мамой» и всё время старалась говорить правильно: «Таисия Терентьевна». И никаких дураков — Зосе доставалось всегда самое сложное задание, самый заковыристый вариант контрольной. А на открытых уроках мама Тася гоняла её так, что даже «камчатка» сопела и возмущённо дзенькала пёрышками, выражая протест.

Но в тот день Зося не хотела оставаться дома. Было у неё одно дело. Ещё накануне её позвали мальчишки сыграть на школьном дворе. Поэто-

му Зося добежала до дома, быстро переоделась, на ходу укусила кусок хлеба, запила молоком, нацарапала на листочке: «Мамоцка я в школе буду с Игорем грать. За чтение «5» и за рисование «5+» за Мурза» и побежала обратно в школу.

Игру пропустить было нельзя.

2.

Отполированная бита ударила по острому носу «чижика», и деревянный брусок с шуршанием взвился вверх. Он так быстро вращался, что был похож на маленький пропеллер. Игорёк Кучинский, худенький мальчик с чубчиком на стриженной почти «под ноль» голове, размахнулся, бита прогудела сквозь упругий воздух и... ничего. Мимо!

Зося закусила губу. Право удара переходило к команде соперников с улицы Щорса. Она держала в руках палку, которую сама сделала из папиной удочки, ну, тайком, конечно, сделала. Это была самая длинная папина удочка, с самым толстым и удобным комельком. Но надо же было играть! Зося надеялась, что Васька простит её страшный, жуткий проступок. Испортить папкину удочку! Но ведь игра...

...Она вчера весь сарай перерыла, уж и ручки для сапок пыталась приспособить, но, как назло, все сапки сидели на ручках отлично — надо было сломать инструмент, а это уже было слишком. Ну не со штакетиной же идти? Сломаешь штакетину — как объяснить — почему курицы залезли в мamiны астры? А в том октябре астры в Тасином саду цвели удивительно пышно. То ли секрет она знала какой, то ли сложилось так удачно, но астры были удивительные — малиновые, лиловые, розовые, белые — буйные, пышные. Не жалела Тася ни пережня, ни рассады, ни своих сил. Цветы были её страстью, её речью, её молчаливыми спасителями, маленькими громоотводиками настроения — ведь они не кричали и не баловались, не шумели, только ластились к шершавым, точным, нежным рукам. Так что мамин палисадник был запретной зоной.

Что же? Зося уже серьёзно думала удрать куда-нибудь к речке за гибким прутом потолще да поровнее — под предлогом какой-нибудь важной операции, но операция как-то не придумывалась, да и мама могла ой как рассердиться за самовольный уход из дому. Уж и на заборе Зося висела, рассматривая соседский участок — вдруг там найдётся нужная круглая палка. Она и с Васькиной пилой ходила возле бабкиной сирени, но старая Ульяна, заподозрив неладное, как назло, следила выцветшими голубыми глазами за таинственными перемещениями неугомонной и нелюбимой внучки по двору.

Зося нашла было старую подпорку для яблони, но подпорка была слишком старой и тяжёлой для девочкиных рук. От расстройства Зося уже думала хоть как-то обстругать деревьяху, но, стоило ей прислонить здоровенную палку к сараю, как глаза невольно зацепили что-то под свесом крыши. Она так и села. Удочки. Её удочка была слишком тоненькой. Но папкина удочка! Самая уловистая, самая длинная. Она тянулась от одного края крыши до другого и висела на крючках, сделанных из длинных гвоздей. Зося смотрела на удочку своими удивительными папы-мамиными глазами — жёлто-зелёными с голубыми и тёмно-карими крапинками.

Вообще-то у Зоси были странные глаза, в которых сплелась, слилась вся мамина и папина любовь. У мамы Тази были тёмно-карие глаза. Но не такого слишком тёмного цвета, вроде горького шоколада, и не желтоватые, нет, это были глаза цвета гречишного мёда — светящиеся, с аккуратными золотистыми лучиками, которые разгорались, когда Тася улыбалась, либо прятались, когда она сердилась, и глаза становились особенно тёмными. А Васькины глаза... Они были, как море — синие-синие — и такие же, как море, переменчивые — от безмятежной голубизны тихого полудня, напоенного жаром южного солнца, до закатной бирюзы. Но лишь Тася знала, как могут синеть Васькины глаза. Когда его сила наполнялась особой, лишь ему присущей лаской. Пропала она в этих синих глазах...

Да, так вот, Зосины глаза вобрали в себя противоположности — словно море и земля встретились. Ещё в люльке папина синева просто плескалась в глазах рыжего младенца, заставляя стареющую Ульяну узнавать сыновью породу во внучке. И нет бы перемешаться и стать, к примеру, зелёными или карими — знаем же мы, что сильный карий цвет, особенно тёмно-карий, побеждает все другие цвета — но невозможно, видимо, было победить хитрую синеву отцовых глаз. И всю её жизнь никто и никогда не мог понять, какого же цвета Зосины глаза — то карие они, то зелёные, то вспыхивали золотыми искрами, то синева обжигала. Старые люди удивлялись, да лишь многозначительно переглядывались, догадываясь о многом. Но предпочитали помалкивать — ни к чему судьбу тревожить...

И зелёными искрами сверкали Зосины глаза, наполнившиеся слезами обиды и волнения. Уж никак не ожидала она от Игорька промаха в такой важный момент! Но вовремя прикусила язык, хотя слова так и рвались. А другие товарищи — Колька Гриценко, Рома Рубинштейн — они просто вздохнули. И от этого вздоха, от Зоськиного

молчания, от радостных воплей соперников лишь сильнее расстроился Игорёк. Он швырнул свою любимую палку в сторону и топнул ногой, попытавшись вцепиться в коротко стриженный чуб.

Его команда проигрывала. Но надо было держать фасон. Поэтому он снова старательно сделал безразличное лицо и сердито сплюнул.

— Ничего. Ничо! Посмотрим, как ты стукнешь, Тарас!

Капитан «щорсовской» команды Тарас Мельниченко был на год старше, почти на голову выше «мелкоты» с улицы Калинина. Поэтому он был снисходителен и спокоен.

— Дивись. Вчитесь, малята, як майстри грають.

Он встал над непокорным «чижом», поднёс хитро скруглённый конец биты к носику, прицелился, улыбнулся, подмигнул дружбанам, быстро и умело поднял палку и ударил. Цок! Палочка взвилась высоко, давая возможность Тарасу размахнуться и не торопиться. Удар! И «чиж», бешено вращаясь, полетел по пижонско-высокой дуге над головами игроков. Удар был таким красивым, что мальчишки остановились. Палочка ввинчивалась в небо, потом стала опускаться, отбрасывая маленькую тень на плотно выбитую землю школьной площадки. И только тогда онемевшие игроки увидели, как за этой тенью рыжим солнечным зайчиком несётся Зося.

— Куда?! Зачем? Давай! От дурна яка! Да ти що?! Зоська, давай! Лови! Не зловить! — семь вскриков, слившихся в один, смахнули с крыш соседних сараев угревших голубей. И пока стоя поднималась на крыло, маленькая пухленькая рыжая девочка, всё так же закусив губу, покрасневшись и видя только одну точку в небе, неслась вперед не разбирая дороги. И надо же было так случиться, что не споткнулась, не запнулась, успела, добежала, прыгнула — и поймала!

— Ур-р-ра!! Ур-р-р-ра-а-а-а!!

— От ты ж злодейка! — ахнул Тарасик, а секунду спустя засмеялся. — Ой, хлопци, так це ж вона бити повинна! Га-га-га!

«Щорсовские» своевременно присоединились к смеху вожака.

Игорьку, Кольке и Ромке не оставалось ничего, кроме как молиться всем палочным, чижиковым и прочим богам, чертям и бабаям — весь горячий и запылившийся, пропитанный жарким потом итог игры был в руках девчонки, первый раз приглашённой играть по-серьёзному. Что греха таить, они уже заранее, как и свойственно мальчишкам, примеряли выражения лиц, уместные при скором проигрыше, эти «лица» были преисполнены горделивой уверенности в будущих по-

бедах. Но... Но как же они смотрели на бегущую, счастливую до невозможности Зоську! А она как радовалась, эта рыжая! Да если бы любой из них сотворил подобное — рассказов хватило бы недели на две, легендарный подвиг стал бы предметом всего возможного, особо небрежного и полного преувеличений мальчишечьего хвастовства. Но девчонка?

Вот и стояли «мушкетёры» со своими палками, а «гвардейцы кардинала» — со своими. И было им по девять лет.

Зося аккуратно, как учил Васька, положила «чижа» в центр круга. Потом встала, прицелилась и... сделала полшага назад, будто в полуприседе. Всё, как папка, любимый её моряк, учил. И не успели мальчишки удивлённо поднять брови — Зоська, как котёнок лапой, бацнула по «чижу», тот взлетел как-то неуверенно, еле вращаясь, даже болтаясь в воздухе, а девчонка, всё так же странно танцуя, ввинтила палку всем поворотом тела и подцепила «чижа» почти самым комельком.

Бац!

Удар оказался такой силы, что Зоську крутануло на месте, а «чиж» полетел ни высоко, ни низко, нет, он даже не полетел, а пулей прожужжал над головами «щорсовских» и с довольным фырчанием залетел аж за высокий глухой забор пожарной части — прямо в здоровенные, самодовольные лопухи.

— Твою ж мать! — прошептал Тарас.

— А-а-а! Зоська! Зосечка! — орал «калининские».

Игра была сделана. «Щорсовские» проиграли ситро. Это было страшно замечательно. Просто удивительно прекрасно. И Зося кричала и прыгала на месте — а мальчишки, поднимая палки, скакали в бешеном индейском хороводе вокруг неё...

3.

Вот так. А потом... А потом — все пошли по Калинина к пивной, что стояла напротив маленького мостика под высокими ивами. Там обычно отдыхал от праздности разный шофёрский люд — много машин тогда останавливалось у этой известной на всю Киевскую область точки — молва далеко разнесла радостную мужским сердцам весть, что «в Топоровской пивной не разбавляют». Конечно, не стоит думать, что наши победители махнули в злчное место по ошибке — нет, каждой девчонке, каждому мальчишке сызмальства было известно, что самый вкусный лимонад, самое вкусное мороженое продаётся в «шоферской».

Ватага сгрудилась у входа, Тарас зашёл внутрь. Шли минуты. Уже кто-то занервничал, что Тараса сейчас турнут куда подальше, но не успели сердца осознать эту печальную догадку, как отполированная тысячами шершавых ладоней дверь скрипнула — мальчишка навалился всем весом, упёрся локтем и плечом.

— Да помогите ж, черти!

— Ого! От ты ж молодец! Наш хлопец! Молодец! Це діло! Ура!

И пока победители примеривались к прохладным бутылкам, проигравшие круглили глаза — им Тарас тоже купил лимонад. А себе не купил — «ему не хотелось» — он жестоко переживал поражение и так сам себя наказывал. А потом Игорёк открывал бутылки о забор — так, чтобы не поскалывать горлышки, открывашки ни у кого не было, а просить открыть старших было ни к чему — ведь самый шик был в том, чтобы одним «чпоком», без пены, без скола, откупорить холодное ситро, с важным видом, по-взрослому, сдуть лёгкий парок с горла и пить колючее ситро без перерыва, хитро подпуская воздух внутрь бутылки. Мало кто так умел — в основном, все присасывались к бутылке, пытались пить, как Игорёк, но только слюни или губы запускали внутрь горлышка. Смешно, конечно.

«Щорсовские» потихоньку разошлись — им близко: завернуть за почту, и дальше уже шла улица Щорса. А «калининские» пошли вдоль всей Калинина, с бутылками в руке, заняв всю ширину недавно проложенного тротуара. Они шли, восклицая, останавливаясь, переспрашивая друг у друга подробности их удивительной победы, вспоминали, как здорово Игорь начал партию, как Ромка засветил битой в плечо одному из «чужаков», да так, что чуть до драки не дошло, даже за грудки хватались, как Колька палкой вымерял расстояние удара и морочил голову «щорсовским», как «танцевала» Зоська. И каждый встречный-поперечный «калининец», видя такую хохочущую команду, останавливался, расспрашивал, кивая на сверкающие бутылки, ему опять обстоятельно и со вкусом всё рассказывали, и обрадованный победой спутник шёл вместе с ними, восклицая и пересказывая новым встречным всё новые и новые подробности, часто уже прихотливо придуманные, небывалые, но от этого не менее восхитительные.

Через какое-то время вдоль по правой стороне улицы Калинина уже двигалась довольно приличная ватага, человек в тридцать. «Калининские» праздновали победу над слишком уж задававшимися «щорсовскими», Ромка дудел в пустую бутылку, издавая гулкие «пароходные» гудки, Игорёк шагал впереди, размахивая пал-

кой, как заправский тамбурмажор — это был настоящий праздник.

Сначала проводили Ромку — он жил ближе всех, потом — Кольку, потом — Игорька. Последней проводили маленькую Зоську, довели до самых ворот. При этом орава уже совсем разошлась-разгулялась, горланила и кричала такие «индейские» кричалки, что, казалось, тихую улицу Калинина атаковало племя команчей. «Кошачий концерт» сопровождало громкое «тр-р-р-рынь!» палками по штaketнику, от чего с ума сходили даже размлевшие возле своих будок рыже-чёрные кабыздохи, срываясь с цепей и заливаясь таким дурным лаем, что чуть желудки не выворачивали.

Но только дошли они до Зоськиных ворот, как навстречу им из-за угла Довгой улицы вышла известная всем топоровская сумасшедшая — старая Надька.

Крики затихли.

На «дурную» смотрели десятки глаз — карих, зелёных, серых. А Надька, не замечая ничего, пританцовывала в своих извечных резиновых галошах, в которых она ходила и летом, и зимой, что-то бормотала под нос, кокетливо приподнимала одной рукой край чудовищно грязной юбки, вокруг которой сверкал всеми красками новенький платок, изукрашенный розами и чёрными кистями.

На толстой верёвке сумасшедшая вела свою знаменитую козу.

Эта умная тварь, следует сказать, выучила за долгие годы все повадки своей хозяйки и, не хуже иной собаки, служила поводом. Но не только удивительная сообразительность и покладистость Надькиной козы была притчей во языцех — грязная сумасшедшая так холила свою скотину, что чуть ли не с мылом её купала; коза была расчёсана, белоснежна и накормлена. И на голове скотины всегда красовался удивительный малороссийский венчик из цветов, в который вплетены были разноцветные ленты. Где брала ленты «дурная Надька», как могла она в мареве своего безумия так искусно сплести чудесные, нарядно-безупречные венки — о том никто толком не знал. Да и самой только внешности Надькиной животины хватало для досужих разговоров.

— Гей! Тю, дурна! Дывись-но, бач, дурна вийшла! Не чипай! Вона дурна зовсим — не чипай!

Но Валерка Соркин не послушался, схватил с обочины какую-то палку и запустил в сумасшедшую.

— Гей, дурна! А ну! А ну, пійшла звідси! Геть!

И долго потом вспоминали ребята, со жгучим стыдом вспоминали, как принялись они дразнить сумасшедшую, как принялись скакать, размахивать палками, визжать, блеять, кричать, пугать Надю.

Та сначала улыбалась, потом, когда испуганная коза начала рваться с верёвки, села на землю, обняла дрожащую скотину за шею, спрятала лицо своё и начала тихо что-то приговаривать.

Зося тоже прыгала. И кричать у неё получалось очень даже здорово. И такие рожи она корчила, что её попутчики просто падали со смеху — Зоська известная была дразнильщица.

Корчить рожи она умела с детства — такой уж у них сложился обряд прощания с Васькой. Когда папка Васька уезжал опять на море, к своему уже отдохнувшему кораблю, и Зоськины глаза заливались такими бирюзовыми слезами, что, казалось, само море ей глаза затапливало, вот тогда принимался Васька корчить рожи своей доче — то язык вывалит, то глаза перекосятся, то ушами начнёт шевелить — всё по очереди, включая всякий раз новую, всё более смешную рожицу — пока уж Зоська не начинала повизгивать со смеху и сама принималась кривляться в ответ. И кому сказать, как пекло отцово сердце в эти минутки прощания — уже на корабле, гудящем машинами, вспарывающем бесконечную морскую упругость, он вспоминал рожицы своего рыжего котёнка. И улыбался. Так легче терпеть длительность времени.

Вот так... И прыгала Зоська, и кривлялась лучше всех, пока не расслышала она тихое бормотание Надьки: «Ну нащо, ну нащо ж вони нас так мучають, доня? Що ж вони таки злиі, донечко моя, Любушка, за що ж вони так? Вони ж не злиі, вони ж маленькі, ну чому ж вони таки жорстоки?» И прикипели Зосины полные ножки к земле, будто приклеились, молния позора обожгла ей щёки. Её рука с победно вскинутой палкой медленно опустилась, зелёным горящие глаза прижмурились, Зося оглянулась на визжащих приятелей, глянула как бы со стороны... и так ей стало жутко, так стыдно, так страшно стыдно!

Но не успела она замотать головой, чтобы вытряхнуть комок стыда из пересохшего горла, как в круг детей чёрными тенями влетели две подбравшие цыганки — Геля и её мать, старая Аза.

— Вот я сейчас вам! — страшно-престрашно закричала Аза, стуча о брусчатку чёрной своей клюкой. — Забудете, как звали!

Эх, как рванули детки врассыпную! Побежали, пригибая головы, на заборы попрыгали, в калитки соседние врывались, по улице припустили — кто уж как сообразил. Не хотелось попасть в лапы страшным цыганкам, о которых так много нехорошего говорили матери. Бежали «герои», и вслед за ними скакали собаками страх, ужас и испуг, цеплялись за рубашки, за

майки, кусали за коленки, подкашивали ноги, крутили животы — хоть пукай, хоть писай в трусики — лишь бы убежать прочь.

...Все знали, что утром в Топоров пришел первый за послевоенное время табор, да не простой, а очень большой.

Позже свидетели клялись и божились, что полдня шли здоровенные, нездешнего вида фуры с большими круглыми навесами, натянутыми на согнутые прутья. Возле своих подвод степенно шествовали хозяйки, семеня цыганская детвора — от совсем голопузов до слишком уж быстроглазых мальчишек и девчонок, черноглазостью своей заставлявших хозяек подбегать к калиткам да смотреть получше за добром во дворах. Возницы, старые мужики с огромными усами, пускали клубы дыма из хитрых трубок с длинными чубуками да разговаривали с соседями, остро взглядывая из-под густых бровей. Где-то внутри фур пробовала голос тихая скрипка, которая могла поспорить с ангельской арфой, из-под соседнего полога доносился перебор гитарных струн — так, с шумом, с музыкой, вплетавшейся в скрип колёс и цокот подков, с многоголосьем и тихой песней, да не одной, шёл через Топоров этот удивительный человеческий мирок, такой отдельный, такой загадочный своей непростой славой, манящей пылью тысяч дорог, странствий, приключений, пугающей тёмным колдовством, весёлым воровством, дурным глазом, старинным сказом...

Шёл-шёл да и остановился сразу за околицей, на большом пустыре за Довгой улицей.

И высыпали из фур многочисленные пришельцы, а в ответ раздалось многократно умноженное, словно кастаньетами наполненное клацанье захлопывавшихся окон, звякающих засовов, постукивающих запоров, поскрипывавших замков и замочков — такой музыкой встретил цыган запасливый городок. Топоровским хозяевам нашлись дела возле сараев и амбаров, хозяйки тоже не остались в домах — или снимали недосушенное бельё, или бегали лишний раз к погребам проверить надёжность замков, ну а те, у кого в конюшнях стояли добрые кони — те вообще потеряли привычную послеобеденную сонливость, так украшающую внешность доброго малоросса.

А цыгане, словно не замечая чуткой настороженности встревоженного улья, знай себе разминали затёкшие ноги; дети носились между конями, бегали по пустырю, крутились под ногами у взрослых и, как и все дети, которым прискучила надоедливая дорога, бесились вовсю. Старые хозяйки разводили костры, молодые же пошли в город. Мужчины закурили трубки, уселись в большой

круг в центре, разнежились на солнышке, повели разговоры, ожидая, когда приготовится ужин...

И надо же так было случиться, что именно старая Аза повела красавицу дочь по улицам издавна известного ей Топорова. Пошли цыганки в центр за припасами к ужину, пошли красиво, зная, что сотнеглазо следят за ними топоровские кумушки. А нет слаще цыгану людского внимания — мигом состроит концерт на ровном месте, из ничего. Красиво шли цыганки по улице, помахивали шальями своими расписными да позванивали монистами, специально для такого случая надетыми, да что-то шептала Аза, а Геля чуть ли не приплясывала, пальцами прищёлкивала — в самом расцвете молодости была она, ох и кружила же парням головы, пьянила сердца мужские слаще любого вина, сбивала с ног сильнее водки!

Увидела остроглазая Геля, издали рассматривала, что в кругу маленьких мучителей сидит на земле странная фигурка, сказала матери, та охнула, и уже вдвоём, как две фурии, налетели они, да так пуганули, так картинно застращали, как только цыгане могут — без лишнего шума, словом непонятным да видом сказочным.

Все детки разбежались, а маленькая Зоська с перепугу забыла, как бежать надо. Вот и осталась она, как стояла. А цыганки, не замечая её, стали поднимать сумасшедшую, вот только не получилось у них ничего — не давалась в их руки Надя. Уворачивалась, лицо прятала в шелковистую козью шерсть, капризничала, руками отмахивалась, улыбалась.

— Що ж ви налетіли? Нащо? Птахи, птахи прилетіли, та й хочуть мене скльовати. Що ж ви крилами бьете, нащо ж воно вам? Крила свої заберіть, сонечка мені не заважайте бачити, я ж на сонечко лагідне полюблюю дивитись, воно ж таке ласкаве. А ви все дзюбати мене бажаєте, да? Так погодую я вас. Зачекайте-но, зараз я пиріг вам зроблю. От муки тільки мало — бачите, не зібраті ніяк.

Цыганки только и смотрели, как сумасшедшая одной ладонью сгребает дорожную пыль в маленькую кучку.

— Мама!

— Подожди. Ты ж видишь.

— Мама, ну! Давай, мама!

— Ох, Геля, молчи лучше.

— Мама! Мама, ты знаешь, мама, как оно всё делается, мама! Видишь, мучается человек, живой человек, ну куда ей так жить? Можешь помочь? Ну, можешь?

— Садись. Вот тут, на траву. А ты что ж стоишь, дитя? — колюче глянула старуха на Зосю. — А ну, садись. Больно длинный у тебя язык. Так прикуси его. Боишься?

— Да,— прошептала девочка.
— Правильно боишься. Но не меня бойся. Себя бойся. Разве можно живого человека мучить? Тебе не стыдно?

— Очень.

— Что?

— Очень стыдно.

— Сиди тогда. Пусть тебе урок будет.

Старая Аза, опираясь на палку свою да на руку дочери, медленно опустилась на траву рядом с Надей. Села, подвинулась так, плечо к плечу, да тихо погладила козью морду.

— Как зовут твою козу?

— Яку козу? Що ти, що ти? Це ж донечка моя — Любочка.

Глянула Аза на Гелю, покачала головой. Геля, стоя на коленях, вся, как сжатая пружина, смотрела, что будет, вся во взгляд обратилась. Только на мать смотрела, чуть не плакала.

Взяла тогда старая Аза руку сумасшедшей, другую, сложила их корабликом, руками своими тёмными сжала да и подула той в лицо — тихо, как ветерок, подула. А Надя глаза и закрыла. Запела тогда Аза старинную, забытую песню — о небе, да о воде, да о чистом поле, о красной панне на белом камне, что чёрную книгу читала. Станный был тот мотив, за душу брал, из земли рос, с тучами налетал, с травой прорастал. Старые люди по всей украинской земле знали его. Не знали, откуда он взялся, откуда помнили его — всё было просто — от прабабушки бабушке, от бабушки — матери, от матери — дочке.

Пела Аза тихо-тихо, вроде как бы и не пела. Нет, не стонала она, не хрипела, скорее шептала, только шёпот тот был какой-то странный, ритмический, с жужжанием и гудением, с пощёлкиванием и при-чмокиванием. И чёрными змеями поползли морщинистые, иссохшие руки цыганки вверх по рукам больной, погладили кисти, запястья, пошли к локтям, скользнули по сжавшимся плечам, потом по шее, вверх, к щекам, вдруг расслабившим свою извечную улыбку. Ушла гримаса с лица больной, разгладился страшный, улыбчивый оскал, морщины уползли с лица, словно вода просохла, прищур глаз ушёл — чёрными сухими ладонями стирала цыганка годы мучений с лица Нади.

Геля задрожала — искорёженная, пережёванная временем маска словно ключьями отвалилась от лица «дурной Надьки». Надя сидела и прижималась лицом к горячим ладоням цыганки, упиралась лбом, как тычется маленький ребёнок в мамину грудь, полную молока, — так страшно, дико, поразительно помолодела она, что, казалось, отпустила её страшная память.

— Ах! Боженьки! Де ж вони?! — вдруг басом, рёвом, взрыдом каким-то заголосила Надя, открыв голубые глаза. Она озиралась вокруг, медленно-медленно поворачивала голову, которая, казалось, отдельно от грязного тела своего жила.

Закусила она губы, потекла кровь по подбородку, завывала Надя Петриченко глухо, убито, как может выть только внезапно обретшая голос немая.

— Ы! Ы!-ы! А-а-а-а! Де ж вони-и-и-и? — и упала сумасшедшая навзничь да стала биться головой о землю. Столько в ней силы было, что не могла удержать её старая Аза. Только и успела вдвоём с Гелей схватить за взлетающие руки да повалить бедную на траву. А Надька билась под ними и выла, и плакала. Слезы брызнули из её глаз, и кричала она раненым зверем.

— Ма-ма?! Мама! — плакала Геля. — Мама, остави её!

— Не могу. Сил нет. Ох, да держи ты её. Сила в ней нечеловечья. Что-то нелюдское с ней сделали. Ах, ты ж!

Аза глянула вслед убежавшей Зоське.

— Ну, всё. Сейчас малая приведёт соседей. Будет нам лихо, Геля. Готовься.

4.

Страшно быть сумасшедшим — так любой человек скажет. Ещё страшнее — в безумные глаза заглядывать.

Ведь не была Надька Петриченко ни буйной, ни злой, ни грязной сумасшедшей. Наоборот — даже как циркачка какая, со своей извечной козой — поколения топоровских детей помнили её странную, изломанную, пританцовывающую походку, её девичью худобу и старушечью повадку, помнили старенькую козу, которая уже под конец своих преклонных козих лет не бежала впереди безумной хозяйки своей, но шла позади, подслеповато различая траву на обочине или какую печенюшку, брошенную из-за забора робкой детской рукой. И брала коза мягкими старушечьими губами то печеньице, жевала сторожко, помаргивая выцветшими ресницами, шамкала дряблым ртом.

Но и в то недавнее время, когда старая сумасшедшая уже не плясала на перекрёстках, не скакала вслед своей белой козе возле топоровской пивной, всё равно, любой ребёнок чувствовал что-то непонятное, вроде не две фигурки шли по дорогам Топорова, а три — шла дурная Надька, семенила коза, а рядом... рядом — то ли страх какой шёл, то ли сама Смерть развлекалась.

Что видели безумные глаза? Заботливое безумие стёрло жуткую боль, стёрло ту пытку, которая разрывала память несчастной матери при

каждой вспышке сознания. Разве несчастной была дурная Надька? Разве не плясала она тридцать лет своей жизни, разве не радовалась она тающему снегу, не подставляла руки оттепельной капели, звеневшей из-под свесов крыш, не вдыхала туман, обволакивавший весеннее кипение цветущих садов? Всему радовалась она, радовалась, как маленькое дитя.

И ведь те детки, что мучили сумасшедшую — разве настолько они были безжалостны и злонамеренны? Даже пытка, которую устроили они, была лишь тенью их детского страха — ведь страшно, действительно, до головокруженья страшно заглядывать в сумасшедшие глаз. Что видели дети в их выпетших отражениях? Омерзительный ли распад человеческой души? Нет. Была у Надьки душа. Только спряталась она — в другом времени, в другом мире. Где ничего не значат слова, ничего не значат пустые встречи, напрасные расставания, обещания и надежды. Где можно просто жить — жить каждой секундой, впитывать каждую крохотку окружающего мира — пылинку, дождинку, песчинку, травинку — в каждой малости можно видеть огромную радость, встречать доброту и злобу. И ту — с радостью.

А детям ведь страшно было — любой человек боится распахнуть глаза свои — и опять, как маленькое дитя, едва оторвавшее попу от привычного пола, вставшее на свои подгибающиеся ножки и сделавшее первые шажки, увидеть слоновью поступь муравья, услышать грохот крыльев бабочки, поразиться налёту комара и остолбенеть при виде громады, заслоняющей небо. Ведь каким удивлением и восторгом, каким счастьем узнавания наполнены детские глаза, сколько работы в них, сколько любопытства — и насколько легче привычно вставать, забывчиво узнавать, скучливо проходить мимо. Просто жить. Как это просто...

Страшно смотреть в безумные глаза. Страшно быть сумасшедшим.

Но ещё страшнее — не сойти с ума.

5.

— **О**тпусти её. Всё, не бойся. Отпусти. — Тася подошла к цыганкам.

— Ты можешь? — Старая Аза бросила тяжёлый взгляд на Тасю, из-за спины которой и выглядывала перепуганная Зосечка Добровская.

— Да. Могу. Отпусти её.

— И что будет? Ты знаешь?

— Уйдёт она. Назад уйдёт.

— Так надо?

— Не отпустишь — она умрёт. Нельзя ей здесь быть.

— А ведь она в себе сейчас живёт.

— Ты глухая, цыганка? Умрёт, не видишь? Нельзя ей — вот так оставаться. Сердце лопнет.

— А голова не лопнет, если отпущу?

— Ты сама знаешь, что будет? Тебе ведомо? Видишь, кровь пошла к сердцу? Отпускай! — Тася топнула ногой.

Старая Аза глянула на неё маслянисто-ласково, обволакивающе и страшно. Тася приняла вызов, и глаза её потемнели до спело-вишнёвого цвета.

Тишина поскрипывала маятником — шелестели шины проезжавших машин, где-то далеко, за тысячу лет, свистели какие-то пташки, беспечно хлопала в ладоши бабочка-крапивница, кружась над последними цветами в палисадничке возле дома напротив, в траве маршировали цепочки неугомонных муравьёв, с бездонным гулом вращал чуть пыльный горизонт уже по-осеннему надорванные облака, капли колодезной воды стекали по запотевшему боку ведра и раздражающе неравномерно падали вниз.

Время уплотнилось и связало два взгляда.

Наконец, старуха чуть вздрогнула и провела сухой ладонью по лицу, словно умываясь.

Тася плавно присела рядом, осторожно начала гладить мокрые глаза сумасшедшей. Надя Петриченко лежала на земле, тихая, до невозможности бескостная, как переломанная колёсами грузовика кукла. Тёмные, словно из почерневшего векового дерева вырезанные пальцы цыганки держали Надину голову, а Тасины пальцы касались век, скользили по вискам, по щекам, трогали подбородок и крылья носа, пролетали по упрямому лбу, стирали лёгкую розоватую пенку с покусанных, вспухших губ. Геля испуганно смотрела на мать, которая творила ей пока непонятное слово. Под руками двух женщин медленно-медленно увядало только что расцветшее молодостью лицо. И непрестанно текли Надины слёзы — словно два маленьких ручейка затапливали глаза. Столько слёз — и представить себе невозможно было, что в человеке столько горя быть может.

Аза стала гладить Надино темя, потом тихонько обеими руками коснулась затылка, повела вниз, к шее. Тася положила ладони на лоб несчастной, и с каждой секундой снова старела, старела Надя. Уже снова на коленях у Азы лежала почти старуха с такими смешными косичками. И уголки её рта поднимались — боль ушла, растворилась, затянулась, покрылась сухой коркой горячего безумия.

Слёзы перестали течь.

Зосечка, не отрываясь, смотрела на творящееся и старательно не впускала в себя понимание, за-

жимала внутри тысячу маленьких и не очень маленьких вопросов, которыми она могла задушить маму Тасю. Да что же происходит такое? Как можно так — вызвать и опять отпустить молодость?!

Сумасшедшая открыла бледные, снова выцветшие глаза, потерявшие неожиданную синеву бесконечного неба. Она опять была нигде и всюду. Опять узнавала такой простой мир, такой спокойный и тихий, наполненный её звуками, её музыкой, её словами. Это снова была столь знакомая ей ослепительная, ускользающая темнота.

— Хи-хи. Хи-хи. Хи-хи-хи-хи-хи... Любочка, иди сюда. Иди до мамочки, Любочка.

Надя снова звала свою козу, гладила её белые бока, расправляла яркие ленты и цветы в шуршащем венке, щекотала за ухом, касалась копыт.

— Я взую тебе, Любочка. Подивись, яки туфельки я тобі купувала, Любочка.

Она резко села. Припадочная, ускользающая улыбка ползла по серым губам. Сорвав лист пыльного подорожника, Надя стала прилаживать его к пегим копытцам.

— Подобаються тобі туфельки, Любочка? Донечка, ну що ти не йдеш? Иди-ко сюди, дай свою ніжку. Яка ж в тебе ніжка маленька, Любочка. Дай, ну. Ну дай ніжку, не бійся.

Привычная коза переступила и поставила переднюю ногу на колено Наде. А та сидела и тихо бормотала, жужжала себе под нос, разминая и растирая листок о шершавое копыто.

— От, Любочка, от. От и добре. Я люблю твои ніженьки, я люблю твои ніженьки, я люблю твои ніженьки, твои п'яточки, твои пальчики, твои маленьки пальчики.

И сумасшедшая старуха плавно наклонилась, словно перелилась вода, и стала целовать и гладить копыто.

— Дивиться, яки пальчики у моеи Любочки, подивиться.

— Мама! — шепнула Зося.

— Тихо, доченька, тихо... — Тася прикусила губу и гладила Зосю по голове. — Не вспугни её, не надо, не надо.

— Мама, за что ж так? За что?

— Да, за что? Ты же этого хотела? Ты же всё знаешь, да? — Шёпот Гели вонзился в Тасину грудь острыми когтями.

— Погоди, дочка. Значит, знает. Права она. Ой, права, дочка. — Аза глядела на бормочущую сумасшедшую, на Тасю, спокойную и бледную, в кровь закусившую губы. Потом долго-долго всматривалась в Зосю, склонив голову набок, как старая ворона. — Вот что, Геля, бери-ка ты эту маленькую красавицу, да пройдишь-ка ты по

улице, да вольно пройдишь, как вольные люди ходят. Да пойдй назад к старому деду Коле, да скажи, что Аза просила его тот платок отдать. Так и скажи — «тот платок». И пусть он тот платок, он знает какой, пусть передаст тот платок этой девочке. И скажи ему, что Аза ему кланяется и прощенья просит за всё.

Геля в изумлении смотрела на мать, нараспев поющую слова приказа. Но не стала спорить, не стала спрашивать. Молча поднялась, отряхнула широкую шуршащую юбку. Зазвенели браслеты на запястьях, зазвенело монисто на высокой груди — словно огонь от земли оторвался, молодой, весёлый, вот-вот искры полетят золотые.

— Ну? Пойдём, девочка. Пойдём к скрипачу деду Коле!

Зося замотала головой.

— Иди, доня. Иди. Всё хорошо, — Тася погладила дочку по голове. — Иди, можно. Я подожду тебя.

Силы её покинули, устало сидела она возле старой Азы.

Сумасшедшая обнимала козу за шею, умело, бережно и ловко сплетала и расплетала яркие ленты, протирала грязным платочком шершавые копытца, затем, словно фокусник, вынула откуда-то из кармана старый-престарый гребешок.

— От, Любочка, ось зараз зроблю тобі дуже файну зачіску, будеш в мене така гарна, така причепурена дівчинка. Тре тобі трохи банти зробити, бо ти ж в мене така гарна. Дай-ко мені, дай подивитися, ща там таке.

Коза терпеливо стояла. Всякой твари нравиться, когда её гладят — и животному, и человеку. Животных даже чаще гладят. Люди больше словами — бьют. Или ласкают. Или кричат.

— Что было? Немцы? — Вопрос цыганки булыжником проскрежетал в немоте вокруг женщин.

— Да... — Тася нехотя проговорила, что-то рисуя пальцем в дорожной пыли. — Танкисты. Её двух девочек, близняшек... К себе взяли на ночь. А наутро к танкам привязали и разорвали.

Аза чуть заметно вздрогнула, пригнулась к земле сильнее. Кому ж хочется такое в себе носить? Кому такое знание нужно? Пригибает лишняя правда к земле, в землю вдавливают. А Тася продолжала, комья болючих слов роняла, медленно, тихо и печально-спокойно.

— Вот... А Надя тогда и повредила. Ходила кругами по улицам. Где могла, там ложилась. То кричала, то плакала, потом замолчала. Её люди к себе брали. Добрые люди. И врач наш смотрел.

Только ничем не могли помочь. Вот она с козой до сих пор и ходит. К ней в хату соседки приходят, поесть приносят. А она целыми днями по улицам козу вот эту вот свою водит, лентами украшает. И всякий раз — то «Любочка», то «Танечка».

Тася помолчала. Цыганка старой вороной сидела, обхватив колени, свившись в узел, и всматривалась перед собой, словно видела что-то далёкое.

— За что люди такие звери?

— Не знаю, не знаю. Ты ж старая уже, много жила, знаешь сама.

— Ничего я не знаю. Вот этого вот не знаю. Сами еле живы остались. Мне недавно люди передали — нашли в Бендерах, ну, этих... Этих... Кто побили наших людей из Ясс. Тех, кто старый был, подушили, молодых постреляли. А девочке одной, самая красивая была, я знала её маленькой, она ж такая была — самая красивая в роду нашем была — груди отрезали, прямо перед всеми, живой отрезали. И ведь не удрали же... На что надеялись? Их же все люди искали. Все. Земля гудела, так искали. По всей Бессарабии искали. До Одессы ходили — искали. К полякам ходили. Везде — лишь бы найти — везде ромалы ходили, друг друга просили — лишь бы найти. Вот и нашли... Люди нашли.

— Ясно. Сами?

— Да. Закопали их. Возле перекрестья дорог.

— Ясно.

— Живыми.

— Понятно...

— А ты откуда умеешь? Кто научил?

— Мама. Бабушка. Бабушку — прабабушка. Научили.

— Вижу. А ты видишь? Всё видишь?

— Да. Что могу.

— Бедная ты. Счастливая. И бедная. Меж тремя смертями живёшь.

— А что делать — жить-то надо. Дочка.

— Её спасёшь.

— Да? Получится? Ты точно знаешь?

— Получится. Две жизни достанешь.

— Откуда?

— Этого я уже не знаю. Что я тебе, брехуха какая? — Аза совершенно неожиданно для самой себя разозлилась.

И что злиться-то было? На кого? На эту девочку, что так много знала о себе и о людях? На то, что жизнь вот такая, что волком выть, кошкой мяукать, непонятно каким зверем орать, что так сердце печёт? Кого вернуть, куда шагать? Кому жаловаться? Небу? С неба вода течёт, но не солёная, как слезы. Земле — так она все слёзы человеческие впитывает. Кому пожалиться, что кости истончились, а кожа иссох-

ла вся? Кому рассказать, что сила уходит, тело морщится, дряхлеет, что время так сжимает, так стискивает, что выдавливает, по капле выдавливает — улыбки, любовь и надежды, только круче землю делает — так, чтобы шагать было, как по лестнице — по бесконечной лестнице наверх, к бесконечному Богу?

— Всё. Пора мне. Сейчас Геля придёт — дочку твою приведёт. И не говори ничего, — замотала головой цыганка. — А то гляну дурным глазом...

— У тебя глаз не дурной.

— Тебе-то! Тебе-то — откуда ведомо? Знаю, что говорю. Ступай. Будет тебе две смерти и две жизни. А там — как Бог даст. Прощай.

— И ты прощай.

Старая Аза встала, потянулась, крикнула от неожиданно защемившей поясницы, постариковски суетливо потёрла спину, осторожно, по чуть-чуть, разогнулась, потянулась. Посмотрела кругом. Секунду, ровно секунду стояла она, как молодая. Потом с похрустыванием и скрипом согнулась, скрючилась, прижала руку к боку. И пошла к табору, подшаркивая подошвами стоптанных ботинок, шелестя юбками.

Тася слушала, как удаляется старуха, как стучит палка. Ждала дочку. Вскоре по дорожке затоптали родные ножки. Счастливая Зося пробарабанила пяточками чеботуху — «та-тататта-та-та!».

— Мама! Мам-ма! Смотри!

И девочка завертелась в танце, а красно-чёрная расписная шаль распустилась над ней дивным маком, закружилась огненно-чёрной птицей.

— Красивая шаль. Береги её. Это не простой подарок. Не простой. Береги. Всю жизнь береги.

— Да? Честно-пречестно? Буду. Буду, мамочка. Ну! Ну же, мама! Мы пойдём? Пойдём домой? Ой, а что с Надькой... Ой, с Надей делать будем?

— Ничего. Она возле своего дома. Она уже дома. — Тася оглянулась, поднялась, отряхивая невидимые соринки с подола. — Эй, Надя! Домой иди! Домой иди, понимаешь? Дочку покорми. Иди, Надя, домой идти надо. Дочку кормить надо. Иди. Иди-иди. Ступай.

Сумасшедшая глянула на неё с улыбкой. И вдруг из-за пелены безумия мелькнуло в её глазах:

— Дякую тобі.

Тася отшатнулась, а Надя меж тем целовала козью морду.

— Пішли. Пішли, Танечка. Рідненька моя Танечка. Пішли. То ж добрі люди навколо. Не лякайся. Пішли-ко. Хи-хи. Хи-хи. Хи-хи-хи-хи...



Москва

Россия

Алексей Угаров

(Быстров Павел Алексеевич)

родился 25 января 1968 года

в подмосковном

городе Подольске.

Закончил Саратовское Военное

авиационное училище.

Книга стихотворений и прозы

готовится к выходу в издатель-

стве «Логогриф»

Алексей Угаров

КУСОК ПЕРГАМЕНТА

КУСОК ПЕРГАМЕНТА

Яродился не в своё время, не в том месте, среди чужих. Мать мою звали За-ремба, отца Афинокир, мы были Повелителями Вселенной.

Вселенная простирается на много миль, но в конце концов окружена цепью гор, за которыми, как известно, ничего нет.

С малых лет уклад нашей жизни не кажется мне моим. Удел моей семьи — наслаждение. Удел остальных — а их тридцать шесть миллионов, не считая рабов — труд и смирение. Я же не отдаю должного ни первому, ни второму, ни, тем более, последнему, а ведь это наши Вседержители, Божества, и без них Вселенная просто прах.

Прежде всего я узнал тяжкий труд, ибо наслаждение не бывает подлинным без памяти о времени, проведённом вдали от него. Таково слово наших мудрецов. Мальчиком я был отдан в сырую каменоломню и едва не умер там, стараясь во все лопатки, дабы не ударить в грязь лицом перед остальными. Мы добывали алмазы. В пять часов утра кнут бригадира загонял нас под землю, где было не разогнуться, а спустя двенадцать часов нас полумёртвыми вытаскивали обратно. Питались мы мясом собак, они же питались нашим, раскапывая могилы. Нам было всё равно. Ползая в темноте, мы извлекали из земли звёзды для нашего неба. Так, во всяком случае, нам говорили. Труд во Вселенной повсюду одинаков — он невыносим и священен.

Учиться смирению я был послан на скотобойню, где жил со свиньями, погружая лицо в кормушку, валяясь в нечистотах. Мудрые говорят, нет ничего лучше смирения, и сразу после рудника я готов был с ними согласиться. К тому же свиньи и прислуга, если пребывают в сытом удовлетворении, не склонны к насилию; кормили же нас на убой. А дабы уязвить меня похлеще, стражники, приставленные ко мне отцом, мочились на меня с пьяным хохотом.

В дальнейшем я принуждён был лишь наслаждаться. Наслаждение — обязанность моей семьи; такая же, как обязанность усмирять непокорных или содержать начальные школы для девочек. Нет наслаждения, которым мы могли бы пренебречь. Избегая одного, мы рискуем, согласно закону, лишиться их всех на долгое время. Законом же определён список наших удовольствий, многие из которых не являются таковыми. Взять пункт сто сорок четвёртый — поедание сердца и печени врага. Тысячу лет назад Вселенную раздирали силы тьмы, и съесть сердце врага значило утолить жажду мщения, а ещё удвоить и утроить собственные мощь и отвагу. Но сегодня, когда небо миллионом глаз благосклонно взирает на нерушимый порядок, а врагов нет как нет, мы принуждены вкушать мясо обыкновенных преступников — обряд бесполезный, сколь и отвратительный.

Или бесконечные оргии с тысячами наложниц, с реками выпитого вина, с пленительными афродизьяками. Должен сказать, мы уже не так сильны и выносливы, чтобы посвятить этому хотя бы день. Лишь в древних рукописях читаем мы с завистью о месяцах разгула, когда Вселенная содрогалась от танцев победы и могучих соитий. Мы же, вкусив подкрашенной воды, расцеловав десяток девственниц и пройдясь хороводом под гром тамбуринов, чувствуем усталость во всех мышцах. Поистине, чугунными головами и сердцем из каучука обладали наши славные предки.

Но настоящим наказанием является для нас еда. Не проходит дня, чтобы дворцовые повара не выдумали сотню-другую вкуснейших яств, каждое из которых мы обязаны съесть целую порцию. Мы уже похожи на жирных слонов и отводим глаза, дабы не выдать, как мерзко нам зрелище друг друга, а нам несут и несут — огромные дымящиеся блюда, и мы не имеем права не тронуть их.

И только два пункта кадастра наслаждений не внушают нам ужаса — сон и чтение древних книг в прохладных залах дворцовой библиотеки...

ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС

По-видимому, организаторы что-то напутали, потому что утром в почтовом ящике, среди газет и рекламных листов, электрик Грин обнаружил официальное приглашение на философский конгресс. В приглашении стояло его имя. Сам Грин ничуть не удивился — в конце концов, он прожил долгую жизнь, был на хорошем счету, ему есть что рассказать. Нет, уж если умные люди что-нибудь делают, то досконально знают, что именно! — подумал он. Наверняка, ради разнообразия, им захотелось выслушать кого-нибудь попроще, ведь сами они, это уж точно, отягощены непомерными знаниями. Тут важно не ударить в грязь лицом. Разумеется, нужно вычистить костюм, надеть новые ботинки, припомнить, как повязывают галстук — без этого не обойтись. Ведь философия, как понимал её Грин, вещь необычайно строгая и опрятная, вроде благоразумной женщины, которая ни за что не выйдет на люди абы как.

Недолго думая, он поспешил к жене и дочери — показать приглашение, предвкушая, что и они не выкажут ни капельки удивления, а наоборот — с радостью примут неподдельное участие в сборах и прочих приятных хлопотах, стараясь угодить ему. Так и вышло, хотя поначалу, видя, что отец и не думает взять её с собой, дочь толкнула его кулаками в грудь — как раз в тот момент, когда он собрался ласково поцеловать её. В другое время столь отча-

янный жест, может, и заставил бы Грина призадуматься, но теперь ему следовало поторапливаться как никогда, ибо в конверте обнаружился ещё и билет на поезд, и — вот незадача! — отправлялся он через два часа!

Ровно через два часа — и всё благодаря расторопности домашних — Грин, выпрямив спину, входил в купе вагона, где сразу же в глаза ему бросился юркий старичок, который, завидев Грина, вдруг стал переставлять с места на место немногочисленный багаж и при этом виновато улыбался. Наверное, это и есть тот самый Грин, подумал Грин, внимательно наблюдая за пассажиром. Но это был не Грин; во всяком случае, как только старичок расположил вещи на свой вкус, он тут же протянул Грину руку и бодро, с той же виноватой улыбкой на розовом лице, отрапортовал: Профессор Суховерченко! Это какой такой Суховерченко, подумал Грин, уж не тот ли, чьё имя красуется на афишах в городе?

— Тот самый профессор Суховерченко, чьё имя вы могли видеть на всех афишах вашего чудесного городка, — сказал старичок, с жаром пожимая протянутую Грином руку. — А вы, насколько я помню, электрик Грин. Я видел вас вчера в Доме культуры. Вы меняли розетки в кабинете у директора, и он несколько раз называл вас по имени. Вы же, занятый ответственной работой, сопряжённой с очевидным риском, попросту игнорировали меня, на что я совершенно не в обиде.

Это правда — Грин и впрямь мог иногда зарабатывать до того, что не видел и не слышал никого вокруг. Вчера же, как нарочно, директор выдал ему немецкие розетки такой необычной конструкции, что ему пришлось изрядно попотеть, прежде чем он разобрался, что к чему. Ничего удивительного, что несложная на первый взгляд работа не позволила ему разглядеть такого плюгавого старикашку. Впрочем, Грин был не из тех, кто оправдывается по любому поводу. Поезд был вечерний, близилась ночь, поэтому, ничего не говоря, но стараясь не выглядеть неучтивым, он аккуратно развернул постель, быстро и сноровисто переоделся в пижаму и только после того, как лёг, натянув на подбородок одеяло и оглядывая себя с груди до ног, спросил:

— Вы действительно можете внушить человеку, что он, к примеру, слон или лягушка?

— Это не трудно, — сказал Суховерченко, который был уже в трусах и, укладываясь спать, подбрасывал одеяло ногами. — Я, например, запросто могу внушить вам, что вы никакой ни электрик, а знаменитый философ, от которого ждут спасительных откровений. Вы будете писать книги, ездить на философские конгрессы, к вам будут

прислушиваться. Но думаю, это вам не по душе. У вас ведь отличная работа, с которой вы успешно справляетесь, которая делает вас интересным и значимым, не так ли? — Последние его слова прозвучали уже сквозь сон, и через минуту — Грин смог в этом убедиться, приподнявшись выключить свет — старикашка спал как убитый.

Вон оно что, подумал Грин, укладываясь поудобней изакрывая глаза. Выходит, вот так становятся философами. Сказано тебе: «Будешь философом!» — значит, будешь всю жизнь разумные книжки читать и писать, а также господствовать над умами, вызывая их восхищение и т.д. А сказано: «Станешь электриком!» — будешь по полдня над немецкими розетками корпеть без всякого толку. А кем сказано? Гипнотизёром Суховерченко! А он кто? А бог его знает! Прибыл неизвестно откуда и убыл незнамо куда. Как ветер. Грин встал, подошёл к микрофону, обвёл торжествующим взглядом зал, битком набитый философами всего мира и, кашлянув в кулак, начал свой доклад словами: «Господа! Всё не так, как вы здесь себе представляете. Всё совершенно не так!»

ТРОПИНИН

Из Остафьева брат Ваня привёз плуги и двух свиней непонятной породы. Плуги украли, свиней зарезали и наделали из них колбас. Ваня снова почувствовал себя ненужным.

В июле, когда в доме гостило особенно много женщин, в Добродеево из Нижнего прикатил Чебутарёв. Ему отвели свежеструганный флигель, куда он стал заманивать Веру Александровну и Машу. Всеволод Ильич недовольно хмурился: своим темпераментом художник невольно пачкал девственно-райскую атмосферу этого лета. Вера Александровна только что рассталась с Полухиным. «Это нимфоманка до мозга костей», — написал Полухин Тропинину. Спустя два дня, проездом в Одессу, Полухин приехал в Добродеево.

Роман Тропинина «Грязная весна» в начале июля вышел одновременно в «Европейском курьере» (пять глав) и целиком у Панкратова. Шевров написал по обыкновению кислую статью. Зато вечно мрачный Попович вдруг оживился и выдал панегирик. «Попович учудил», — написал Тропинин Краевскому. На деньги, вырученные от продажи Краевским «Русскому сердцу» «Собачьего мыла», Тропинин купил австралийскую очёсывающую жатку.

По-прежнему некто Мелезинда Нецелованная звала Всеволода Ильича на лиман. Она грозилась раздать богатство и уйти в пустынь, «где монахи черствы как пемза, а еда скудна и безвкусна».

Восьмого апреля, в день рождения Тропинина, она прислала ему чёрную розу. Но летом Тропинин решил оставаться в Добродеево. В Москве его напрасно ждала Козлова. В Санкт-Петербурге Онуфриев, чьи сексуальные аппетиты возрастали с каждым днём, делал визиты дорогим девкам и, устав надеяться, уверял и себя и их, «деньги скоро будут».

Словно прознав про намерение Тропинина никуда не уезжать, в Добродеево валили гости. Арбеков привёз брату Ване нержавеющий немецкий чан для варения пива. Тот наварил пива изо ржи. Пиво было невкусное, кислое. Ваня запил.

Как-то вечером Вера Александровна пришла к Всеволоду Ильичу в кабинет. «Вы должны выслушать меня», — твёрдо сказала она. Тропинин кое-что знал про Веру Александровну. Это была красивая, властная, слабая мелкопоместная дворянка без средств. Она три раза была замужем. Первый муж её бросил, со вторым, прежде чем сбежать, она пробыла две недели. Теперь она считалась замужем за антрепренёром Марцевичем, который в Москве много интересовался балетом, и, по слухам, зарабатывал тем, что находил танцорам состоятельных покровителей. В тот вечер Вера Александровна призналась Тропинину в любви. Они выпили вина. Тропинин показал ей наброски новой повести. На другой день Вера Александровна уехала. Полухин был вне себя: — «Вы, Всеволод Ильич, пресыщены женским вниманием! Женщины вешаются на вас, как обезьяны на пальму! Ах, если бы я был знаменит!» — говорил он и ударял себя по колену.

Чебутарёв, вместо того, чтобы, как раньше, ходить в поле и писать пшеницу, укрывался теперь в тени лесных озерков, сидел там за мольбертом, раскуривал трубку и обнимал Машу за талию. Маше было восемнадцать. Ей нравились зрелые мужчины с сединой. Ей, например, не нравился Тропинин. Он был хоть и пожилой, но выглядел как мальчишка. У Чебутарёва же была большая благородная голова с седыми локнами, и он быстро и очаровательно рисовал. Кусты и деревья у него были похожи на настоящие кусты и деревья. А озерко на его картине сверкало как зеркало.

Тропинин заметил перемену в Маше и написал Арбекову. Он хотел было поговорить с Чебутарёвым, но видя, как тот каждый день энергично натягивает новый холст, при этом поёт что-то немецкое, Тропинин, зная, с каким трудом даётся вдохновение, махнул на Машу рукой. В конце концов, женщины дуры, и с чего-то должно у них начинаться, подумал он.

На столе у него теперь лежала повесть. В повести он хотел вывести Полухина и Веру Алексан-

дровну, их глупую страстную жизнь, их иллюзии, ложь. Он знал, что любовь всегда ложь, и теперь хотел выразить это выпукло. Повесть работалась легко, в день он писал листов пять-шесть.

Брат Ваня, между тем, ездил в Тулу, там напиивался, заваливался к девкам, буянил. В Добродеево его возвращал полицмейстер Карпов, всегда с припиской: «От пострадавшего вечно страдающему». «Иван милый гад,— писал Тропинин Краевскому,— он ходит по адвокатским, пытаюсь доказать, что я сумасшедший, и отнять у меня Добродеево. Все над ним смеются. Он же серьёзен, как архиерей».

В августе, в первых числах, выходит в свет повесть Тропинина «Луг весь, Повесть о матери и сыне», — история злокачественной любви матери к сыну. Самое интересное тут — сын, недобрый, недовольный жизнью человек, который не даёт денег на похороны матери, и её хоронит деревня. Повесть вышла в «Городовом» и отдельной книжкой у Энгельса, девятьсот экземпляров. В это время Краевский пишет Тропинину: «Сева, повесть стоит. Не знаю, может, потому, что все в Ницце».

Мелезинда Нецелованная присылает в Добродеево венок из бархатных фиолетовых тюльпанов.

Приехал Арбеков. Любовь, которая разыгралась у его падчерицы со стареющим художником, застала его врасплох. Он дал молодой женщине всё— образование, воспитание, деньги, и сейчас, видя перед собой невменяемую дурочку, он глубоко страдал. «Я убью его!»— шептал он в ухо Тропинину, и от него пахло коньяком и убийством.

За ужином купец сказал, что желает влюблённым счастья. Чебутарёв сделал вид, что не понимает, Маша же, бросив вилку, ушла к себе.

На другой день Тропинин получил письмо от Веры Александровны. Он сидел и правил последние три страницы, которые написал перед ужином. Вера Александровна писала: «Дорогой Всеволод Ильич, забудьте всё, что я говорила Вам две недели назад ночью. Я Вас не люблю и никогда не любила. Я всегда любила Полухина. Вот он приехал, попросил прощенья, и мы снова вместе. Простите и Вы нас».

Тропинин, когда его поглощал рассказ, мог возиться с ним дни и ночи. Больше всего ему нравилось вычёркивать лишнее. Рассказ вдруг сделался не о любви, а об эгоизме. Добавились новые персонажи. Главные герои отошли на второй план. Работалось легко. Тропинин чувствовал, что избавился от каких-то пут.

Утром, когда он вышел в столовую, на столе рядом с тарелкой деревенского творога он увидел письмо от Вани. «****», как вы мне все надо-

ели!»— внезапно сказал Тропинин, прочитав и отшвырнув письмо, и все сидевшие за столом и оживлённо обсуждавшие что-то из московской жизни, замолчали.

Л.
Бог знает, откуда в наших краях берутся такие девушки (я имею в виду студентку Л., которую мы все прекрасно помним). Наши женщины обычно знают, чего хотят, а уж у нас, пусть мы отчаянно грубы и бесцеремонны, всегда найдётся, что им предложить. Однако для Л. — и это было понятно с первого взгляда — мы явно не годились. Начать хотя бы с того, что она никогда не смотрела в нашу сторону, шла себе и шла мимо нас, будто видела впереди кое-что получше. Но мы-то точно знали, что там, за полиграфическим институтом, куда она ходила учиться, были только хлебозавод и река.

При этом лицо её светилось, но не нашим, не здешним светом. Наш свет серый и тусклый — такие у нас края. Её же свет был золотой и ясный, как у новенькой монеты, и мы все с удовольствием им любовались. В такие минуты кто-нибудь из нас обязательно не выдерживал, вскакивал на скамейку и, ударяя себя по ляжкам, истошно кричал: «Эй! Эй! Эй!» Только тогда она одаривала нас самой что ни на есть развесёлой и насмешливой улыбкой, от которой становилось легко на сердце. Признаться, и я не раз проделывал такое. С воображением у нас не густо, наш ум, в силу обстоятельств, с детства привязан к простым словам и нехитрым мыслям, и всё, что мы здесь у себя особенно любим — это хорошо поесть. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы приготовить — а это наше любимое блюдо — картофельное пюре с мясной подливкой. Тут важно правильно подобрать картофель, что удаётся легко после двух-трёх уроков от сведущего человека. Другое дело мясо. Некоторые из нас предпочитают лопатку молочного телёнка, и это их право. На мой вкус, бульон из такого мяса недостаточно крепок для хорошей подливки. Поэтому я отвариваю голень взрослого быка, и только тогда бульон выходит на славу. То же самое помидоры — они должны быть перезрелые и крупные. А вот чеснок требуется молодой свежий, и нарезать его необходимо тонкими пластинами.

Сами видите, воображение нам вроде ни к чему. Поэтому сколько мы не старались, мы и представить себе не могли, что за судьба ожидает такую необычную девушку из нашего небольшого городка.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

Как бы удивительно это ни звучало, но с некоторых пор в моём доме живут две женщины, два несносных существа величиной с обыкновенную спичку. Должно быть, кто-то подложил их мне в карман в автобусе, или на рынке, кто-нибудь отчаявшийся, кто-нибудь, кто устал ухаживать за ними, или, того хуже, кто перестал понимать, в чём его задача. Угодить им и впрямь нелегко. Их разборчивость в еде, их требования к нарядам чрезвычайно прихотливы, как если бы явились они из таких краёв, где изобилие ничего не стоит. День их начинается со строгих взглядов и настойчивых голосков, почти всегда их интересуется, почему я до сих пор в постели? — «На часах половина девятого! Все мужчины давно на ногах!» — Особенно усердствует та, которая постарше. Чувствуется, с мужчинами у неё старые счёты. Я почти уверен, будь я на её месте, она, не раздумывая, прихлопнула бы меня, как муху. У неё красное лицо и чёрная копна волос. Я не могу разглядеть её глаз, но мне кажется, они тоже чёрные и — что самое главное — пышут гневом. Я ничего не знаю о них. Утром они не дают вставить мне слова, пока я не накормлю их сёмгой и бутербродами с джемом. После завтрака они демонстративно отворачиваются, как если бы меня не существовало, и начинают перепалку, либо о чём-то доверительно беседуют, изредка взглядывая в мою сторону, — наверное, если речь заходит обо мне. В конце концов я отказался от мысли узнать о них получше; и без того ясно, что они одного поля ягоды. Та, что помоложе, тоже не промах — ест с таким выражением лица, будто ей дали тухлятину, при этом её вычурные манеры — совершенно очевидно — продиктованы собственным жалким представлением о светской жизни.

Не знаю, чем они заняты в моё отсутствие, но, когда я возвращаюсь, я вижу, как мирно они спят, укутавшись в миниатюрные шубки из белого меха. Надо же, думаю я, с какой любовью и тщанием пошиты эти милые вещицы! Воображение моё обычно с трудом рисует себе людей, но тут я легко, словно хорошо его помню, вижу перед собой кого-то, кто бесконечно нежен и терпелив, как иудейский Бог. Не в силах удержаться, я осторожно (ведь они такие маленькие!) дотрагиваюсь до них; в ответ, не открывая сонных глаз, ловко, как змеи, они туго обвиваются вокруг одного из моих пальцев и лёгким касанием губ, точно пылинку сдувают, целуют его мягкую розовую подушечку.

КОЛЮЧКА

Колючке приснилось, что она надела сапоги, взяла удочки и стала удить вместе с Митрофановым с балкона. На Митрофанове был синий его костюм с орденскими планками и шляпа, от которой пахло дождевиком и капустой. В руке он держал не удочку, а старый зонт, и у него ничего не ловилось. Колючка же поймала копчёную колбаску с сыром и холодец со щетиной и хрящиками.

Проснувшись она в хорошем расположении и сразу побежала будить Митрофанова, но тот уже ходил в кухне и, судя по запаху, варил капусту с рисовой крупой, от чего у неё испортилось настроение и захотелось поскулить или убежать из дома. К счастью, у Митрофанова был кусок куриной кожи и жёлтая нога, и хотя Колючка предпочитала варёное или жареное, она покрутилась возле них, понюхала и нашла вполне съедобными.

Провозившись на кухне полчаса, Митрофанов со своей капустой вышел в комнату, сел напротив телевизора и мрачно стал смотреть в это диковинное окно, от которого у Колючки слипались глаза и тянуло снова поспать. И она с удовольствием заснула бы — тем более, что во сне не доела колбаску — но глядя в телевизор, Митрофанов имел привычку всплёскивать руками, и Колючке приходилось быть начеку, потому что однажды он едва не проколол ей бок вилкой.

Так она и лежала целое утро возле хозяина, заглядывая ему в лицо и ожидая любых неприятностей, но, наверное, в «окно» в этот день показывали что-то очень хорошее, потому что Митрофанов ни разу не вскинул своих тяжёлых рук и даже никак не выругался...

После телевизора Митрофанов снова принимался готовить на кухне, и Колючка теперь надеялась получить что-нибудь повкуснее, как, например, вчера, когда ей достался жареный куриный хвостик, жирный и солёный. Сегодня тоже был цыплёнок. Митрофанов бросил его на сковородку, и она успела разглядеть, что у цыплёнка нет ни хвостика, ни ног, и значит, ей дадут что-нибудь другое, получше. От нетерпения она вспрыгнула на табурет и стала смотреть на сковородку и ждать. Когда же мясо изжарилось, Митрофанов немного подумал и дал ей пупок и крылышко...

После обеда Митрофанов обычно спал или гулял. Колючке же после обеда очень хотелось прогуляться, тем более что вчера во дворе появилась новая кошка, которую она успела загнать на дерево, и которая, наверное, всё ещё сидит там, потому что кошки такие глупые. Она надеялась, что Митрофанов поможет ей достать кошку, и когда увидела, как старик тяжело нагнулся и стал за-

вязывать шнурки, радостно замахала хвостом и пару раз ткнула ему мордой в руки. При этом она вспомнила, что некоторое время назад он так же, завязывая шнурок, вдруг сделал несколько шагов вперёд и упал головой возле двери и что потом она долго облизывала ему лицо, а он не поднимался. И сейчас она хотела ободрить его, а чтобы он поскорее выпрямился, подпрыгнула и ударила его головой в лоб так сильно, что Митрофанову пришлось стукнуть её шляпой.

С некоторых пор они с Митрофановым гуляли только в городе, а когда-то, когда она была молодая, они несколько раз ездили на лесное озеро на рыбалку, и ей там было интересно и страшно. Колючка даже запомнила запах стоячей воды из того озера, и теперь каждое лето, когда тёплый ветер доносил этот запах до их раскрытого окна, она вскакивала и беспокойно кружила по квартире, где Митрофанов лежал под толстым одеялом и дышал, а ведро для рыбы стояло в прихожей сухое и без рыбы...

Приезжали на озеро под вечер. Митрофанов брал хлеб и начинал кидать в воду, и, пока кидал, Колючка обшаривала кусты в поисках голубей или кошек, но ей попадались одни лягушки. Когда она смотрела на них, лягушки сидели смирно, но стоило до них дотронуться, они взлетали в воздух и исчезали в высокой траве, и это казалось ей удивительным и забавным. Страшно становилось ближе к ночи. Митрофанов разводил костёр, и внезапно страшная чёрная темнота опускалась на всё вокруг, и не оставалось ничего, кроме маленького огня и Митрофанова. Не было ни города, ни полей, ни шоссе, по которому они ехали в автобусе, ни леса, ни лягушек — ничего не было. Колючка начинала вздрагивать от каждого шума, оглядывалась и ложилась возле Митрофанова, а тот невозмутимо курил и жарил на веточке копчёную колбасу, и это немного успокаивало её. Потом он молча отрезал от колбасы кусочек, дул на него и давал ей, но она не могла есть и съедала кусочек только утром. Всю ночь, лёжа с Митрофановым в палатке, она продолжала вздрагивать и просыпалась от любого шороха, и, видя, что Митрофанов спит, ненадолго забывалась сама. Под утро, когда с рассветом на землю возвращались и деревья, и высокая трава, и озеро, и небо, Колючка вылезала из палатки, шла пить к воде, и на лице у неё было написано изумление от свершившейся метаморфозы. Потом Митрофанов таскал из озера одну за другой упругую серебряную рыбу и швырял в ведро, а она в траве пугала лягушек. И хотя ей не нравились ни рыба, ни лягушки, в эти мину-

ты она любила Митрофанова за то, что он рядом и они оба такие смелые. И когда они возвращались в автобусе в город, она уже не помнила, что ей было страшно ночью, а помнила, как Митрофанов днём пытался накормить её вонючей рыбой, и Колючка даже съела одну из благодарности. И ещё ей хотелось спать, но она не понимала, от чего её клонит в сон, потому что в городе в это время дня спать не хочется. С тех пор утекло много воды...

Что ни говори, а на озере скучать было некогда. Зато во дворе нужно было смотреть в оба, потому что Митрофанов по глупости своей имел привычку раздавать кошкам косточки и отгонял её всякий раз, когда они ели. Уж лучше бы он ел косточки сам, — думала она, — ей бы не было так тяжело. Но Митрофанов, как назло, выйдя из подъезда, доставал из кармана бумажный пакет и, глядя по сторонам, говорил: «Кис-кис-кис!» — и от этого у Колючки наворачивались на глаза слёзы, и ей страшно хотелось кусать Митрофанова за ноги. Сегодня же шёл дождик, кошки, должно быть, разбежались по сухим углам, и Митрофанов, выйдя на улицу, молча положил косточки у подъезда и раскрыл зонт. Колючка на всякий случай быстро сбегала к дереву, где должна была сидеть вчерашняя кошка, но никого не обнаружив, быстро вернулась под козырёк и в один присест стгрызла ещё тёплые тонкие косточки.

От подъезда Митрофанов повернул направо, следовательно, сегодня они пойдут в магазин, потому что налево значило идти неизвестно куда и бродить до позднего вечера чужими дворами. Колючка бодро и привычно затрусилась рядом с Митрофановым, но через мгновение обнаружила, что убежала далеко вперёд и вспомнила, что с тех пор как упал возле двери, он стал ходить медленно, так медленно, что у неё лопалось терпение, а ведь в магазине было светло и чисто, и там одна женщина в халате всегда давала ей варёной колбасы...

В магазине Митрофанов обыкновенно покупал себе две бутылки пива и ржавую дохлую рыбку, такую вонючую, что когда чистил её, сидя перед телевизором, Колючка уходила в кухню и там с наслаждением вдыхала стойкий запах пережаренного цыплёнка. Едва вошли в магазин, она привычно побежала в торговый зал, быстро отыскивала там женщину с тряпкой, а та, завидев её, подошла к стеклянной витрине с колбасами, достала из-под фартука старый кошелек и купила кружок в два раза толще обыкновенного. Пока собака ела, уборщица, поправив платок, подошла к Митрофанову и стала говорить ему что-то ласковое, при этом Митрофанов, рассчитываясь с кассиром, слабо улыбался и кивал головой. Колючке так хотелось послушать, о

чём они говорят, что она наскоро похватила колбасу и прибежала в тот момент, когда женщина сказала Митрофанову «врач», а тот вежливо ответил ей «до свидания». Колючка знала, кто такая «врач». Врач была молодая женщина, она приходила к ним раз в три месяца, о чём-то говорила с Митрофановым и что-то писала в тетрадь. Но зачем женщина с тряпкой сказала про женщину с тетрадью, осталось для неё загадкой. «Вот бы хорошо, чтобы женщина с тряпкой стала жить с нами, — думала она по дороге домой, — тогда и Митрофанов мог бы есть варёную колбасу вдоволь».

Митрофанов купил не пива с рыбой, а бутылку водки и плавленый сыр, и когда дома Колючка увидела покупки, то обрадовалась, потому что то же самое он пил и ел в лесу на озере и потом пребывал в хорошем настроении, говорил мягко и ласково и чесал ей пятернёю живот. И теперь, лёжа рядом с креслом перед телевизором, она не боялась, а наоборот, радостно вытягивала шею и смотрела на его губы — как он прикладывает к ним крошечный стаканчик, как пьёт. За компанию она даже пожевала кусочек сыра, который ей не нравился, потому что был безвкусный и прилипал к зубам. Выпив всю бутылку, Митрофанов, не раздеваясь, лёг на диван и, лёжа на боку, стал смотреть в телевизор. Она же ползком подобралась к его лицу и перевернулась на спину. От Митрофанова пахло водкой — запахом молодости, когда ей с Митрофановым всё было нипочём. Он положил свою тяжёлую холодную руку ей на живот, Колючка закрыла глаза и от удовольствия даже дышать перестала...

Дня через три пришла врач. Все три дня Митрофанов никуда не ходил, а лежал на боку на диване и вставал только, чтобы сварить сосиску или в туалет. В груди у него, когда он спал, свистело и булькало, а утром он тёр ладонью грудь, тяжело вздыхал и смотрел так, будто всё видит впервые. Врач спрашивала дольше обыкновенного, Митрофанов отвечал неохотно, и Колючке даже показалось, что он ждёт не дожждётся, чтобы та ушла или перестала спрашивать. Но врач не уходила, а достала из чемоданчика штуковину с трубками, закрепила у Митрофанова на руке и вставила себе в уши. Потом долго писала. Уходя, она задержалась в дверях и стала что-то говорить Митрофанову, что-то, по-видимому, неприятное, потому что Митрофанов отмахнулся от неё, как от мухи, и Колючка, решив, что пора, принялась лаять на неё громко и отрывисто. Врач ей никогда не нравилась. Вдобавок от неё странно и невкусно пахло.

Митрофанов полежал ещё три дня, а на четвёртый надел плащ и шляпу, и они вышли из подъезда и повернули налево, что значит неизвестно

куда, и Колючка теперь не бежала вперёд, как в магазин, а исследовала окрестности. Дождь, кажется, не переставал всю неделю, листва лежала сырая, кошек не было и следа, зато возле сиреневого куста и возле доски с объявлениями она учуяла свежий запах Барона и тотчас вернулась под зонт к Митрофанову, испуганно озираясь. Барон был жирный злобный бульдог, и когда три года назад она подошла к нему познакомиться, он так больно укусил ей спину, что Митрофанов с размаху ударил его кулаком по голове, и с тех пор Барон не любил ни её, ни Митрофанова... Прогулки «неизвестно куда» были долгими и бестолковыми. Митрофанов с отсутствующим видом бродил между домами, заглядывал в чужие дворы, входил в магазины, где ей никто не давал колбасы, и делал это не спеша, заложив за спину руки. Иногда они выходили к широкому шоссе с высокими мраморными зданиями по бокам, садились на лавку и до вечера смотрели, как катят по нему в разные стороны быстрые машины. В другой раз попадали на речку. Речка была узкая, грязная, зато с красивыми каменными берегами и с каменным мостом. Митрофанов подолгу стоял на мосту и смотрел вниз на воду. По ней почти всегда плыли куда-то целые кучи мусора, и Колючка даже видела, как однажды из-под моста выплыла на боку дохлая кошка... Но сегодня они не пошли далеко, а завернули в соседний двор и очутились в стеклянном магазине, куда Митрофанов прежде не заглядывал и где почему-то пахло, как от врачихи, так что Колючка даже немного полаяла, чтобы испугать её, но больше не стала, потому что в магазине было светло и чисто, да и врач, наверное, ушла по своим делам. Вместо неё была другая женщина — постарше. Митрофанов сунул ей исписанную бумажку и рубли и взамен получил жёлтый пузырёк и зелёную коробочку — вещи необычные. И пока шли назад, она гадала, дадут ли ей поесть из коробочки или попить из пузырька, потому что из бутылки Митрофанов пробовать не давал, а ей всегда очень хотелось этого — чтобы быть сильной и ласковой, как он.

Но дома он спрятал пузырёк и коробочку в холодильник, и следующие три дня, к удовольствию Колючки, они ходили только в настоящий магазин, и там она объедалась колбасой, а Митрофанов покупал свою бутылку. А потом они вместе лежали на диване, и он обнимал её, и в телевизоре показывали одно хорошее. А ночью в груди у Митрофанова как-то по-особенному весело булькало и свистело. И от этих весёлых звуков Колючка никак не могла заснуть, радостно слушала и думала: «Хорошо с Митрофановым. Вот бы так жить долго-долго».



Россия

Москва

**Татьяна Евгеньевна
Виноградова (Смирнова)**

15.01.1965.

Родилась и живёт в Москве.

Поэт, литературовед, критик,
редактор, переводчик, график,
книжный дизайнер.

Окончила редакционно-издатель-
ское отделение факультета
журналистики

МГУ им. М. В. Ломоносова (1990)
и аспирантуру филологического
ф-та МГУ (1997).

Кандидат филологических наук.

Автор семи поэтических книг.

Член Союза писателей Москвы,
координатор секции поэзии Союза
литераторов России, член Творче-
ского союза художников России.

Участница литературной группы
«Другое полушарие».

Лауреат конкурса "Tivoli Europe
Giovani" (Рим, 1997).

Стихи и статьи публиковались
в журналах «Арион», «Кольцо "А"»,
«Юность», «Крещатик», «Журнал
Поэтов», «Другое полушарие», в
«Литературной газете», альмана-
хах «Словесность», «45-я парал-
лель», сборниках «Вчера, сегодня,
завтра русского верлибра», анто-
логиях «Il Cammino di Santiago. La
giovane poesia d'Europa nel 1997»
(Рим, 1997), «Согласование времен
2010. Поэзия третьего тысячеле-
тия» (Берлин, литпроект «Русский
Автобан») и др.

Татьяна Виноградова

О СМЕРТИ И НЕМНОГО О ЛЮБВИ

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ЮРЕ ЛОГАЧЕВУ

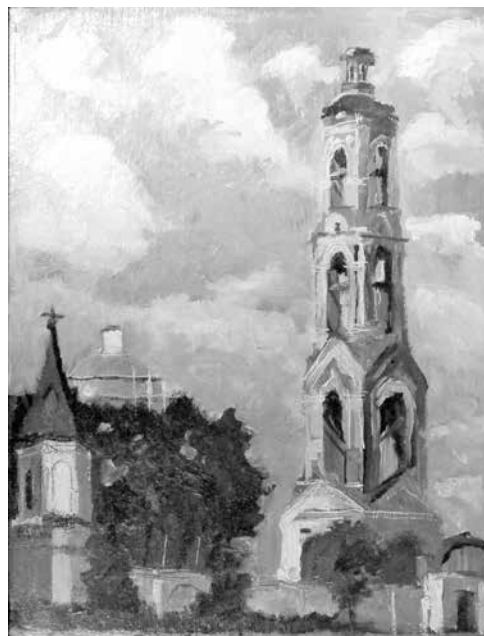
Далёкие огни — слишком близко.
Цветы на Луне слишком благоухают.
Тишина кричит слишком о многом.
А ты — слишком любишь меня.

Рушатся башни,
и самолёты
врезаются в землю.
Джим Моррисон
идёт мне навстречу.
Одичавшее небо
не прикроет своих детей.
Солнечный зверь
глядит мне в зрачки.
Змей расправляет кольца.
— Прячься, беги, уходи!..
Ну почему ты остался
здесь, со мной?

Я иду сквозь исчезающий город,
улицы извиваются щупальцами,
хватают за горло.
Улицы свиваются в свиток.
Время встаёт во весь рост.
Я иду сквозь исчезающий город,
И ты ждёшь меня, улыбаясь.

Болит.
Не зуб болит, не голова.
И даже не душа.
Ноет — и тянет,
грустно так, тихонько так.

Видишь — плохо мне, худо.
А от тебя толку никакого.
Портрет мой обещал написать,
да ещё улыбался, этак загадочно,
а в глазах карие бесенята плясали.



На озеро Бросно собирался,
Несси тверскую искать,
а ещё — на Афон, в паломничество,
и дома ремонт наконец закончить...

И где это всё?
Даже позвонить тебе некуда.
Разве так можно?

...Болит, болит.
Куда ни пойду, за что ни возьмусь, —
тенью накрывает,
чёрным платком,
хо
лод
ком.

— Это смерть твоя у меня болит.

30.03.2013

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Только этот лес и помнит ещё нас двоих. Но поляны той уже не найти, и тебя, мой друг, уже нет. А фонтан на площади замолчал. Пересох. Затих. Лишь мозаики стыннут на его неглубоком дне, да пустая чаша глядит вовне, и по краю её нарезает круги одинокий псих.

Столько лет прошло. Неизменен лишь «Серебряный мир». Помнишь, мы ещё удивлялись: какой поэтичный, мол, магазин. Ты мне серьги купил. Они потемнели, лежат в шкатулке, тоже на неглубоком дне. А из наших домов в Третьем микрорайоне не уцелел ни один.

Помнишь, в тот день трава волной пробегала под ветром, и в облаках золотых плавилась синь... А сейчас, в полночную стынь, шестиугольные плиты площади — пустые соты, без мёда. И молчит, обнажаясь, природа.

В этом мире осень, Юра. Всеобъемлет ноябрь. Слезозвёзд гроздь набухает... Слава Богу, слишком темно и не видно: вот, падают, прямо в чашу, на мозаику. Всё равно.

Здесь мы были счастливы. Много смеялись. Пили. Обмирали над росными бриллиантами на поляне — куда там Де Бирс!.. Говорили о Боге и — вздохнули любили. И ты писал по ночам пейзажи, с натуры. И мой фонарик тебе верно светил.

Зелен, зелен тем летом был Зеленоград, изумруд в серебре, городок на заре,— мегаполиса милый анклав, уходящей натурой пятиэтажек богат, безвозвратен и счастлив, и нам с тобой рад.

...Можешь быть, ты его вспоминаешь, созерцая тот вертоград.

НАВАЖДЕНИЕ

ставшая бредом явь
ставшие кровью сны
тело моё не оставь
душу мою возьми
город лежит во мгле

снег и весна и свет
тянется плоть к тебе
и избавленья нет

тёмный запретный ад
стоны земных богов
слаще любых наград
проклятая любовь

неумолимый зов
спать у тебя на груди
сорван последний покров
только не уходи!

А художник не умирает.
Он в свои уходит картины,
он уходит в свои миры.

Превращается в свет,
превращается в ночь,
звёздами глядит,
с вечностью говорит.

Ему теперь хорошо —
тепло, светло, и красок вволю,
и кисточки какие захочешь,
бесплатно.
И такое можно писать...
с натуры.

— Слушай, а ты там по памяти
напишешь мой портрет?



— Безумный король, где твоё королевство?
— В ночных небесах — там корона моя,
В ночных голосах — не из этого мира, —
В шорохах, шёпотах, блёстках эфира
По ветру мантия вьётся моя!..

— Несчастный король, где твоя королева?
— Вот, на руках я её укачал.
Просто уснула. —
Устала, наверно. —
Завтра опять у нас бал.

— Бедный король, снов и грёз повелитель!
Нет, не с тобой королева твоя.

За морем слёз суждена ей обитель.
Лучше я знаю,
И правлю здесь я.

— Да, дорогая?
У нас завтра бал?
Какую звезду в фероньеру ты хочешь?..
— Безумец, давно ты её потерял!
Стала звездой она в пропасти ночи!..

...Мёртвую куклу с улыбкой качая,
Счастлив, спокоен, сидя в ночи
На троне среди разорённого края,
Лунным сияньем окутан,
Молчит.



По телевизору показали яблоню,
расцветшую второй раз в году,
в самую августовскую горящую сушь.
Стоит, ветки иссохли,
бурые листья почти облетели.
Наверное, ей больно и страшно,
и очень хочется пить.
Обычная такая, в общем, яблоня средних лет.
Но...
Из последних сил сумела вновь расцвести.
Трепещет, мерцает в дыму —
 белой фатой,
 прохладной звездой.

Наперекор всему.
После такого она точно засохнет,
эта яблоня в полном цвету.
И в новостях восхитятся:
— Какая прекрасная смерть!

Опрокинутые верхушки деревьев
(всё время)
и уверенно шествующие вниз головой прохожие
(иногда) —
в серо-зеркальной бездонной луже
на асфальте у моих ног.

А я всё сию.
...В глубине Лужи Для Медитаций
незаметно, застенчиво, по одному,
появляются первые жёлтые огоньки,
сбежавшие из своих окон.
И головы прохожих уже почти неотличимы от
верхушек деревьев,
И серо-зелёный свет заставляет листву на
этих верхушках
быть похожей на спешащие головы...

Но ты, наверное, возвращался сегодня домой
другой дорогой.

Моя мать стала терять слова.
Понемногу, не сразу, почти незаметно.
Хочет сказать, слово живёт в глазах,
а «на выходе» — немота.
Но выручал контекст
и обычно мы с ней прекрасно понимали друг друга.
Всё чаще замолкала она вот так,
глядела сердито, ловила взглядом
затаившееся, затихшее слово.
«Ну этот, как его? — Ну, этот... эта... А-а!... —
нетерпеливый взмах рукой. — Да ладно,
чёрт с ним».

Теперь чѣрт часто гостил у нас.



И настал день, когда слова покинули её совсем.
Все и сразу.

— Ёо быу́р-ва? — спросила мать раздражённо,
врываясь на кухню. —

Ёо лым? Оро́ко бра вла ка́? Ка́ ва ля? Пла́ е ри? —
и она продолжила бегать по квартире.

— Пег ёло тек, пеп ёло тек, кевара!
Мо́ но бе! Но́ мо бе! Бе! — настаивала она.
— Велези́? Бенеми́? Мо бе́но! Бенобе!



...Несомненно, то был язык.
Мать силилась объяснить: вопрошала, умоляла,
заглядывала мне в лицо.

Казалось, я вот-вот пойму —
слова, как пазл, были разбиты на слоги и звуки,
и просто собраны не в том порядке.

— Вал-ис, калапам, пегре.
В ответ я усадила её в кресло
и, вспомнив американские фильмы-катастрофы,
зачем-то укрыла пледом, как жертву стихии.
— Релеке́, кела́ма, кела́ма! — плед был отброшен.
Я уже набирала «ноль три».
— До на́ не ру ско́!
(«Не надо “скорую”!» — сложила я пазл.)



Пока ждали врачей, до меня вдруг дошло:
всё это время
только одно слово
было абсолютно понятным
в бобочущей зауми,
только одно слово
светилось в инсультном лепете
некрещёной воинствующей атеистки.

...Очень внятно,
очень отчётливо,
снова и снова
моя мать произносила,
точней — выдыхала:
«Господи! Господи! Господи!»



А я добавлю сейчас: помилуй нас, грешных.

2009, март-апрель 2014



ВОСКРЕСШАЯ

Сестрою быть. Всё время быть второй.
Талантливой — но нет, не гениальной.
Хоть со своей, нелёгкою судьбой,
но — не трагической, не театральной.

И вдвое дольше *той* прожить.
Увидеть времена, что и присниться не могли
двум гимназисточкам —
их смех ещё звучит в Трёхпрудном.
Стать тенью, двойником — закатным, хрупким.
И ждать. И повторять: «Путём зерна»,
«путём вся земли»...

И в мемуарах душу отводить.
Тихонько в одиночестве смеяться...
Молиться. Богу. В церковь ходить.
И больше смерти встречи с *той* бояться.



* * *

Твоё зеркало засыпано пеплом.
А в моём спит туман.
Что отразится в них утром?

* * *

Елене Зейферт

Повзрослевшая Герда
возделывает свой сад —
в нём расцветают розы и сказки.

Смотрит по телевизору, как тает
сложенная Каем из льдинок «Вечность».
Глобальное потепление. Такие дела.

А Кай давно развёлся с Гердой,
работает сисадмином
и Андерсена терпеть не может.

...Но оба жалеют Снежную Королеву.

БРЮНХИЛЬД – СИГУРДУ

Предначертали норны
в снах и велениях тёмных
быть нам с тобою рядом,
но порознь, навеки порознь.

Поздно вспомнишь ты клятвы,
поздно вспомнишь меня.
Вспомнишь осень над фьордом,
вспомнишь холодный туман...

Предначертали норны
любить нам друг друга, Сигурд.
Предначертано также:
на свете нам тесно вдвоём.

Предначертали норны
любить мне тебя, Сигурд.
Ты же, меня полюбив,
забудешь по воле Судьбы.

Как проступают руны,
стёртые, но живые,
память твоя очнётся,
вспомнишь, что будет с тобой.

Злою любовь наша будет.
С тобой мы разделим ложе
— в доме с дверью на север,
свитом из змей живых.

Другая взойдёт на ложе,
на брачное твоё ложе.
Но страшными будут сны,
ещё страшней — пробужденье.

...Тягостны дни без солнца,
тягостно Хрофта молчанье,
но всего тяжелее
знать то, что нельзя изменить.

...Но не хочу больше видеть
будущего очертанья.
Нынче с тобой мы вместе,—
и солнце сияет в ночи.

СРЕДИ РУИН И МАРГАРИТОК (НИМФЕОН)

Когда в Москве я спускаюсь под землю, то это — переполненное, даже в полночь, метро, всё в мраморе и засиженное бомжами, грохочущее вагонами и шелестящее рэповой музычкой из наушников соседа с дредами.

— Брат! — кричу я ему. — Ты меня слышишь? — Знаешь, брат, что я тебе скажу? Я хочу выйти. Выпусти меня, брат!..

.....

...Когда в полдень на акрополе города Родоса я спускаюсь под землю, то это — Нимфеон.

Там, среди крупных, похожих на ромашки, греческих маргариток, среди этих белых, диких, невинных цветочков серые камни стоят — в ржавчине лишайника, в патине времени.

...Полуразрушенная лестница. Буйство весенних трав. Известняковые своды грота увешаны тенями и прохладой, оплавлены медлительным огнём тысячелетий. И с каждой ступенькой всё тише вокруг.

...То есть на акрополе в апреле и так тихо, вместо туристов — цикады да ласточки, да ещё ящерики — иногда. И все они, слава богам, говорить не умеют.

Но тут, под этими сводами, тишина тяжелеет, клубится, сгущается. Я пью тысячелетний настой тишины.

Нимф пока не видно. Вот, что-то такое мелькнуло, какая-то тень, на краю зренья. Будем считать, что ящерка. Ну да, ящерица, конечно. «Ящер, больше ничего» — «this it is and nothing more». Но лучше, пожалуй, вернуться. А то здесь, внизу... холодно как-то.

Жара. Ветерок. Никого. Раскалённое белое небо. Мелкие лиловые цветочки (фиалки — не фиалки?) выстилают круглую лужайку у входа в святилище.

И качаются под ветром маргаритки.

...А здесь они танцуют, — ни с того ни с сего подумалось мне. — Поздней весной, под полной луной, — и шепчут свои наивные заклинания, обрывая бледные лепестки:

«М'агапá — ден м'агапá...» — «Любит — не любит...»

Каждой девочке, что на Родосе, что в Москве, известно это колдовство. Правда, ввиду нехватки маргариток, нам в России приходится гадать на ромашках.

«Они» — танцуют — здесь? Кто?! — Нимфы? Призраки? Жрицы?..

*«Здесь мы танцуем, здесь,
на плодоносной, тяжкой земле,
в полдень, под белым покровом небес
в полночь, под полной луной, и во мгле,
Скоро увидишь, скоро поймешь,
скоро весне конец!»*

Что?.. Что такое? Ветер, больше ничего. Кстати: а маргаритка по-гречески так и будет: «маргарита» — жемчужина.

О, танец нимф в зачарованном круге!.. И сплетались гирлянды маргарит, эвридик и офелий... Жемчужные, нежнейшие создания, они скользят над облачком фиалок-нефиалок, такие юные... Увидеть бы!

Но нет — мне досталась лишь горячая тишина. И, в тишине, — шелест:

*«Мы старые, старые, немощные, все нас позабыли!
Никто не любит нас больше,
никто не оставляет нам подношений...
И мы голодны!
Дай, дай, дай нам своё сочное красное яблоко!»*

Оглядываюсь. На холме — ни души. Лишь вдали — пастух и коровы, и дорические колонны. И ветерок так жалобно свистит среди руин и маргариток... Эта жара сводит меня с ума!..

Осторожно кладу яблоко на древний серый камень.

Шорох. Шелест. Ласточки. Цикады.

— Вот, опять голоса. Такие тихие:

*«Мы теперь старые, мы теперь уродливые!
Никто больше о нас не помнит! Никто, никто!
И даже маргаритки отворачиваются,
когда мы спрашиваем у них: «М'агапá — ден м'агапá...»
Но это с нами, с нами танцевала Эвридика!!!
— А ты пришла! Ты к нам пришла сама!
ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ нам твоё красное тепло!»*

...Эври... дика. Дико болит голова. Ой. А солнце-то к вечеру! Что я здесь делаю, совсем одна, среди руин и маргариток?

Жара. Цикады. Ни души.

Я. Ничего. Не. Слышала.

Ничего!

И Эвридика никогда не бывала на острове Родос! Уж это-то я точно знаю.

...Ненавижу эту жару! Но... почему мне так холодно? И где, чёрт возьми, моё красное яблоко?

...Эй, брат, ты меня слышишь? Знаешь, брат, что я тебе скажу? Я хочу оказаться в московском метро. Прямо сейчас!



Нью-Йорк
США

Юрий Георгиевич

Милославский – прозаик,
поэт, историк литературы.

Родился в Харькове.

В 80-е годы постоянный автор
журнала «Континент». Почёт-
ный член Университета Айовы
(США) по разряду изящной словес-
ности (1989).

Член американского ПЕН-центра.

Автор романа «Укреплённые
города» (1992), повести «Лифт»
(1993), циклов рассказов «От
шума всадников и стрелков»
(ARDIS, 1984), «Скажите, девушки,
подружке вашей» (ТЕРРА, 1993),
книг-исследований «Знамение
последних времен» (2000)

и «Странноприимцы» (2001);
воспоминаний об И.А. Бродском
(2007, 2010); сборника «Возлюблен-
ная Тень» (2011).

Copyright©by Yuri Miloslavsky

Юрий Милославский

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

ПРИГЛАШЁННАЯ

В издательстве «АСТ» (редакция Е.Шубиной) вышел в свет новый роман Ю.Г. Милославского «Приглашённая».

«Топографически» основное место действия романа – Нью-Йорк, но в части, условно говоря, ретроактивной события происходят в одном из старых больших южнорусских городов.

Во всяком случае, в романе постоянно присутствует особого рода городской пейзаж, подробно, до последних мелочей выписанный, с упором на эстетику art déco и art nouveau, которая, так или иначе, оказывается своеобразным фоном всего происходящего.

Повествование ведётся от имени некоего Н.Н. Усова. Читателю предлагаются его записки: рассказ о юношеской любви, которая так никогда и не оставила рассказчика, «подменив», по выражению авто-ра-героя, его личность.

С разрешения издательства и автора, мы публикуем «нью-йоркские» отрывки из романа.

Почти ежедневно, в любую погоду, я совершал прогулки по высоко проложенному прибрежному бульвару, наблюдая, как небольшие, но мощные буксиры, – ярко окрашенные и забавно усечённые, отчего казалось, будто по реке плывут этикие «полкораблика», утратившие всю кормовую часть, – волочили (или толкали перед собой) здоровенные неряшливые баржи, гружённые строительными материалами. Река была весьма полноводна и хороша, со скальными порогами, но смотреть с набережной на самый берег её – я избегал: он был завален горами разнообразного мусора: от пришедших в негодность унитазов, причудливо изувеченных кроватей, иных, утративших первоначальный облик и название, фрагментов людского обихода, – до постоянно подбрасываемых пищевых отходов, служивших снедью грубым крикливым чайкам и молчаливым робким крысам, принадлежащим к распространённому в здешних краях изводу, – мелкому и тёмно-серому.

Мосты Трайборо и Врата Адовы отклонялись вправо, проходя над островками Рэнделла и Варда, а буксиры, – порожние и с прицепом, – забирая налево, выплывали по Гарлемке на широкую Восточную Реку, к дальним причалам острова Манхэттен, эллиптический выгиб которого был круто повёрнут ко мне тыльными стенами домов, что стоят на его 90-х – начальных 100-х улицах: там, примерно в полумиле от меня, – всё было закатно, смазано, с живописными потёками и отколами штукатурки: кофе с неразмешанным молоком, ржавчина, маренго, кое-где малиново-чёрное вяленое мясо.

Но эти гигантские строения, некогда смутившие впечатлительного Владимира Галактионовича Короленку, эти колоссальные зиккураты, усечённые пирамиды, ступенчатые прямоугольные выросты, сталактиты, друзья, римские термы и палаццо, увеличенные в десятки раз в сравнении с прототипами, – всё это вовсе не представляется мрачным, грозным, зловещим и нисколько не подавляет, как иногда принято говорить и писать. Прибавить

к тому, что они, т.е. названные объекты, давно уже не внушают никакого восхищения техническими возможностями человечества; тем более, что наше пышное манхэттенское великолепие было закончено возведением по крайней мере три четверти века тому назад, — и по тогдашнему обыкновению обильно украшено нарочито сумрачными и томными поделками: металлическим и стеклянным литьем, разнообразной измышленной геральдикой, лепниной, ковкой и цветной штукатуркой.

Наши «небоскрёбы», — или, как звались они прежде — наши «тучерезы», — они кажутся уютными и печальными, пожалуй, даже смиренными, добродетельными, — и — необычайно рано состарившимися. То ли наш остров таил в себе зародыш прогерии*, то ли из его жизненного цикла была чудесным образом выпущена срединная стадия: за отрочеством последовала кратчайшая бурная молодость, — и за одну-две ночи её сменила протяжённая стадия увядания, в которой мы теперь пребываем.

Та энергическая, будто бы победительная мощь, некогда взметённая на клёпаных балках прямо от грунта в небеса, убеждённая в том, что завтра будет ещё лучше, а послезавтра — и совсем зашибись, — она куда-то ушла, расточилась, стала непредставимой и невоспроизводимой; но при этом всё обошлось без приступов отчаяния и гнева, без хлопанья дверьми, без падения с потолков изящных, — в виде латунного переплетения орхидей и полевых лилий, — люстр.

Быть может, есть только лёгкая растерянность во взглядах моих компатриотов.

И хоть изредка и взрываются жёлтые наши таксомоторы, ведомые суровыми сикхами в чалмах, а жизнелюбивый молодой негр, одетый в чёрную майку-балахон с серебряными изображениями танцующих скелетов и особенные портки с мотнёй пониже колен, громко напевают похабную песню, при этом чуть ли не расталкивая широкими плечами встречных-поперечных, — всё это напрасно.

Кстати, сикхов становится всё меньше и меньше, да и этот озорной негритянский парубок, какие ещё сравнительно недавно подвизались у нас на острове тысячами, теперь едва ли не в одиночку обслуживает значительные срединные участки Манхэттена — прибол, от магазина Bloomingdales на восточной стороне Lexington и 59-й улицы и аж до почтового отделения на 90-й и 3-й авеню. Поэтому мы встречаемся с ним так редко.

Всё, т.с., миновало, и остров Манхэттен, сам того не ожидая, неведомо как, но обрёл вождельный покой; тихо осклабясь, он спит-спит-спит смертным сном; он окрашен в приятные глазу тусклые тона подгоревшей шоколадной пенки, нечищенных глазурованных горшков, он покрыт лиловыми, с радужностью полупрозрачными налётами, какие возникают иногда на старом, непромытом оконном стекле.

Отметим, что манхэттенские постройки довольно хрупки. Потому-то над прохожей частью улиц в самых чувствительных местах установлены сетчатые, дощатые и фанерные навесы, с намерением уберечь нас от повреждений, которые могут быть причинены обрушением с высоты частиц всего того, что нами уже перечислялось или только ещё будет перечислено. Эти навесы вдобавок препятствуют бессмысленному засматриванию в горние области. — Да и что мы смогли бы там увидеть? — ведь наши химеры (в отличие от химер европейских, они непременно заняты каким-либо делом, вроде чтения книг, раскуривания трубок или хотя бы уничтожения кошек), — наши индустриальные грёзы, вроде опутанных электрическими проводами локомотивов, наши мозаики с изображением загробной жизни индейских племён, — они находятся на уровнях не ниже 20-го этажа, так что наблюдателю в принципе невозможно избрать подходящую позицию и полюбоваться их красотой. Когда-то, в эпоху открывающихся окон, мы могли как следует наглядеться на занимательный вид украшений домов соседских. Но сегодня это не так доступно и никому не интересно. Зато, взойдя в парадное, собственно, только приблизясь к входным дверям, а затем — находясь уже в прихожей, и далее — в лифте, мы можем быть вполне уверены, что дверные ручки, перила, витражи и решётчатые створки воротца, ведущие в лифт, — исправно повторяют, в своём, конечно, пропорционально уменьшенном роде, то, что мокнет, сохнет, покрывается патиной, трескается, слоится и сыпается известковой трухой на внешние поверхности навесов, за пределы которых мы, что бы то ни было, глазами не достигнем. Но и внизу недурно. Здесь нет, или почти нет, гадкой запущенности и смрадных отбросов, какие мы только что обнаружили на асторийском берегу Гарлемки. Во всяком случае, они незаметны. Есть лишь позволительная в пожилых бездетных семьях опрятная затрапезность, допустимая замусоленность; здесь устали от погони за недостижимой чистотой помещений. А если зайти в Центральный Парк, лучше всего с восточной стороны, сквозь так хорошо знакомые мне Инженерные ворота, т.е. на уровне «музей-

*Патологическая ранняя старость (IOM).

ной мили», чтобы после долго-долго идти вниз, хоть бы и до самой до 57-й, то становится ещё лучше. Вокруг Водного Резервуара им. Жаклин Кеннеди-Онассис в том или ином направлении бегут с оздоровительными целями мужчины и женщины всех возрастов; под мостовой аркой, что напротив музея Соломона Гугенхайма, играет на ярко надраенном саксофоне нагловатый нищий; скверно играет, но нужды нет: облагороженные и усиленные бетонными сводами звуки старинной кабацкой песенки становятся полней и объёмней, — так что прохожий, исподволь охваченный залихватскою хмельною печалью, сперва начинает ритмически вскидывать головой, а затем подпевать: *Saint Louis mornings ... And when the sun goes down... it's my native town...*, хотя, конечно же, саксофон — неподходящий инструмент для этого случая, — здесь нужен кларнет Сиднея Беше, — а родной город прохожего — совершенно другой.

Но примечательнее всего в парке — это ряды именных мемориальных скамеек. Скромные, неширокие, окрашенные в цвет тёмной древесной листвы, они несут на своих спинках металлические таблички с гравировкой: «Здесь любил отдыхать незабвенный Джейкоб Кушнэр; в память его — от любящих детей и внуков» — «Здесь часто сживали тёплыми вечерами незабвенные Эва и Эллиот Фридмэн; да будет благословенна их память — от семьи» — «Здесь отдыхал от своих неустанных трудов мой незабвенный супруг Грегори Голдстин, так много сделавший для своего района». Впрочем, большинство надписей не содержат распространённых объяснений: «В память судьи Бенжамина Стерна; наших родителей Мэри и Чайма Гиндэсс; Абрахама Пулски, Энн и Барри Корчмэр» и проч. И представляется, будто бы с каждым днём этих скамеек становится всё больше и больше. Они проникают в любую аллею, где их приходится устанавливать в два ряда, — напротив друг друга; они окружают каждый здешний водоём и каждый фонтан; каждое крупное дерево; наконец, двойные ряды их протягиваются вдоль всех главных улиц и проспектов острова Манхэттен, от Челси вплоть до Гарлема, — где за их сохранностью было бы почти невозможно уследить. Становится тесновато; и если бы не заметное падение числа прохожих и проезжих в нашем и без того переполненном городе, дальнейшая установка мемориальных скамеек вступила бы в противоречие с правилами уличного движения. Много, однако, удалось разместить по станциям метро, а впоследствии — вдоль всех рельсовых путей в тоннелях, у самых стен, для чего стандарт-

ную ширину сидений пришлось уменьшить на сколько-то дюймов. Таблички с именами усопших то посвёркивали в мерцающем желтоватом свете коммуникационных подземелий, то вновь погружались в темноту.

Таков остров Манхэттен.

.....

Галерея Нортон Крэйга располагалась в переулке, собственно, в междуквартальном переходе, отходящем в юго-восточном направлении от существенной манхэттенской улицы Delancey (Дилэнси), известной практически любому нью-йоркскому обывателю по давней присказке «fancy Delancey» (шик по-дилэнсийски). Затруднительный для дословного перевода смысл её состоит в том, что на этой, кстати, весьма широкой и презентабельной улице некогда располагалось великое множество портняжных мастерских, а также лавок и пассажей, где велась купля-продажа дешёвого и подержанного готового платья. — Пошивом и торговлей здесь занимались выходцы из местечек, покинувшие Российскую Империю в конце XIX — начале XX вв.

Всё это постепенно истощилось и сгнуло, так что наряды с конфекционных Дилэнси едва ли отыщутся теперь и в самых фешенебельных магазинах по продаже retro-одежды.

Но кое-что из моделей «fancy Delancey» уцелело в галерее Нортон Крэйга.

Притом, что звалась она «Икар», эта галерея была более известна в Манхэттене как «Шляпы» или «Старые Шляпы», т.к. чуть ли не до середины 50-х годов прошлого столетия это помещение принадлежало ателье головных уборов. В его единственной витрине пребывали нетронутыми две восковых головы на обтянутых сукном цилиндрических основаниях: женская белокурая и мужская с чёрными усиками шнурком. Женский образ был в накрёпленной на правую бровь тёмно-синей шапочке-«таблетке» с едва припущенной вуалью; а на мужском сидела лихая «гангстерская» коричневого цвета мягкая федора с заломом. — Головы приходилось иногда поновлять. У хозяина было кому поручить эту тонкую работу: он лишь следил за тем, чтобы никакой отсебятины в сочетании красок не вносилось, и образы в головных уборах сохраняли поразительное выражение непоколебимой, томной безмятежности, которого в наши дни не встретишь ни у кого, будь то человек или манекен.

Накануне карнавала в День Всех Святых головы убирала, а «таблетку» и гангстерскую шляпу Нортон Крэйг нахлобучивал на искусственные

черепа, освещённые изнутри мерцающим электричеством. Черепу, носящему «таблетку», были приданы ещё и «губки бантиком», для чего рубезки верхней и нижней челюстей подрисовывались красной помадой. — В праздничные дни эта неприхотливая готика традиционно притягивала к себе компании молоденьких чернокожих девиц, которые, всякий раз подойдя к окну, взвизгивали от притворного ужаса — и с хохотом бросались в объятия друг дружки или своих кавалеров.

Ходили слухи, что будто бы Нортон является обладателем ещё нескольких десятков упакованных в картонки головных уборов, произведённых модельерами бывшей шляпной в канун Великой Депрессии и не востребованных оставшимися без гроша заказчиками. Мне об этом ничего не известно.

.....
Графику, созданную в исправительных учреждениях, Нортон Крэйг добывал у родственников заключённых, — преимущественно жён и матерей. Как правило, эти рисунки были частью — или приложением — к письмам из тюрем. Работы узников, обычно выполненные шариковой ручкой с тонкими стержнями, отличала тщательная, филигранная техника при малых размерах, отчего разглядывать их надо было долго и с близкого расстояния. Изготовленные случайными любителями, которым, оставаясь они на воле, не пришлось бы на ум заняться изобразительным искусством, — у них были другие увлечения, — экспонаты Нортон Крэйга обнаруживали если не художественный талант их авторов, то несомненный страстный порыв, свойственный наговору и заклятию. Чем подробней и настойчивей были прорисованы и неумело отштрихованы даже наиболее бесхитростные объекты, вроде женских грудей, ножек, причудливо сопряжённых половых органов, тем большее приворотное очарование в них содержалось и тем настойчивей они приковывали к себе взгляд посетителя. От некоторых из этих картинок было невозможно оторваться без усилий: в них присутствовали выраженные симпатические свойства.

Кроме прелестных, но однообразных, начисто лишённых оригинального содержания «предметных каталогов», куда входили все основные части человеческого тела, годные для половых наслаждений, нередко встречались и достаточно сложные сюжетные композиции самого странного свойства. В настенной, открытой части экспозиции наиболее прихотливым из них делать было нечего, и Нортон помещал их в солидные

кожаные альбомы с вытисненной бронзовой монограммой галереи. Так, мне была показана коллекция из двух дюжин писем заключённого, адресованных сестре. Автор их в мельчайших подробностях изобразил своё возвращение из тюрьмы к неверной супруге. По жанру это был своеобразный «немой» комикс, но мне он казался в чём-то сродни плетению сюжетов на античных вазах или символике на торсах наших профессиональных блатных, которых я достаточно повидал в молодости.

Привожу последовательное краткое описание данной серии.

Герой появляется внезапно. Его встречают охваченные ужасом домашние: сама изменница, её любовник и пятеро детей: три девочки, из которых одна уже не ребёнок, и двое мальчишек дошкольного возраста. Младенец женского пола лежит в своей кроватке; дитяти не больше шести-семи месяцев. Изменница пытается сделать вид, что необыкновенно рада супругу, но он резко отстраняет её, и она летит на пол; при этом заголяются её соблазнительные ноги и одна из бретелек платья спадает с плеча, открывая сосок. Любовник мешкает, и герой наносит ему удар, от чего тот лишается сознания. Затем он привязывает обмякшее тело к креслу. Разрезает на бедняге штаны и холостит его. Окровавленный тайный уд соперника герой бросает в физиономию неверной жене, продолжающей полулежать на полу, упираясь затылком в угол. Перейдя к детям, которых он, возможно, отказывается признать своими, герой начинает с того, что вынуждает старшую удовлетворить его первую похоть. В дальнейшем им затевается оргиастический шабаш. Постепенно в него втягиваются другие действующие лица трагедии, за исключением умершего или пребывающего в беспамятстве любовника, неверной жены и младенца. Оргия всё длится, и в ходе её герой поочерёдно убивает прочих участников, складывая их трупы у ног изменницы, так что она оказывается почти погребённой под чудовищной грудой. Наконец, герой обращается к рыдающему младенцу. Он извлекает его из постели, берёт на руки — и принимается подбрасывать. Вскоре малютка перестаёт плакать и начинает смеяться. Мы видим её под самым потолком. Её костюмчик покрыт кровавыми следами, оставленными на нём ладонями героя. Снова и снова подбрасывает он смеющееся дитя. Мы невольно ожидаем страшной развязки. Герой, придерживая несомненно чужого ребенка на сгибе левой руки, правой хватается за нож и подходит к изменнице. Та мо-

лит его о пощаде. Герой отдаёт ей нож рукоятью вперед. Она медлит, но вскоре принимает решение. Вскочив с пола, она вонзает лезвие в сердце кастрированного любовника. И наконец, герой и прощённая с младенцем в коляске покидают жилище, ставшее прибежищем мертвецов. На последнем рисунке все трое изображены со спины: муж и жена идут по пустынной улице, над которой восходит солнце.

Помню, что я был немного озадачен, но позволил себе только поинтересоваться, во что станет этот альбом, хорошо ли расходятся такие картинки, кто их покупатели и тому под. На вопрос о цене Нортон не ответил, а насчет остального сказал, что галерея относится к категории бесприбыльных корпораций. Действительно, просидев до обеда в «Старых Шляпах», мы не дождались ни одного посетителя, хотя день был воскресным. Это означало, что продаж у него нет практически никаких, а заработки ему идут от каких-то иных занятий, а может быть — от благотворительных фондов. Как вскоре выяснилось, я не ошибся.

Произведения узников, очевидно, составляли меньшую часть экспозиции. Основное место занимали работы бездомных. Эти-то работы Нортон Крэйг получал непосредственно от художников, которые, в большинстве случаев, создавали свои рисунки по его заказу.

Поскольку с галереей «Икар» косвенно связаны все дальнейшие события, вследствие которых я и предпринял свои записки, мы остановимся на ней и на её владельце чуть подробнее.

Нортон Крэйг был рослым и здоровенным дентиной, лет сорока с небольшим, а то и меньше. В нем чувствовалась, быть может, скандинавская, «варяжская» кровь; блондин, с исключительно светлого окраса голубыми глазами, в неизменной своей потёртой каскетке с длинным изогнутым козырьком (род бейсбольной кепки), в застёгнутой до последней пуговицы куртке и заправленных в низкие сапоги с тёмными латунными пряжками хлопчатобумажных штанах, он выделялся, прежде всего, внушительной и отдалённо-грозной медлительностью. — Нашему уличному стилю (он же — стиль спортивного бара или клуба с распивочной и девицами), напротив, свойственна подчёркнутая бесшабашность мимики, телодвижений и, в частности, походки. Эта манера некогда считалась (и была) специфически негритянской, берущей своё происхождение от особого плясового ритма, который так легко и незаметно вселяется в сынов и дочерей чёрной расы, и, всецело охватив человека, уже не оставляет его, покуда плясун не теряет (или сознатель-

но не покидает) природной своей воздушности, которую не в силах преодолеть даже значительная тучность.

Но сегодня воздушная разнузданность моторики (равно приобретённая и врождённая) практически утратила всякую зависимость от цвета кожи.

.....

В обращении Нортон Крэйга отсутствовал даже самый минимум жестикуляции, вообще хоть какого-нибудь соматического сопровождения и подчёркивания произносимого — даже при самом оживлённом обмене словами ни пальцы его, ни брови не изменяли той позиции, в которой застал их собеседник.

Само по себе выражение его мясистого, но довольно бледного лица, пробиваемого не чаще, чем дважды на неделю, представлялось, скорее, приятным: именно своей ненавязчивостью, отсутствием намёка на любую мыслимую гримасу: оно ничего не провозглашало: ни каких-либо предупреждений быть поосторожнее, ни собственного — дурного или скверного — настроения, ни реакции на окружающее.

Однако даже самый легкомысленный встречный никак не соблазнился бы на неблагопристойность или грубость по отношению к Нортону Крэйгу, — не из прямой боязни, а потому, что весь облик его выводил подобные действия из пределов допустимого.

Владелец «Старых Шляп», казалось, испытывал ко мне добрые чувства. Я был радушно им принимаем всякий раз, когда бы я не попадал в район Дилэнси, — а посещать его следовало, как правило, днём, не позднее трёх-четырёх часов пополудни, т.к. в сумерки Нортон отправлялся, — цитирую, — «навещать своих подопечных»: бездомный люд, из среды которого выходили его пасомые — создатели графических листов для экспозиции в галерее «Икар»-«Старые Шляпы». Нортон возился с ними до глубокой ночи, большей частью пешком проделывая достаточно длинные концы, бывало, что и за пределами острова Манхэттен.

Я считал для себя неловким выяснять у него, где же собираются на ночлег эти удивительные племена; удивительные, потому что, при полном внешнем сходстве с людьми не-бездомными, они столь разительно отличаются от них, точно у нас нет общих предков. — Это я успел заметить ещё задолго до посещений галереи «Старые Шляпы», — и данное открытие относится к тем немногим, которые мне удалось совершить самостоятельно.

Разумеется, я поспешил сообщить о нём Нортону Крейгу. Выслушав меня, он заметил, что ощущения мои кое в чём справедливы, но по своему неведению я не могу их верно истолковать. Всё дело в точке отсчёта: бездомные появились на Земле много прежде не-бездомных, так же как, например, нагие — предшествовали одетым. Вернее будет сказать, что не-бездомные произошли от бездомных. Из этого следует, что возвращение к состоянию бездомного есть возвращение к истокам. Более того: вся история человечества, при беспристрастном рассмотрении, описывается в категориях войны бездомных предков с не-бездомными их потомками. В этой войне победа осталась за не-бездомными. Тому есть причины, но останавливаться на них он, Нортон Крейг, не видит толку; впрочем, «ты, Nick, кажешься достаточно сообразительным, и если у тебя найдётся желание и досуг поразмыслить, всё необходимое ты отыщешь самостоятельно». Да это и не столь важно. А важно то, что на филогенетическом уровне в каждом не-бездомном — гнездится базовая область бездомного, т.е. первоначального человека. Века доминирования не-бездомной культуры выработали в её носителях подсознательный ужас, отвращение и самую настоящую ненависть к предкам, т.е. к бездомным. Психологически это настолько просто, понятно и доступно, что останавливаться на такой ерунде нет никакой необходимости. Но стоит не-бездомному очутиться вне пределов его привычной, но чуждой его пра-пра-пращурам культуры, как бездомная основа начинает мало-помалу пробуждаться, брать верх, становится доминантной — и в этом заключается главная опасность для культуры не-бездомных. Её мощь велика. О каком-либо реванше, возмездии не может быть и речи. Вновь скажу, её мощь велика, — но не безгранична. Она, сама того не желая, ежедневно и ежечасно пополняет ряды бездомных, но число их при этом не увеличивается, оставаясь на определённом уровне. Почему? — да потому, что срок жизни бездомного в пределах развитой культуры не-бездомных составляет не свыше восьми-девяти месяцев. Во всяком случае, осень-зиму большинство их не переживает. И это не находится в зависимости от употребления ими наркотиков или алкоголя. Культура не-бездомных пригодна только для них же. Всех других она так или иначе убивает. В ноябре-декабре бездомные начинают болеть. Любая их болезнь ведёт к летальному исходу. Если их не найдут, они погибнут от воспаления лёгких или от желудочных инфекций,

или от чего угодно. Но чаще они не выдерживают и сами приходят в ночлежки. Оттуда их забирают в отведённые для них больницы, где царствует 100-процентная смертность.

Задача Нортон Крейга, как он мне пояснил её, состояла вовсе не в иллюзорной и попросту глупой попытке помочь бездомным. — Это практически невыполнимо.

Он лишь старается сохранить какие-то элементы их культуры. И дело это весьма нелёгкое. Первые два-три месяца личность бездомного сохраняет самоощущение не-бездомных. Пока это самоощущение не распадётся, перед нами — взбудораженный, потрясённый случившимся, агрессивный, истеричный субъект, от которого нет ровно никакого проку. Он ещё не осознает себя, его древняя культурная база не пробудилась, к ней ещё нельзя апеллировать. Только затем наступает плодотворный, но совсем недолгий период расцвета. Бездомный становится сам собой. Но бездомные, разумеется, бывают более или менее даровитыми. Это означает, что Крейгу приходится держать под своим контролем возможно большее число кандидатов, дожидаясь, покуда они достигнут искомого состояния. Сложность усугубляется тем, что в этот латентный период развития невозможно распознать, кто из них заслуживает настоящего внимания, а кого можно предоставить его судьбе. Такие методы отсутствуют. Поэтому в распоряжении Крейга остаётся не свыше двух месяцев. За эти-то дни необходимо найти подходящих бездомных, вступить с ними в доверительный контакт и добиться результатов. По прошествии же упомянутых двух месяцев бездомный обычно теряет связь со всем, что относится к культуре не-бездомных. Сама их пища, вода и даже самый воздух постепенно становятся для него непригодными к употреблению. Отторжение всего этого перерастает в болезнь, а болезнь в смерть.

Нортон Крейг находится в постоянном поиске. В продолжение трех лет он разрабатывал методике налаживания контактов с бездомными в их лучшие моменты, — и выработал наиболее подходящие поведенческие принципы, куда входят не только темп и характер каждого движения, но и взгляд, скорость речи, голосовой уровень и, конечно же, облачение («не должно быть толком понятно, как и во что ты одет, ничего определённого, резкого, блестящего, шуршащего»).

По-настоящему даровитый бездомный, пребывая в благоприятном для творческой отдачи состоянии, если воспринимать его с точки зрения не-бездомного, ведёт себя как дикий зверь,

очутившийся во враждебной и незнакомой обстановке. При малейшей твоей неосторожности и небрежности он бросится наутёк. Догонять его бесполезно. Если ты и настигнешь его, он превратится мёртвым или безумным. Если же ты и тогда от него не отстанешь, он неожиданно тебя атакует, и это очень опасно. Болевая чувствительность у бездомного понижена, а степень готовности на отчаянные поступки, напротив, очень высока. Часто он вооружён шприцем, наполненным какой-нибудь ядовитой гадостью, причём отравлена и сама игла. Это может быть всё что угодно: от средства против грызунов до его же собственной крови или мочи, в которых чего только нет. Он будет кусаться, плевать и царапаться.

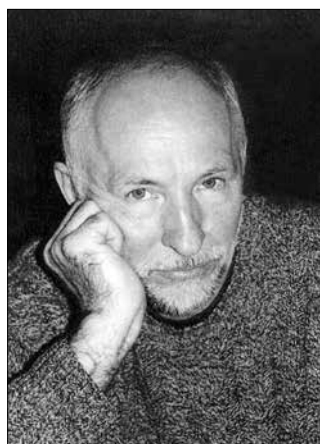
Нортон Крэйг был достаточно силен физически, а к тому же отлично владел боевыми искусствами. Это многократно увеличивало его шансы спастись от шприца с крысиным ядом, но ничем не могло содействовать ему в работе.

В идеале, ему было желательно вступить в полноценный контакт с каждым из отобранных им «подопечных» — трижды.

Неторопливо, по возможности не производя излишнего шума, но отнюдь не прячась, он приближался к бездомному с фронта — и останавливался в трёх-четырёх стандартных шагах от него. «Никаких улыбок, никаких подмигиваний, никаких жестов, никаких “Привет, как ты там?” — ничего. Стой спокойно, неподвижно, но и без напряжения, позволь ему себя рассмотреть. В руке у тебя совершенно прозрачный пластмассовый пакет, в котором находится коробка с ручками, — отлично известного всеми и сразу узнаваемого сорта, — и самый что ни на есть обычный, тонкий альбом для школьных уроков рисования. К его обложке должна быть заметно прицеплена пятидолларовая банкнота. Пауза продолжается не дольше минуты, иначе он перестанет на тебя смотреть, а едва ты шевельнешься, всё начнется сначала, т.е. всё пойдет насмарку. Произносишь негромко, но внятно, без каких-либо интонаций; интонации губят всё дело: “Я хочу, чтобы ты нарисовал для меня всё то, что ты завтра увидишь. За каждый рисунок я дам тебе доллар”. Почти не нагибаясь, оставляешь на тротуаре свой пакет, делаешь один шаг назад, поворачиваешься и неторопливо, но уже не так медленно, уходишь. В двадцати случаях из ста завтра вечером ты получаешь заполненный ерундой альбом. Платишь обещанные деньги и уходишь. Он будет тебя ждать! — это изучено и подтверждено. Через день-два ты приходишь к нему ещё раз.

Соблюдая те же методы, с поправками на данные обстоятельства, ты передаёшь ему новый, с таким же или немного большим количеством страниц, альбом и коробку с более качественными ручками. Ещё банкноту того же достоинства. Никаких “Рад тебя видеть, что новенького, у меня есть для тебя еще что-то”, ни одного лишнего слова. Произносишь следующее: “Теперь я хочу, чтобы ты нарисовал здесь для меня то, что ты будешь чувствовать и видеть в течение этой недели. За каждый рисунок я дам тебе два доллара”. Уходишь так же, как первый раз, но возвращаешься точно в срок, через неделю — и получаешь подлинный шедевр. В третий и последний раз ты приходишь не раньше, чем на четвёртый день. В этом есть определённый риск, но делать нечего. Необходимо, чтобы он дожидался тебя, гадая — появишься ли ты опять. В обращении никаких перемен: они не терпят новшеств и разнообразия; и я их понимаю. Ручки, альбом, банкнота. Говоришь: “Твои рисунки очень хороши. (Пауза). Теперь я прошу тебя нарисовать то, что **ты хотел бы увидеть и почувствовать**. За каждый рисунок я дам тебе пять долларов”. Всё. Если повезёт, в одном случае из двадцати ты получаешь сокровище. Драгоценность».





Санкт-Петербург
Россия

ПАМЯТЬ

Ну вот и хорошо, ну вот и ладно!
Спасибо утешенью, в суете
— Как в церкви на семнадцатой версте —
Твоей любви курится тихий ладан.

Останови телегу у ворот,
Пусть комья глины высохнут на спицах —
Осенний лес тоскует о синицах
И речки обнажает поворот.

Всё возвращается, и колокола гуд
Соединяет вечер с мирозданием,
Немыслимо в природе опозданье,
В ней свято очередность берегут

И лес, и день, и птицы и трава,
И время жить, и время жать и сеять,
И день, когда печали не развевать,
Когда потяжелеет голова

И пустота в привычку обратится.
Но день-другой, смирением угадан
Придёт или простить или проститься,
Вернуть всё то, что перестало сниться.

Сгорела церковь.
И как пахнет ладан
— кто помнит?

Алексей Грякалов

ХАТА НА БЕРЕГУ

ХВАТИТ

Хватит читать всё подряд:
Вот они, строчки чужие —
Что-то хранят в своем жниве —
Жаром посмертным горят.

Но в соприсутствии дней —
Ночи к дневному причастны —
Строчки — ни страстны, ни властны
Были совсем без огней.

Вот он — в расщепе пера
Жалкий в полуночи бродец —
Может, к рассвету пора
Броситься в тихий колодец?

Смотрит в глубокую тьму —
Света и тени не знает —
Дужка ведёрца ему
Холодом губы сжигает.

Что на земле — то во тьме,
Ужас толкнёт родниковый,
Вскинется пёс бестолковый —
Брякнет кольцо на ремне.

Пса на цепи пожалеть —
Тихо нашарить краюшку,
Выдохнуть горькую медь —
Дым прокурится сквозь вьюжку.

Белый листок на столе —
Лужица тёплого млека —
Утро умней человека:
Ночь написала во мгле.

Белый листок молока,
Будто посланья виденье —
Странная утра строка
Вздрогнет от прикосновенья.

Ночь не нашла выраженья —
Впору гадать по руке —
Лужица спит без движенья
В неразличимой строке.

ФОТОГРАФИЯ

Погасла свеча, отец в кителе без погон улыбнулся мне в темноте.
Он донашивал военную форму — нравился
Строгий, почти сталинский стиль — от финской войны до Берлина.
Странно коротки рукава, будто вырос — при погасшей свече мне видно,
Стоял высоко под клёном, что посадил до войны.
У мамы на кофте узоры — валки на стерне золотистой пшеницы
Скрыли красные полосы на плечах и боль — на заре пришли раскулачивать,
Девичьи плечи ободраны о жёсткую спину печи.
Сестра старшая в кофте расцветок цветочно-беспечных,
В войну кричала в открытую дверь печурки, чтоб слышал отец: «Приходи!»
И сестра младшая — китайский фонарик-рукав из крепдешина в весёлую клетку,
Держит райское яблочко перед собой.
И я в середине выставил правую руку с трофеем —
Часы-кирпичик давно остановились,
а время только по ним.

МОЛЧАНИЕ

ОТШЕЛЬНИК

Я поднимаюсь к самому верху горы,
Дыханье сбивается... сбилось, осталось внизу
Моё мерное существование — очи горе,
Пчёл диких навстречу неприветливый зуд.
И река отдалилась — струится внизу, змеится,
А внизу кажется почти прямой —
Ни на засуху, ни на воров-хозяев не злитесь
Доберётся в Дон — потом в море домой.
Отшельник почти неразличим — у входа в пещеру стоит,
Смотрит вниз на нивы, на речку, на людей-муравьёв,
Коршун почти у плеча — привык и кружит,
Жаворонки ещё ближе — родней соловьёв.
Ломтями поля желтеют, как в сотах мёд —
В каждой ячейке то стебель, то гречишный цветок,
Эспарцет-медонос небесным цветом цветёт —
Между жёлтыми ломтями недвижный поток.
Показался отшельник, что пещеру хранит,—
В алтарике рядом с кельей затеплил свечу,
Взглянул на тени — солнце рвётся в зенит,
Бросил камушек сверху — меня задел по плечу.
Поднимаю голову — никого, даже пропал страх,
Вход засыпан — мхом зеленеет отвал,
Тощим телом в щель встроился монах
И кивнул мне, чтоб я ничего не сказал.

Светает. Чёрное древо
Топорщит к небу персты,
Дня просыпается чрево —
Не отзываешься ты.

Поезд летит по линии,
Не оставляя след,
День заботливо-длинный,
Не откликаешься — нет.

Башни, поляны, склоны —
Осень блеснёт рекой —
Утреннее твоё лоно
Спит под тёплой рукой.

Влажных мелодий токи —
Мягкий утренний свет,
Первых певцов уроки —
Не отзываешься, нет.

Только одно спасенье —
Видеть мельканье вдоль:
Лось с лосихой, селенье,
Рваной плотины боль.

Надпись на серой крыше:
«Мёд, прополис, перга!» —
Звуки тише и тише —
Всё накроет пурга.

Скоро в дневные звуки
Жизнь привычно войдёт,
В полночь сомкнутся руки:
«Тут продаётся мёд...».

ПОЛДЕНЬ

Почти в самый полдень тень
Уменьшается в росте до дна,
Спускаются овцы по взлобку — день
Горяч без костра — хмелён без вина.

По песку в хромовых сапогах цыган
Пылит — рыжая под ногами трава,
Проезжий чужой — не так пьян
Как погрожает, подкатал рукава.

Мне видно пьяного — по песку
Вышагивает один — с кем же он пил?
Или сам с собой — разгонял тоску,
Вынырнув в день — в глубине топил.

Крутит головой — чубатая голова
Сама с собой говорит о самой себе,
Не нужны ни кони, ни люди — молва
Сама себя вызноит в полдненной судьбе.

Прошёл и пропал, никого... Лица
Не оставил на память — полдненный бес
Место выгородил — гуляет овца,
Свесив голову, ждёт — баран залез,

Скалит зубы, меркочет — будто тулуп
Накинул сверху, чтоб никто не увидал,
Знойный гон дрожит у вздёрнутых губ —
Любовной пары полугорбатый овал.

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

И вдруг чудесно высветился день,
Я не заметил мига перемены —
Как будто ясный свет раздвинул тень,
Не допустив присутствия измены.
Ничто совсем другим не стало — нет,
Лишь возвратилось к ясности и свету,
И сам собою вырос завет,
Не приводя к мгновенному ответу.
Явилось то, чем мир живёт всегда.
Родник зовёт — волнуется вода,
Что не заметят глубины истока
И чудо до немыслимого срока
Исчезнет неприметно, как всегда.

ВОСПОМИНАНИЕ

«По началу утра узнаю я всё течение дня моего...»

Из Иоанна Лествичника

Дух-предваритель хочет сломать мой день?
А вроде и нет его — не отбросил тень,
И птичка вещая не стукнет клювцем в окно,
И деревце ждёт весны — рождается всё само
Из камня, брошенного с горы вниз, — летит,
Ударяясь о другие — подскакивает, кружась,
И мать внизу устало-ясно глядит,
А меня наверху охватывает ужас.
И сейчас дух-предваритель напомнил мне
О брошенном камне в давней-давней весне,
И ужасом-камнем давним давит меня
Посреди обжигающего прошлым дня.
Не бросай камень вниз — потянет вслед за собой,
Поскачешь кругляком голым — с другими голыми бой,
И не остановит паденье вниз ни взгляд, ни крик...
Станный по краю взлобка в белом прошёл старик,
Гонит кого-то, камень готового бросить вниз —
Ударит камень в темя — высечет блёстки слез,
А потом плакать — сине-золотых риз
Долго не различать в небе над стайкой пасущихся коз.

28 января 2013

ВОР

Яблочко недозревшее или улитка заморская хрустнет под каблуком —
Вздрогнет вор — пуповина первого страха дёрнет из-под земли,
Зарытая в чернозём держит всходы свои —
А что он знал, когда первый раз закричал об одном?
И с тех пор от полуночи к утру бредёт сам не свой,
То решётка перед глазами, то дверь железная, то стена:
И кто тебя выкинул — на месте не стой,
Стремись неприкаянно, даже у Каина есть жена.
И у тебя в каждом селении одна или две —
Под левой ногой и под правой чужой следок,
Но гладишь сам себя — на голове
Есть волосы или острижен, как вырубленный садок?
Что воруюешь у ближнего? — старый сапог
Итальянцы на ржицу сменяли семьдесят лет назад —
Последним гвоздиком медным взблеснул — если б ты мог
Завыть сейчас на луну, куда глаза не глядят.
Крадёшься, вором вор — полночь, глаза вперев
В неразличимую черноту ночи — черна рука,
И свидетелем первой кражи с чёрных деревьев
Падает чёрное яблочко, чтоб предостеречь дурака.

МЕЛЬНИЦА В ХРАМЕ

Библейских длиннот не хватает в моём словаре —
Пророки рассеялись зёрнами в дальних пределах,
А мой зарастает полынью — в железном дворе
Мука накрывает обличья архангелов белых.
Молчит на рассвете, а в полдне рабочем ревёт —
В алтарной утробе рождается в муке мучица —
Полынь заывает — октябрьский падевый мёд
Родится в полуночи, если свиданье продлится.
Для пчёл и шмелей непрестанно свидетельство дней —
И неизменно, как образ расцветки на крыльях,
Довольный помолом крестьянин со взглядом ясней,
К полудню чувалы пронесит сквозь жёсткие былья.
Вдоль сосен, обугленных палом, подвода стучит,
Мука остывает, внутри сохраняя теплоты,
Без крыльев ветряк на юру, и в осенней ночи
Волчата в предутрии вытянут жалкие ноты.
А к солнцу машина взрвёт — заструится помол,
Снял с губ паутину утрами нетрезвый мирошник,
Кивнул, не снимая папах: откуда бабий подол
У ангельских воинов — золотом шитый кокошник!

З В У К

Неведомый непостижимый звук живёт в вышине
Или в самой низине — куличком на горелом пне?
Тут нет ему места — нет эха,
Но даже звуку не помеха.
Живёт неслышимым, будто совсем не живёт.
Уже не нектар на цветке, но еще не мёд.
Ещё не крик на заре, но уже не стон —
Кто в кого неясно влюблён?
И в дороге посередине знойного дня,
Вдруг сам себе скажет путник: не ждёт меня
Ни невеста в объятья открытых рук,
Ни мать — стук рано утром в окно,
Ни спасающий от одиночества друг...
Материно окно закрыто давно.
Что за звук, кто его произвел?
Ангелам не до того, цветок ещё не расцвел,
Чтоб вызвать навстречу пчелу,
Швея ещё не проснулась, чтоб отвести иглу
В правой руке от белого миткаля —
Невестушке наряд от заморского короля!
Мать не проснётся, чтоб взять в руки пяльцы —
Кто же поёт? — что за неведомые постояльцы?

ХАТА НА БЕРЕГУ

У белой хаты на гребне берега девичий вид,
Но золотая солома прошлой богатой жнивы
По-вдовьи почернела за осень —
Сбита в комья и придавлена зимним снегом,
Весной встопорщилась — некому выгладить ровно,

И вот на самом гребне у моря стоит
Не то девушка, не то полюбленная простушка —
Теперь не вплетёт в косы ленты,
Ждёт в страхе рожденья дитяти от того, кто бросил.
Вернись золото — сверху поновить стреху старую,
Вернись суженый, жданный ласково, непригубленный
волной морской
Не размётанный злым ветром-разлучником.
Вернись слово ночное-заветное —
имечко вернись, другим неведомое.
Называл Ганну ласково каждый раз заново,
Склонял на грудь ей головушку и говорил,
что она ему
И как мать-сестра, и как верный друг
на все стороны.
А теперь лодки чёрной только щепки плывут,
Весло в прибое то одним, то другим концом
вынырнет.
Парус белый уткой серою в камышах застрял,
Только солнце по утрам-вечерам крышу
вызолотит,
Только ветер качнёт травушку —
не привянет след,
Своя рука коснётся груди, расстегнёт сорочицу...

РЫБАК И РЫБАЧКА

Греческий рассвет загорается за моей спиной —
Ещё ночь темнеет — её единственная
Судьба закончилась, и теперь только в воспоминаньях
Сны, несбывшиеся свиданья, дорога под утро
и девичий голос.
Сейчас солнце красное — из русских сказаний-слов
Покажется вверх над морем — пастушки рассвета
Уже кинулись со стёклами, как с сачками,
Ловить шар красный, чтоб другим показать удачу.
Жена рыбака на праздных ловцов не бросит
ни одного взгляда,
А на неё с берега кто-то уже навёл зоркий фокус.
И тогда, чтоб воровской фокус не вышел,
Рыбак лодку повернул носом к рассвету —
Праздным ловцам светит в глаза солнце —
И встал между женщиной и миром.
Так стоит уже почти сто лет между всеми,
Кто на праздном берегу, и её девичьей плотью —
Сто лет назад увел её в рассветное море.
Рыбок колочих привычно выбирает из сети,
А она сеть складывает ряд за рядом — узор сплетает.
Когда попалась рыбка побольше —
смотрят на неё, потом друг на друга,
Ни на рассвет, ни на берег, ни на тех, кто под солнцем.
Они знают каждое утро, что в лодке нет одиночеств —
Перед глазами копошатся мокрые руки
И ещё бьется в последнем рассвете рыбка.



Екатеринбург
Россия

**Константин Маркович
Комаров** — поэт,

литературный критик, филолог.

Родился в 1988 г. в Свердловске.

Выпускник филологического
факультета Уральского

федерального университета

им. Б.Н. Ельцина (бывш. УрГУ

им. А.М. Горького).

Лауреат премии журнала «Урал»
за литературную критику (2010).

Вошёл в лонг-лист премии

«Дебют» в номинации

«эссеистика» (2010).

Участник Форума молодых
писателей России и стран СНГ

в Липках (2010, 2011, 2012),

Первого Международного
совещания молодых писателей

в Перedelкинe (2012).

Стихи публиковались в журналах

«Урал», «Нева», «Волга», «Новая

Юность», «Бельские просторы»,

«День и ночь», других журналах,

сборниках и альманахах,

на сетевом портале «Мегалит»,

в антологии «Современная

уральская поэзия».

Автор трёх сборников стихов.

Сфера интересов — творчество

Владимира Маяковского,

поэзия Серебряного века,

современная литература.

Член Союза российских

писателей.

Живёт и работает

в Екатеринбурге.

Константин Комаров

Я ЗАВТРА СНОВА ОЖИВУ



* * *

Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ.

И ей навстречу — световая —
из неопределённых мест
идёт диагональ другая
и образует с нею крест.

А ты гадаешь всё: при чём тут —
подкожную гоняя ртуть —
не те, кто ими перечёркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.

И засыпаешь ненароком,
размывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.

* * *

Смотрели, и не моргали,
и видели свет и боль,
так режут по амальгаме
своё отражение вдоль

И делают поперечный
контрольный святой разрез,
и волчьей и птичьей речью
напичкан кирпичный лес.

Да кто я, стихи диктуя
себе самому впотьмах?
Так первого поцелуя
боится последний страх.

Так плавится мозг наш костный,
на крик раздирая рот,
так правится високосный,
вконец окосевший год.

Так ночью безлунно-сиплой,
когда не видать стиха,
бесшумно на землю сыплет
небесная требуха.

По скользкому патефону
скребётся игла зимы.
И в зеркале потихоньку
опять проступаем мы.

* * *

Так пишут в речке вилами
о гибели вещей:

казнить нельзя помиловать
без запятых вообще.

Здесь запятых не надобно
за миг до тишины,
раз выдоха параболы
творцу разрешены,
а точки нам заказаны,
как пустоте зажим,
извечно недосказанный
язык незавершим.
Скребётся ноготочками
новорождённый стих,
мы ставим многоточия,
по сути, только их...

* * *

Выбивая, как пыль из ковра,
исковерканный голос из горла,
я ничем не могу рисковать,
кроме речи, и это прискорбно.

Одинаково звук искажён
при грудной тишине и при оре,
и поэтому лезть на рожон
бесполезно уже априори.

Но пока пика звука остра,
между строчек не может остаться
языку посторонний экстракт
из бесстрастных и мёртвых абстракций.

И когда, как пожарный рукав,
размотается стих в разговоре,
я впадаю в него, как река в
голубое крахмальное море,

Чтоб уже утонуть без обид
в этой мягкой и призрачной каше,
и помехами в горле рябит
неизвестный божественный кашель.

март 2013

* * *

Среди равнин всё реже взгорья,
мне эта местность не нова,
беспечно зреют в подмозговье
провинциальные слова.

И мил мне, как резной наличник,
их тихоструйный перешёпт,
когда сижу я без наличных
и никуда не перешёл —

ни через Рубикон, не через
ребристый времени порог,
и чёртовы скрипят качели
(раскачиванье — не порок,

нет, лишь невинная забава
для одинокого ума).
Мне жаль, что раньше я взаправду
считал, что мир — это тюрьма.

Нет, мир — это свердловский дворик,
его обычен колорит.
Здесь пьёт палёнку алкоголик
и с небесами говорит,

здесь по заведомым дорожкам
идут неведомо куда
сплошные люди. И нарочно —
висит. Не падает звезда.

* * *

Молчанью не нужен рупор.
Смотри на меня в упор!
Смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

Молчи и смотри. Готово.
Не наша с тобой вина,
что не различает Слово
предметы и имена.

В безумии волн фотонных
теряется слова след.
Насколько мудрец — фотограф,
настолько же глуп — поэт.

Но если не станет света
с последнею головнёй,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовнёй.

Ни кисти мазок, ни нота
не смогут помочь — не ври.
Оставшаяся на фото,
со мною поговори.

* * *

Местоименья биполярны,
их биполярность такова,
что на густые капилляры
расслаиваются слова.

И речи сумрачной увечья
настолько лживы на свету,
что, опустив противоречья,
упрёшься в злую правоту.

Суров её красивый панцирь,
когда она себя творит.
И стынет истина меж пальцев
усталых ноющих твоих.

А по измученному стону
схватить несложно на лету,
что, как ладья, ладони тонут
и одеваются в латунь...

Стихии уподобясь водной,
о, речь больная, — наяву —
приди, умри меня сегодня!
Я завтра снова оживу.

* * *

Закрыв опять тетрадь на карантин,
чтоб бешенством стихи не заразились,
я будто бы в себе укоротил
ту пустоту, что мнится за Россией.

А над Россией мнится типа бог:
озлобленный стареющий невротик;
я только здесь учуять это смог,
где Азия целуется с Европой,

где камень так простуженно сипит
под бурами, ломами и кирками,
Урал кивает дальше — на Сибирь —
огромными и грубыми кивками,

и временами до зарезу, бя,
в густом патриотическом накале
охота долго целовать рубля
и Бельгию идти топить в Байкале.

И можно рвать до одури баян,
раз степень оглушенья нулевая...
открыл тетрадь — стихи переболят:
здесь всё обычно переболевает.

* * *

На столе стоит холодный кофе.
Я уже давно не Холден Колфилд.

Да и дело тут не в кофеине,
Просто небо, как фильма Феллини.

Просто порастратил всю отвагу,
Просто стих уже не жжёт бумагу.

Просто ни братишки, ни сестрёнки,
Просто вековечны шестерёнки,

Что в часах друг другу зубья точат,
Мне уже не досаждая, впрочем.

Рвётся жизнь, как будто киноплёнка,
потому что рвётся там, где тонко.

Понемногу затихает тренье,
Зрелость уменьшает силу зренья.

Горло сипнет и поёт неверно,
Так всё и кончается, наверно.

Это арифметика простая,
Я спокоен, сам в себя врастаю:

Всё, с чем к богу я приду с повинной,
делится на восемь с половиной.

О.М.

Такой тебе путь предначертан
твоей диковатой луной,
и снова в почётную Чердынь
твой поезд идёт ледяной.

Мальчишка. Мечтатель. Мучитель.
Молчанья сырого мясник.
Свет слов и ночных и мучнистых
ты вылушил и прояснил.

Но страшные стражи не спали,
и вот до коричневых слёз
терзают охрипшие шпалы
губами дрожащих колёс.

А в сон твой последним посольством
из мира без страхов и бед
приходит солёное солнце
и зренью ломает хребет.

И века чердачная осыпь,
и голоса дробная сыпь.
Ну здравствуй, раб божий Иосиф,
а ты не ответишь — осип,

заметишь лишь на автомате
во мгле, что лютей и лютей,
лежащих, как рыбы в томате,
тебе незнакомых людей.

«И мне будет с ними не тесно —
подумаешь, экая блажь».
И тела обмякшее тесто
на божьи бисквиты отдашь.





Москва
Россия

Александр Евгеньевич Сорокин родился в Москве в 1954 г. Живёт в посёлке Усово – Тупик Одинцовского р-на Московской обл. Преподаёт русский язык и культуру речи в МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского. Член СП России. Автор пяти поэтических книг: «Неравновесие покоя» (1993); «Изборник» (2001); «Обратная перспектива» (2005), включившая в себя переработанный вариант «Неравновесия покоя» и последующие книги «В отечестве другом», «Бесследная тропа»; «Снег тишины» (2009); «Глазами сердца» (2013).

Александр Сорокин

ФАНТАЗЁР, МУДРЕЦ, ИГРОК

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧЕ МЕЖИРОВЕ

*И если я и вправду заикаюсь,
Как Моисей, то вовсе отыми
Дар речи, ибо не пред Богом каюсь,
А только перед грешными людьми.*

Александр Межиров

Между собой мы звали его Петрович. С коротко стриженной сединой, с глазами падшего ангела и заиканием Моисея, он казался одновременно и таинственно неприступным, и каким-то совсем своим. Впервые собрав нас на семинаре в Литературном институте, он, растягивая слова, что придавало его речи какую-то беззащитную притягательность, произнёс:

— Я не м-мо-огу вас научить ничему, особенно поэзии. Она или есть, или её нет. Будем встречаться, приглашать на наши встречи интересных поэтов и писателей. А обсуждение стихов? Р-раз этого требует регламент, обсуждаться будем. Н-но, поверьте, если я укажу кому-то на вялую строку, она не станет от этого энергичней...

Многое ещё он говорил нам и в этот раз, и впоследствии, и всегда удивлял неожиданностью поворотов мысли. Дело здесь даже не в парадоксальности самих высказываний, а в каком-то заговорщически интимном тоне, заставляющем собеседника почувствовать себя непосредственно втянутым в некое действие, истинное назначение которого никогда до конца не будет раскрыто. Только позже я понял, как искусно и вместе с тем естественно способен был Межиров фантазировать, — до такой степени, что выдумка нередко становилась для него реальней скупой очевидности. Только потом я узнал, что по сути своей он был не только поэтом и фантазёром, но и заядлым игроком, и игру часто ставил наравне с поэзией. Но страсть игрока, перетекая в стихотворные строки, очищалась, гранилась и в конце концов становилась исповедью. Он выдумал свою судьбу, но выдумка, благодаря исповедальности, оказывалась до того достоверной, что хотелось верить именно ей, а не сухим фактам биографии. Иначе говоря, хотелось верить не анкете, а поэту, со всеми его странностями и вдохновенными нелепостями.

Как и обещал Александр Петрович, наши литинститутские посиделки время от времени стали посещать узаконенные знаменитости. Приходил Евгений Евтушенко, в ту пору излишне импульсивный, нервный (самый конец 80-х), как всегда, жаждущий популярности, увлечённый различными политическими прожекторами, всегда сомнительными в голове поэта. «Я, Я, Я», — привычный рефрен этого хронически неуёмного и несомненно талантливого человека звучал в тот момент особенно отчётливо. Появлялся Фазиль Искандер, сдержанный, спокойный, в меру ироничный, смотрящий на нас несколько свысока, что затрудняло искреннее общение. Евгений Рейн, туч-

ный, мешковато-угловатый, с сумасшедшинкой в глазах, наоборот, располагал к открытости и взаимным уколам, впрочем, довольно распространённым в писательской среде. О нём Межиров однажды сказал: он поэт больше, чем Бродский, в его стихах больше безумия. Были и другие; но эти трое запомнились ярче. Наш Петрович выступал на подобных встречах в роли плутоватого третейского судьи, принимая то одну, то другую сторону. Помнится, в дружеской полемике Евтушенко обвинил нас в гражданской инертности, мол, на чьей вы, братцы, стороне, сейчас нельзя быть в стороне. Александр Петрович тут же отпарировал, продекламировав (а стихи читал он заволаживающе, и лёгкое заикание только усиливало эффект) своего любимого Владислава Ходасевича:

*Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят историк и поэт.*

*Людские войны и союзы,
Бывало, славил они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни —*

*И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить,
Два: побеждённых не жалеть.*

Когда же Евгений Александрович, отзываясь на стихи одного из наших семинаристов, пожурил того за тематическую узость и воскликнул при этом, распахнув руки: «Писать надо широко, как Пушкин!» (весь облик его при этом показывал: понимаете, как Евтушенко) — Межиров нарочито сладким голосом прервал его эскападу:

— Жень, ты написал много всего (имелись в виду не только стихи, но и проза), слишком много, думаю, больше Толстого, но если отобрать у тебя пятьдесят лучших стихотворений и объединить их в книжку, многие бы ахнули: «Каков поэт!»

Таким образом наш литинститутский мэтр, вовсе не претендующий на этот статус, всячески «подначивал» спорящих, пытаясь сохранить и продлить живой огонь общения.

Так получилось, что постепенно я и двое моих приятелей-сокурсников — Андрей Алексеев и Сергей Бойцов — стали общаться с Александром Петровичем на короткой ноге. После встреч в Литинституте он часто увозил нас, студентов-заочни-

ков, к себе на дачу в Переделкино, и там мы засиживались до глубокой ночи. Само собой разумеется, о чём бы ни заходил разговор, он в конце концов сводился к поэзии и к поэтам. Межиров впервые открыл нам Владислава Ходасевича и Георгия Иванова, цитировал неизвестного нам тогда Бориса Чичибабина и лучшие стихи Ярослава Смелякова, с которым при жизни последнего был знаком. Смеляковское «...три мальчика, / три козыря бубновых, / три витязя российского стиха» он читал так проникновенно, будто сам был в их числе (двоих — Бориса Корнилова и Павла Васильева — поглотил ГУЛАГ). А в зачине стихотворения «Пётр и Алексей» («Пётр, Пётр, свершились сроки, / Небо зимнее в полумгле. / Неподвижно бледнеют щёки, / И рука лежит на столе...») поднимал кверху указательный палец и восклицал:

— «Неподвижно бледнеют щёки!» Какая поэзия!

По окончании установочных семестров мои друзья разъезжались по своим малым родинам, а я всё более сближался с нашим Петровичем. Через год с небольшим уже жил на его даче со своей семьёй: женой Мариной, дочуркой Дашей и моей мамой Верой Николаевной. Этому предшествовало трагическое событие, о котором поведаю позже.

Александр Петрович периодически приезжал на дачу и оставался на два-три дня. Когда он навещал нас, я переселялся вниз из его кабинета на втором этаже. О кабинете стоит сказать особо, точнее, о двух его достопримечательностях. При входе справа возвышался неимоверных размеров дубовый стол с увесистой зелёной лампой. Как его удалось протащить в кабинет и водрузить на это место, осталось загадкой. Когда пришлось освобождать дачу для другого переделкинского насельника, нам, с помощью грузчиков, удалось вынести из дачного домика всю мебель, кроме этого поистине тронного стола. Он, как видно, переживёт не только сменяющихся обитателей, но и само строение.

Вторая достопримечательность — бильярдный стол, сработанный точно под размеры кабинета, имеющего, кстати, форму мансарды. При беглом взгляде зелёное сукно напоминало весёлую лужайку в мрачноватом лесном тереме (стены и потолок были обиты потемневшей от времени вагонкой). Шары, как грибочки, желтели тут и там на этой лужайке, а за окном, занимающим всю стену, покачивал верхушками уже настоящий сосновый бор.

«Умру — придут и разберут / Бильярдный этот стол...» — написал когда-то Александр Межиров. Строка не оказалась пророческой. Жизнь распорядилась иначе. Судьба забросила автора на противо-

положную часть земного шара, стол же разобрали гораздо раньше. А вот то, что «на нём играли мастера, Митасов и Ашот. / Эмиль закручивал шара, который не идёт» — сущая правда. Егор Митасов был не только признанным маэстро кия, его знали и в поэтических кругах как автора книги оригинальных стихотворений. Ашот Потикян — один из лучших на то время мастеров бильярда. Невысокий, кругленький, этакий колобок, он, взявшись за кий, как резиновый вытягивался по бильярдному столу и доставал любой шар. Об Эмиле я знаю только из рассказов Межирова. В советское время бильярд считался азартной игрой, никаким боком не прилежащей к спорту. Иной заработок игрокам был не по нутру, и они числились тунеядцами. За это грозил тюремный срок. Александр Петрович устроил Ашота своим литературным секретарём и тем спас его от решётки.

При мне Ашот приезжал на дачу с заядлым бильярдистом Сашей Македонским. Естественно, они играли «на интерес». Причём Ашот — одной рукой (опорой кию служил бильярдный борт); Македонский, как и положено, — двумя. Сверху, с поля сражения, тогда раздавались победоносные восклицания при удачном ударе, нецензурные выплески отчаяния при неудаче, ругань перемежалась с увлечённым спором, а когда наступала тишина, ясно было слышно, как шары ухают о борта и звонко сталкиваются друг с другом. Потом вдруг раздавался топот на скрипучей деревянной лестнице, ведущей со второго этажа, «бойцы» выскакивали на соновый двор и поспешно запрыгивали в автомобиль Македонского.

— Они ещё вернутся, — с видом заговорщика сообщал мне Александр Петрович. — Саша опять всё проиграл Ашоту, и теперь они поехали в банк за деньгами. Македонский жаждет реванша!

Только один раз за все их приезды я услышал нечеловеческий вопль Македонского, означающий его победу над Ашотом. Уже внизу, за бутылочкой водочки, чокаясь с Александром Петровичем (Ашот не пил), Саша Македонский с лихорадочным блеском в глазах удовлетворённо повторял:

— Теперь детям и внукам буду рассказывать, что я выиграл у самого Ашота Потикяна!

Из игрового окружения Межирова мне запомнился ещё один представитель по прозвищу Луна. Ему, кроме игры, в жизни ничего не нужно — так заочно представил мне его Александр Петрович. И правда, уже знакомый мне лихорадочный блеск глаз, потрёпанные брюки, ботинки, повидавшие виды, — и это у человека, который довольно часто имеет в кармане уйму денег! Спортивного склада,

высокий, сухой, подтянутый и вместе с тем как бы не от мира сего — таким он явился передо мной и остался в памяти. Луна был картёжным гением, но не гнушался и бильярдом. И ещё был кидалой. Проигравшись в пух и прах, отправлялся «на гастроли» — садился в поезд дальнего следования «отрабатывать» долг. Присоединялся к компании играющих в карты, «лохов», как он их называл, и раздевал их до нитки. В удачный момент отлучался якобы по нужде и на полном ходу выпрыгивал из вагона. Такие «номера» он выделял не раз в своих, без всякого сомнения, рискованных «творческих командировках». Однажды в затянувшуюся полосу неудач в кругу друзей Луна произнёс в отчаянии: «Сейчас лучший выход — повеситься!» На что Егор Митасов строго заметил: «Не забывай, есть дела поважнее смерти. Карточный долг, например».

Александр Петрович, желая продемонстрировать мне класс Луны, предложил ему блиц-партию на бильярде. Ответ явил игрока до мозга костей:

— Ну что вы, Александр Петрович, без интереса я и по шару не попаду. Давайте пари ну хоть на пять сотенок.

Пари было заключено, и Луна с кия выиграл партию в «американку»!

Верите или нет, но, заглянув за ширму «подпольной» жизни игроков, я понял, почему Межиров считал игру своего рода поэзией...

Так как, просыпаясь, я видел перед собой бильярдный стол, — стал потихоньку каждый день катать шары. (До этого держал в руках кий всего несколько раз, и то в юности.) Спросил у Ашота, как научиться играть и выигрывать.

— Надо правильно назначить фору, — последовал короткий ответ.

«И всё?» — «И всё», — завершил свой урок Ашот.

И чтобы я научился «правильно назначать фору», подарил кий. Как он пояснил, непростой, с секретом. По внешнему виду — обычный, какими играют «чайники». Но сработан профессионально, выверен до мелочей. Партнёр будет думать, что играешь «простой палкой», и обман этот в твою пользу. Поэтому посоветовал никогда не давать его во время игры в чужие руки, дабы не раскусили его преимуществ.

В какой-то из дней я попросил Межирова сыграть партию, от форы отказался. Было видно, что Александр Петрович не выкладывается в полную силу, играет вальяжно, как бы давая мне фору. Партию я проиграл, но достойно, с разницей в один шар.

— У вас определённо есть способности к бильярду, — с улыбкой заключил мой седовласый партнёр.

Потом я стал ходить в Дом творчества, играл с писателями на интерес в «американку» и в «сибирскую пирамиду», часто выигрывал, но игроком не стал.

Бывали дни, и бывало это нередко, когда мы с Александром Петровичем подолгу беседовали в его загородном кабинете. И он, подобно Вергилию, водил меня по тропам поэтического ада ирая. Однажды я спросил его, почему он до сих пор не доверил бумаге всего мной услышанного.

— Вы знаете, Саша, — последовал ответ, — у меня нет слога (имелся в виду слог прозаический). Вот и у Жени (Евтушенко) тоже его нет, а он замахивается на романы. Советую попробовать вам.

Я пообещал, но обещания не выполнил, так как считаю, что и у меня нужного слога нет. А написать о человеке, который был так близок мне, как видите, всё же решился.

Он всегда обращался ко мне «Саша» и всегда на «вы». Я в общении, естественно, величал его Александр Петрович. В семье же, среди близких, он тоже был просто Саша. Сашей и на «ты» (знак особого доверия) называла его и внучка Анна, о которой он говорил с неизменной нежностью и теплотой. Себя же называл «старым стихотворцем». На моё несогласие с такой формулировкой отвечал:

— Видите ли, Саша, я так и не преодолел прозу в стихах. Вот Ходасевичу это удалось. Помните его «и, каждый стих гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку»?

Конечно, Межиров был поэтом, поэтом крупным и подлинным. Но такое беспощадное отношение к себе в литературе, такую внутреннюю честность хорошо бы иметь каждому берущемуся за перо.

И к нам, своим литературным питомцам, он был строг и в то же время всегда справедлив. Суров в оценках — вежлив в отзывах. Основной чертой его характера была интеллигентность во всём. Помнится, мы собрались всем семинаром на квартире его дочери Зои, что на Красноармейской близ метро «Аэропорт» (на этой же улице жил и Александр Петрович). Смотрели видео — уже не помню какой фильм из классики американских боевиков, слегка баловались водочкой и, конечно же, читали стихи. Андрей Алексеев, которого Межиров высоко ценил, прочёл тогда только что написанное стихотворение. Александр Петрович, подняв на него по-детски наивные глаза, протянул, словно пожаловался:

— А-а-ндрей, прошу вас, больше никогда не читайте мне таких стихов.

И Андрей принял это как похвалу, потому что понял, что поспешил с чтением, вынес на суд «сырой» материал, недостойный Андреева уровня.

Строг Межиров был и в отборе учеников. Из большого круга претендентов взял под крыло тринадцать душ (евангельское число; правда, предателя между нами не оказалось). По возрасту всем было в среднем около тридцати; из тринадцати — всего одна особа женского пола Раиса Обельская. Трудно отказать Межирову и в чутье на таланты. Не сомневаюсь, что имена Александра Роскова, Александра Шиненкова, Андрея Алексеева, Сергея Бойцова останутся в русской литературе.

Ко мне поначалу Александр Петрович долго присматривался, считая мои тогдашние стихотворные опыты несколько литературными. Только года через полтора, когда на даче я прочёл ему недавно сложенные стихи, он, сделав многозначительную паузу, почти шёпотом произнёс:

— Б-берегитесь, Саша, — это поэзия.

Был и другой случай. Я пришёл с прогулки по лесу и застал Александра Петровича (он приехал неожиданно) за чтением листков со стихами, оставленными мной на зелёном сукне бильярдного стола. Без всякой моей на то просьбы, заговорил:

— Вы можете отдать эти стихи в любой журнал, и их напечатают. Однако я сужу вас по гамбургскому счёту, по меркам Ахматовой и Блока, поэтому советую ещё поработать над ними.

Крайне взыскательный к себе, он и от других требовал предельной ответственности перед словом. С другой стороны, при общении с ним никогда не ощущалось, что перед тобой признанный литературный мэтр, маэстро. Напротив, всегда говорил как равный с равным. А между тем к слову «мастер» относился с особым уважением, и ни в игре, ни в поэзии не терпел дилетантства. «Мастера — особая / Поросль. Мастера!» — написал он в одноимённом стихотворении. И «пусть молчат любители, выжиги, вральи», «околокожевники, возлескорняки», но «да пребудут в целости, хмуры и усталы, делатели ценности — профессионалы». При таком подходе к деланию ценностей не может не быть болезненного отношения к любой фальши. Честно скажу, одобрение Межирова было мне дороже всех, часто сомнительных, литературных премий.

Однажды он попросил меня прочесть рукопись своей поэмы «Позёмка», над которой, как потом выяснилось, работал не один год. Вручая рукопись, твёрдо потребовал:

— Только, пожалуйста, не щадите меня. Скажите честно, без обиняков, что вы о ней думаете.

Из бесед с Александром Петровичем я знал о подоплёке его обращения в поэме к Николаю Тряпкину, о его поначалу добрых отношениях

с Татьяной Глушковой и Вадимом Кожинным, с которыми он впоследствии резко разошёлся. Отозвался о рукописи без подобострастия, как и просил автор, отметив, что может быть, это и не лучшая его вещь, но вполне достойная пера Межирова. Указал только на две-три неточности, на которые посоветовал (подражая межировской манере) обратить внимание. Для пояснения приведу одну из них. Это касается эпизода, когда, в одну из предвоенных зим, к преуспевающему писателю приходят коллеги «...выпить водки, а не чая, закусить и закутить». Выделенное курсивом слово стояло в рукописи. Я предложил взамен слово «покурить», поскольку оно отражает не мгновенное действие (чиркнул спичкой и закурил), а процесс, подобный выпивке и закуске. Видели бы вы в этот момент обрадованное лицо Петровича! Так радуются, отыскав удачную рифму или строчку.

— Вы гениальный редактор! — помнится, воскликнул он.

Однако, уловив мой взгляд, наверное, выдающий желание добиться «гениальности» в несколько другой области словесного ремесла, тут же добавил:

— Но ведь и Некрасов был гениальным редактором!

И поведал историю, касающуюся Николая Алексеевича. Как-то Некрасов, поутру возвращаясь с карточной игры, опустошённый, задремал в извозничьей пролётке и выронил на булыжную мостовую рукопись романа Чернышевского «Что делать?» (В то время Некрасов был главным редактором журнала «Современник».) Какой-то честный мещанин подобрал её и отнёс по назначению, в редакцию.

— Представляете, — иронически торжественно заключил Александр Петрович, — не будь прохожий таким добропорядочным, не мучили бы школьников этим не слишком удавшимся романом!

Придумал ли Межиров этот эпизод, или существуют о нём исторические сведения — в тот момент было неважно. Выслушав его увлекательную версию, я не сомневался, что так оно и было.

В скором времени Александр Петрович попросил меня помочь составить книгу избранных стихотворений. Я увидел в этом особый знак доверия и с увлечением взялся за работу. Книга в чёрном переплёте «Александр Межиров. Избранное» вышла в 1989 году в издательстве «Художественная литература». Он подарил мне её с такой надписью: «Милому и славному Саше на память о старом стихотворце, дружески, сердечно». Зная

Александра Петровича, не могу сомневаться в искренности этих слов.

Возвращаясь к Некрасову, добавлю: Межиров почитал его как одного из наиболее выдающихся наших поэтов. Говорил, что «его стихи полны бодлеровского огня». Чтобы убедиться в этом, посоветовал ещё раз прочесть его «Рыцаря на час». Не удержавшись, тут же продекламировал со своей по-межировски неподражаемой интонацией:

*Спи, кто может, — я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой...*

*В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далёкой,
Где лежит моя бедная мать.*

А мне тут же пришло на память стихотворение Александра Петровича «Серпухов», где есть такие строки:

*А какой же я начальник,
И за что меня винить?
Не начальник я — печальник,
Еду няню хоронить.*

*От безмерного страданья
Голова моя бела.
У меня такая няня,
Если б знали вы,
Была.*

Какие разные поэты, подумалось мне сейчас, когда дописал эту страницу воспоминаний, и как гармонически перекликаются в соседстве друг с другом! Вот она, сила традиции, утверждающая славу русской поэзии!

В тот же вечер, в какой-то момент мне показалось, что, превознося Некрасова, Александр Петрович не уделил должного внимания другим славным поэтам того времени. В запальчивости, без комментариев я процитировал особо любимого мной Тютчева: «От жизни той, что бушевала здесь...»

— Гениальное стихотворение! — к моему удивлению, произнёс Межиров. — Скажу вам по секрету, в моей московской квартире, на тумбочке у изголовья, бесценно лежит томик его стихов.

Вспоминаю, как-то Межиров заговорил о романе Джойса «Улисс». Сказал, что Ахматова, про-

читав переводы с английского и немецкого, отмечала, что значительность этого романа можно оценить только с третьего прочтения. Я смущённо признался, что не читал Джойса.

— Какой вы счастливый, — услышал я в ответ, — вам ещё предстоит его прочесть.

Получив такое милое наставление, я дал себе слово немедленно взяться за «Улисса».

Не было в такие вечера ни мастера, ни подмастерья. Я забывал, что передо мной сидит знаменитый поэт, руководитель нашего творческого семинара. И тридцати лет разницы в возрасте тоже не существовало. Постороннему взгляду, думаю, в ту пору могла открыться такая картина. В переделкинском уединении, под тихий шум сосен в распахнутом окне, у бильярдного стола с разбежавшимися по зелёному полю шарами сидят двое одержимых и беседуют на темы, мало кого интересующие в развальную эпоху начала девяностых.

Вы скажете, это не патриотично. В такое время мало быть поэтом, надо быть гражданином. Возможно. Однако труднее всего в гражданских бурях оставаться человеком. Разве может не волновать и не тревожить сына отечества всё творящееся вокруг? Только в политической смуте не может быть правых и виноватых, победителей и побеждённых, и вставать на чью-либо сторону не позволяет внутренний голос тому, кто своим делом выбрал искреннее слово. Оно и есть поле битвы. И здесь вполне ко времени позиция Максимилиана Волошина: «Молюсь за тех и за других».

Вспоминается один эпизод той поры. Я возвращался из Дома литераторов, что на Большой Никитской. У высотки рядом с метро «Баррикадная» царил непривычное оживление, толпы народа двигались в сторону Белого дома. Многие волочили за собой дорожные ограждения, какие-то трубы — в общем, всё, что пригодно для баррикад. Увлекаемый толпой, я оказался на площади перед правительственным зданием. Вокруг говорили, что с минуты на минуту ожидается штурм. Стыдно было ретироваться, хотя я не чувствовал единения с толпой защитников, как и не верил в правоту нападающих. Мне было просто горько. В воздухе пахло враждой, и вражда эта витала между моими соотечественниками. Простояв на площади битый час и не дождавшись штурма, я медленно направился в сторону метро. Из дома позвонил Александру Петровичу и, рассказав всё как было, спросил:

— Вы меня осуждаете?

— Мудрость старика мне подсказывает, что вы не случайно оказались на распутье. Когда-то, лёжа в Синявинских болотах, я твёрдо знал, за что иду

на смерть. А теперь свои выходят против своих ради амбиций верхушки. Подобное мы уже проходили в нашей истории. Помните стихотворение «Буря» Ходасевича?

И он хрипловатым, утомлённым голосом процитировал его полностью. А финальные строки звучат так:

*Мудрый подойдёт к окошку,
Поглядит, как бьёт гроза, —
И смыкает понемножку
Пресыщённые глаза.*

— Вот и я сейчас стою у окна. Усталость. Тоска. Какое-то пресыщение всем происходящим, — печально заключил Александр Петрович.

И я разделяю его пресыщение, точнее сказать, разочарование в тех восторженно воспринятых многими перестроечных событиях. Как не поверить поэту, ещё в 1962 году, в пору «оттепели», написавшему такое:

*Всё хорошо, всё хорошо...
Из мавзолея Сталин изгнан,
Показан людям Пикассо,
В Гослитиздате Бунин издан,
Цветам разрешено цвести,
Запрещено ругаться матом —
Всё это может привести
К таким плачевным результатам.*

Не правда ли, и о девяностых сказано! И правоту строк подтвердило время.

А в брежневское «застойное похолодание» он скажет о Великой Отечественной, о разрушенных надеждах победителей прямо, искренне и горько:

*Вдохновлялись сталинскими планами,
Устремлялись в сталинскую высь,
Были мы с тобой однополчанами,
Сталинскому знамени клялись.*

*Шли, сопровождаемые взрывами,
По всеобщей и ничьей вине.
О, какими были б мы счастливыми,
Если б нас убили на войне.*

Но это ведь о всякой войне — праведной и неправедной!

Жизнь между тем продолжалась, и продолжались наши откровенные встречи-беседы в стороне от бушующих политических страстей. Межиров открыл для меня Фёдора Сологуба,

незаслуженно подзабытого поэта, который откровенно признавался, что пишет больше, чем это надо людям. К Сологубу можно относиться по-разному, однако на его примере Александр Петрович указал на главное: как могут стихи возникать из ничего. Ни метафор, никаких технических ухищрений, вроде бы проза, а «вещество поэзии» налицо. В подтверждение этого, самозабвенно читал (всегда наизусть):

*В поле не видно ни зги.
Кто-то зовёт: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?*

*Кто-то зовёт в тишине:
«Брат мой, приблизься ко мне!»
Легче вдвоём.
Если не можешь идти,
Вместе умрём на пути,
Вместе умрём!»*

— И знаете,— добавлял Александр Петрович,— Фёдор Сологуб, наверное, единственный русский поэт, назвавший Бога «милым», и это не прозвучало пошло. Судите сами:

*И прошу я у милого Бога
Как никто никогда не просил:
«Подари мне ещё хоть немного
Для земли утомительной сил...*

Межиров знал наизусть множество произведений разных поэтов — от знаменитых предшественников до современников. Обладая отменным вкусом. Представляя очередного служителя муз (неважно какого калибра), выбирал такие стихи, которые западали слушателю в душу и возбуждали желание познакомиться поближе с другими творениями так ярко прозвучавшего в устах Петровича автора. И оценки того или иного поэта были часто неожиданными, но всегда меткими.

Как-то мы заговорили об Иосифе Бродском. Посреди беседы Александр Петрович смутил меня вопросом:

— А скажите, Саша, какого поэта Бродский должен больше всего ненавидеть?

Немного подумав, я произнёс неуверенно:

— Похоже, Блока.

— Совершенно верно! — оживился Межиров, довольный, видимо, что я угадал его мысль.

— Гордыня интеллекта никогда не позволит Бродскому преклониться перед стихией Блока. Через Блока говорит сама природа поэзии. А от стихотворных пьес Бродского часто остаётся впечатление, что вас пригласили в обставленную со вкусом гостиную, усадили за безукоризненно сервированный стол, а накормить забыли. Однако и Бродскому иногда удавалось преодолеть интеллектуальный барьер и воспламениться. Прочтите хотя бы его «На смерть друга» и «На смерть Жукова», — и тут же, как бы продолжая свою мысль, добавил: — Женя (он всегда называл Евтушенко ласково Женей) талантливее Бродского. Но Бродский реализовал себя на девяносто процентов, а Женя только на шестьдесят.

После перешли на Маяковского, о котором Александр Петрович говорил так: «Он не поэт социального заказа, он богорец. В поэзии ворочает камни подобно Державину. Вслушайтесь в начало его поэмы «Во весь голос». Несмотря на плоское содержание, какой грандиозный звук! Вот если бы удалось соединить в одном поэте Блока и Маяковского, представляете, что за поэтище появился бы тогда».

Мне же он настоятельно советовал разыскать книгу Георгия Адамовича «Комментарии», как только она будет у нас опубликована (шёл 1988-й год). Подарил фрагменты из американского издания, отпечатанные на ксероксе, со словами: «Эту книгу обязан прочесть каждый нынешний поэт». И пояснил:

— Георгий Адамович поставил в пример будущей поэзии эстетический аскетизм Боратынского, и как великий образец, который будет жить вечно, его «Молитву»:

*Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай. —*

Обратите внимание, всё стихотворение держится на слове «строгий».

— А вам, — продолжил Александр Петрович, — предлагаю на время убрать со стола всех «гениальных» гениев и оставить всего два тома, сотворённых гениями «бездарными» — Боратынским и Ходасевичем. Эти книги помогают освободиться от многих вычурностей, которыми изобилует современная поэзия, необдуманно пользуясь роскошествами Пастернака, Гумилёва, Хлебникова, Цветаевой.

В другой раз разговор о Владиславе Ходасевиче предварил таким вступлением:

— Ходасевичу стоило жить и писать уже потому, что Олжас Сулейменов — степной человек, козевник, — на одном из выступлений восторженно прочёл его стихотворение «Перед зеркалом»: «Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот — это я? / Разве мама любила такого, / Жёлто-серого, полуседого / И всезнающего, как змея?»

А первое стихотворение, которое открыло мне дверь в художественный мир Владислава Фелициановича, называлось «Слепой». И впервые я воспринял его с голоса Александра Петровича:

*Палкой щупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
А на бельмах у слепого
Целый мир отображён:
Дом, лужок, забор, корова,
Клочья неба голубого —
Всё, чего не видит он.*

— Всего восемь строк, — прокомментировал, закончив читать, Межиров. — Но они значительнее по содержанию иной глубокомысленной поэмы. Такая скупость щедрости сродни! И заметьте, первый и окончательный варианты разделяет полгода (на это указывают даты, проставленные автором). Однако по большому счёту неважно, сколько пишется стихотворение, — помедлив, добавил он, — важен итог труда; добиться в конце концов победного итога и есть мастерство.

А вот своих произведений при мне Александр Петрович читать не любил. На просьбу отвечал приблизительно так:

— Ну что вы хотите услышать от шестидесяти-пятилетнего стихотворца?!

Лукавил, думаю, произнося это, мой высокочтимый наставник, но лукавил как-то по-межировски честно. Честно лукавить, похоже, получалось, из тех, кого знаю, только у него одного. И строки его, ставшие афоризмом: «До тридцати поэтом быть почётно / И срам крошечный — после тридцати», — не лишены чисто поэтического лукавства. Ведь и в восемьдесят Александр Петрович создавал глубокие и проникновенные строки. Я подозреваю, что за фасадом приведённого признания скрывается неподдельная боль. Боль и вина перед поэтами фронтового поколения, своими ровесниками, которые или не вернулись с войны (как Михаил Кульчицкий и Павел Коган), или: «Лишь первую о

жизни фразу / Успели занести в тетрадь, / С войны вернулись мы и сразу / Заторопились умирать». Последнее о Семёне Гудзенко, не дожившем трёх недель до своего тридцати одного года. Сердце не вынесло полученных ран.

Ни для кого не секрет, что путь в известность открыло Межирову стихотворение «Коммунисты, вперёд!». Написал он его в двадцать два года. Как рассказывал мне, — был заказ. Но, приступив к работе, «попал на строчку», и вся вещь вылилась как песня. Что бы ни говорили, а баллада эта о воинском подвиге простых солдат останется в памяти поколений. И рефрен «коммунисты, вперёд», неоднократно подвергавшийся критике в либеральных кругах, с содержательной стороны стихотворения не имеет большого значения. С таким же успехом можно поставить на его место «патриоты, вперёд» или, на самый худой конец, «демократы, вперёд», — изменится лозунг, а суть вещи останется прежней. Ведь здесь автор воспекает силу духа, способность к самопожертвованию русского воина, поднявшегося на битву с врагом, независимо от эпохи и государственной идеи.

Однако я хочу сказать о другом его стихотворении, не являющемся, если так можно выразиться, «визитной карточкой» поэта Межирова. Оно занимает скромное место в «Избранном», о котором упоминалось выше, в разделе «Из раннего». На мой взгляд, это одно из лучших его творений, хотя я не претендую на роль взыскательного критика. Для меня в нём в чистом виде проявилось «вещество поэзии», как я её понимаю. Оно — вне времени. Говорит о чём-то таком важном для души любого «сокровенного человека», без чего сама жизнь рискует потерять смысл. Может быть, имя этому «важному» — «одухотворённая надежда». Судите сами:

*Над Десной опять лоза, лоза.
Над Телячьим островом гроза,
Облака теснятся над Десной.
Родина! Опять в мои глаза
Ты глядишься древней новизной.*

*Над Небой туман — опять, опять.
Город спит. Мосты разведены.
Но лежит на городе печать
Той же самой древней новизны.*

*Снова будут грозы, будет снег,
Снова будут слёзы, будет смех
Всюду — от Десны и до Десны,
Вечно — от весны и до весны.*

*Идут дни, дождём и льдом звеня,
Гомоня гудками над страной,
Поезд, уходящий от меня,
Отойдёт когда-нибудь со мной.*

*Сколько на земле земных дорог,
Сколько на земле земных путей,
Столько на земле земных тревог,
Столько на земле земных страстей.*

*Вечный пастырь бесконечных стад
Пояснит у смертного одра:
Если люди на земле грустят —
Это потому, что жизнь щедра.*

*И когда снарядом над тобой
Разнесёт накаты блиндажа,
Ты увидишь купол голубой
И умрёшь, тем блеском дорожа.*

*Снова будут грозы, будет снег,
Снова будут слёзы, будет смех
Всюду — от Десны и до Десны,
Вечно — от весны и до весны.*

В воспоминаниях передо мной не стоит задача оценивать поэтический дар Александра Петровича. Это уже многократно сделано другими. Без сомнения, Межиров как поэт не нуждается в рекламе: его книги говорят сами за себя — берите, читайте, постигайте художественный мир подлинного мастера. Я же пишу о том, что вынес из нашей почти пятилетней, не побоюсь сказать, творческой дружбы. Пишу об Александре Петровиче не по слухам, не по чужим рассказам, а по праву благодарной памяти. Думаю, это будет интересно и другим, потому что «такого Петровича» знал только я и вполне мог бы назвать эссе «Мой Петрович», если бы меня не опередила Марина Цветаева со «своим» Пушкиным.

Отзываясь о поэтах, Межиров всегда отмечал их удачу и редко указывал на слабости. Например, заходит разговор о Борисе Чичибабине, и я слышу:

— О-о-о! У него есть очень сильное стихотворение. «Кончусь, останусь жив ли,— / чем зарастёт провал? / В Игровом Путивле / выгорела трава»,— и, продолжая цитировать. — «Школьные коридоры, / тихие, не звенят... / Красные помидоры / кушайте без меня»,— делает паузу и заговорщически прищуривается:— «Красные помидоры!» Откуда они здесь? Зачем? А ведь без них не было бы стихотворения.

Мне кажется, тогда же я привёл строку Чичибабина: «Гениальным графоманом меня Межиров назвал».

— Что вы, — запротестовал Александр Петрович, — я никогда такого не говорил!

Хотя по оригинальности высказывания вполне можно предположить, что оно принадлежит Межинову.

К слову, об Анне Ахматовой Александр Петрович отзывался неизменно с большим уважением и всегда величал её по имени и отчеству.

А ещё он нежно любил Александра Вертинского. Говорил, это тот случай, когда пошлое становится гениальным. В какой-то вечер привёз на дачу американский диск с уникальной записью двадцатипятилетнего русского шансонье. По нашим грампластинкам мы знаем песни Вертинского, которые он исполнял уже в почтенном возрасте, вернувшись на родину из эмиграции. Поэтому вдвойне интересно было услышать его молодой голос. В переделкинской мансарде тогда нас собралось четверо: хозяин бала, моя жена Марина, её подруга Ирина и ваш покорный слуга. Сидели, слушали, в перерывах между исполнением обменивались впечатлениями. Неожиданно, не помню уже по какой причине (то ли её прервали, то ли не так поняли), Марина вспыхнула (польский характер!) и, демонстративно хлопнув дверью, вышла из комнаты. В воздухе повисла неуютная пауза. И тут Александр Петрович нараспев, подражая Вертинскому, с лучезарно удивлённым взглядом в сторону захлопнувшейся двери проговорил:

— Оч-чень эмоциональная девушка.

Все рассмеялись, и напряжение улетучилось.

Тут же вспомнилось и другое. В нашем совместном проживании Александр Петрович, конечно же, не мог обойти вниманием мою маленькую дочь Дашу. Однажды, за семейным обеденным столом, на вопрос «дедушки Саши» (так он называл себя, представляясь ей) дочка (тогда ей не исполнилось и трёх лет) вместо ответа кокетливо склонила кудрявую головку и при этом сделала плавный пасс своей маленькой ручкой.

— Смотрите! — восхищённо воскликнул Александр Петрович. — Настоящая маленькая женщина!

И сейчас, через двадцать лет, Даша вряд ли может вспомнить что-то, связанное с Межировым. Но по семейному преданию знает «дедушку Сашу», который первый из мужчин назвал её так.

А теперь настал черёд поведать о самом при- скорбном событии в судьбе Александра Петровича Межирова. Точнее, о том, как он переживал произошедшее, до какой степени был этим подавлен. Трагическая случайность зимней метельной ночью проложила межу и разделила жизнь поэта Межирова на две половины — «до» и «после». Не

стоит упоминать, какая травля на поэта разразилась как со стороны артистической среды (потерпевший был одним из них), так и от когорты ветеранов войны, так называемых «друзей». За что же всё-таки травили, как зверя, попавшего в ловушку? Об этом впоследствии расскажет сам Межиров в исповедальных строках:

*За то, что знали вы, что быть не может
Виновного в случившемся, что ночь
По-разному две жизни подытожит,
Не даст прийти в сознание и помочь,
За то, что знали вы, что тень от тени
Возникла — и провал и помраченье,
Что знали, что прошедших восемь суток
Мне тень из тени застила рассудок...*

Вот именно, знали, но не пожелали признать, предпочитая правде удобную для каждой из сторон, богато приправленную слухами, старательную ложь. Впрочем, нет ничего удивительного. Как тут не вспомнить Дейла Карнеги с его утверждением — чем значительнее человек, тем больше удовлетворения получают люди, оскорбляющие его. Можно сказать, так посредственности уравнивают его с собой, со своей ничтожностью.

Я и мои сокурники восприняли сей немилосердный удар судьбы так же, как об этом напишет позже Александр Петрович, обращаясь к толпе, беспощадной в своей безликости: «Надо мной разразилась беда — / И услышал я голос ликующий, / Неотложной расправы и мести взыскующий...» Вот именно: «разразилась беда». А если близкий по духу человек в беде — остаётся одно: помочь ему, чем можешь. Но как найти заложника совести, укрывшегося от мира и страдающего в одиночку? Я решился позвонить его супруге Елене Афанасьевне с просьбой открыть мне по страшному секрету местонахождение нашего Петровича. И огромное спасибо ей за расположение ко мне, за доверие, за то, что она посчитала меня в той обстановке «своим», а не «чужим».

И вот мы с Андреем Алексеевым и Сергеем Бойцовым едем в Голицыно, в Дом творчества. Александр Петрович встретил нас, как всегда, благожелательно, но было видно, каких усилий это стоило ему. Чтобы отвлечь его от тяжёлых переживаний, мы тут же перевели разговор на поэзию, сказав предварительно, что ждём-не дождёмся возобновления творческих встреч в Литинституте. Пили чай с привезённым нами тортом, по очереди читали стихи и, как мне кажется, сумели на время облегчить его мучительное затворничество и укрепить в мысли: мы не из числа «отвернувших-

ся», мы свои. Потом, через много лет, вспоминая о тех днях, я написал такие строки:

*Помню, вы ходили сам не свой —
легче было б броситься под танки.
Только пыл отваги фронтовой
ничего не стоит на гражданке,
где свои опаснее чужих,
а чужой умеет бить по-свойски,
и никто чужому среди своих
не позволит умереть героически.*

Да, героически пройдя Отечественную войну, Александр Петрович, видимо, не поверил, что на родине ему дадут умереть спокойно, не то что героически. Не этим ли был обусловлен его неожиданный для многих, в том числе и для меня, отъезд за границу? И, как оказалось, навсегда.

Однако до этого срока оставалось достаточно времени, чтобы сблизиться с дорогим моему сердцу человеком, сыгравшим такую важную роль в моём творческом становлении. Все события, о коих я поведал ранее, состоялись именно в эту пору, и его отъезд, как оказалось, тоже разделил мою судьбу на две половины — «до» и «после», правда, к счастью, не в трагическом плане. Надеюсь, и для него я не остался пустым местом, и в окончательной нашей земной разлуке память о тех днях хотя бы отчасти согревала и поддерживала его на чужбине.

Восточные мудрецы советуют умножать достоинства на десять, а недостатки делить на два. Думаю, это высказывание может служить одним из определений к понятию «терпимость». Александр Петрович прощал мне многие мои недостатки, в том числе, русскую беду — склонность к запоям. Прощал и мою безалаберность. Застав посреди бела дня незастеленную постель и вещи, разбросанные тут и там, вежливо сокрушался, приводя в пример Блока. Современники удивлялись, попав в блоковский кабинет, безукоризненно строгому порядку: на столе каждый предмет имел своё место, и обстановка в комнате была предельно аскетична — ничего лишнего. На любопытствующий вопрос Блок буднично отвечал, что таким образом он пытается победить свой внутренний хаос. Я старался следовать интеллигентным советам моего Петровича, хотя это, к стыду моему, далеко не всегда получалось. Замечу, Межиров, фронтовик, был аккуратен во всём, несмотря на то (а может быть, потому), что по характеру всегда оставался игроком. По поводу же моего пристрастия к выпивке рассказал о себе. В послевоенное время писатели и поэты ча-

сто ходили друг к другу в гости. Ни одно застолье не обходилось без спиртного. И Александр Петрович стал замечать, что в такие встречи он всё чаще начинает думать об одном: скорей бы за стол, к закуске, к водочке. И испугался. Испуг подействовал, как разрыв гранаты, и помог преодолеть опасную тягу.

Однажды он сказал, заметив, видимо, как часто легко мне сходят с рук мои, мягко говоря, не слишком благовидные проделки и как всё само собой в моей жизни устраивается к лучшему:

— Вы баловень судьбы, Саша... н-но в хорошем смысле этого слова.

Сказал и заставил задуматься меня над моей судьбой, и тогда сложилось стихотворение, которое начинается так: «Как тяжело быть баловнем судьбы./ Ведь если ты перстом её отмечен, / с тебя в итоге спросится, увы, / не по обычным меркам человеческим».

А как-то раз, прочтя межировскую «Бормотуху», откуда, кстати, я поставил строки в эпиграф к этим воспоминаниям, я имел неосторожность и наивно, без обиняков спросил Александра Петровича:

— Вы верите в Бога?

— Никогда и никому, Саша, не задавайте такой вопрос. Он слишком интимен.

С тех пор, если мне не изменяет память, я ни к кому не приступал с таким вопросом.

Время от времени я стал замечать, что, приезжая на дачу, Александр Петрович подолгу возится в кабинете, разбирая бумаги. В один прекрасный день он попросил меня и Марину помочь навести порядок в сарайчике при доме в дальнем углу участка и в чулане-чердачке на втором этаже рядом с кабинетом. На вопрос, чем это вызвано, отвечал, что иностранная комиссия Союза писателей предложила ему поездку с группой коллег за границу, в США. За границу так за границу — ни тени подозрения у нас тогда не возникло.

В чуланчике, около кабинета Межирова на видном месте висел портрет. Картина поразила нас. На ней был изображён необычный до странности Пушкин. Портрет по плечи. Представьте себе: тёмная, судя по всему, комната, освещённая слабой свечой; Пушкин в полутени; тени на глазах, так что не видно зрачков; белый распахнутый ворот рубахи; сквозь лоб, если приглядеться, просвечивают стволы деревьев, похоже, осеннего леса. Станный, прямо-таки потусторонний Пушкин. А в нижнем углу холста подпись: Юрий Межиров. Однофамилец? Петербургский художник, родственник — скромно пояснил Александр

Петрович. И подарил нам портрет. Сначала он украшал стену московской квартиры, а затем, после развода и размена, перекочевал в Усово, что за Барвихой, где висит на самом видном месте в моей маленькой комнатке. Обустроившись на подмосковной «малой родине», я прописался стихотворением «Загородная элегия», в котором нашлось место и сроднившемуся со мной портрету: «На стене висит усталый Пушкин. / Мнится мне, он всех давно простил, / зная цену черни равнодушной / и соседям, милым и простым». Вдали от суеты, в уединении этот Пушкин, точнее, призрак Пушкина стал моим верным собеседником. И ещё. Когда смотрю на него, невольно вспоминаю Александра Петровича, теперь уже шагнувшего за черту земной жизни.

Но вернёмся на двадцать лет назад. Отъезд Межирова состоялся, а я со своей семьёй продолжал жить в его переделкинской вотчине. Дни летели, прошёл месяц, другой — ни Александра Петровича, ни вестей от него. Елена Афанасьевна, с которой я не раз связывался по телефону, ничего определённого тоже сказать не могла. Оставалось одно: терпеливо ждать, надеясь на скорое возвращение старшего друга и Учителя с большой буквы. На третий месяц я заскучал, и это состояние вылилось в стихотворение под названием «Письмо». Я сумел переслать его (и кое-какие сложившиеся в ту пору стихи) с неожиданной представившейся okazji на другой конец земного шара. (Тогда я уже знал, что Межиров пребывает то ли в Вашингтоне, то ли в Неваде.) Решаюсь привести «Письмо» полностью, так как, мне кажется, оно ярче, точнее и убедительнее прозы передаёт мои чувства к Александру Петровичу. К слову, единственный раз, именно здесь, я посмел обратиться к нему на «ты». Думаю, художественная форма позволяет это сделать, не умаляя уважительности обращения.

*Я к тебе путей не знаю,
но зато в родном краю
часто с болью вспоминаю
неприкаянность твою.*

*Те ночные разговоры
в тишине, наедине
с собеседником, который
был всегда так близок мне.*

*Не пророк в своей отчизне,
от души, не свысока
ты сказал, что правдой жизни
правит правда языка.*

*Не считаясь с расстоянием,
в сердце голос не затих,
окрылённый заиканьем
этих гласных горловых...*

*Звуком связаны отныне,
как невидимой струной,
у себя ли, на чужбине,
где бы ни были с тобой, —*

*сохраним в потёмках мысли
путеводную звездой
нашу совесть — стыд корысти,
как её назвал Толстой.*

*Потому что не по крови,
а по Слову состоим
мы в родстве, и тем суровой
оправдание пред ним.*

Года за три до этого хоронили мы маму Елены Афанасьевны Февронию Епифановну. Родом из семьи староверов, прожила она девяносто пять земных лет. Когда траурный автобус подъехал к переделкинскому кладбищу, неожиданно разразился страшный ливень.

— Вот, — сказал Александр Петрович, — видите, не хочет идти в землю, сопротивляется.

С полчаса ливень не унимался, и пришлось ждать его окончания. Потом мы с превеликой осторожностью понесли гроб с усопшей к месту захоронения: глиняные дорожки размыло, ноги скользили, разъезжались. Кладбищенский участок, тесно зажатый между другими оградами, был совсем неухожен. Впоследствии мы с Андреем Алексеевым укрепили могилку песком и гравием, оградили вход столбиками с цепями (Андрей их сработал в своём Леонтьеве). Марина по просьбе Елены Афанасьевны стала ухаживать за могилой, после того как Елена Афанасьевна последовала за Александром Петровичем на чужбину. И ухаживает до сих пор. Теперь в той же оградке захоронена урна с прахом Александра Петровича. Таким образом он вернулся на родину, к месту нашего с ним недолгого, но такого плодотворного общения. Лежит рядом с Февронией Епифановной, лежит «представитель», как он называл себя, «малого народа» и «славянофил подспудно». Можно сказать, всё в его жизни и в посмертье сложилось так, как, наверное, и должно было сложиться, как писала его любимая Анна Андреевна Ахматова: «По мне в стихах всё быть должно некстати, / Не так, как у людей». Думаю, эти строки распространяются и на судьбу любого подлинного поэта.

Николай Глазков в одном из стихотворений признавался: «Поэтом стать мне удалось, быть человеком — удавалось». Трудно в людской стае, где один старается подмять под себя другого ради личной выгоды, карьеры, удобного местечка под солнцем, — трудно оставаться человеком. Это точно. Стоя у могилы Александра Петровича, вспоминаю его строки, когда-то поразившие меня простотой, искренностью и истинностью:

*Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком просто?*

*Всё долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И забываем?*

Вспоминаю и говорю про себя: «Александр Петрович, вы, несомненно, были неподдельным поэтом, но и человеком вам удавалось быть в не меньшей мере. А что вы любимы и забываемы — для меня это аксиома. Спите спокойно».

После того как Межиров покинул родные пределы, я разговаривал с ним по телефону всего несколько раз. Зато посылал ему разными способами свои новые стихи. В свою очередь, встречал публикации его стихов в наших толстых журналах, знакомясь с тем, что он создал там, под «чужим небом». Среди отправленных Александру Петровичу стихотворений было одно под названием «Невозвращенец», строкой из которого я озаглавил свои воспоминания. Начиналось оно так: «Под чужим безгласным небом / что таит он между строк / о земле, где столько не был: / фантазёр, мудрец, игрок?» И вот через какое-то время я встречаю четверостишие Межирова, прозвучавшее для меня как бы косвенным ответом на мой вопрос: «И даже, крадучись по краю, / В невозвращенца, в беглеца, / И в эмиграцию играю, / И доиграю до конца». Могу ошибаться, но мне представляется, что и в разлуке продолжался наш неведомый миру, негласный диалог.

Последний наш телефонный разговор произошёл в тот день, когда в большом зале Дома писателей состоялась презентация его книги «Артиллерия бьёт по своим». Вечер вёл Евгений Евтушенко, который героически, за короткий срок сумел составить её. Приехав домой, я прикинул, что сейчас у американцев должно быть утро, и решил позвонить.

До этого Межиров всегда был разговорчив, а в этот раз отвечал медленно и с трудом, по всему видно, был болен. Так что впервые разговор между нами получился натужным. На моё сообщение о презентации его книги среагировал, как это часто бывало, непредсказуемо.

— Ужас какой! — услышал я в трубке.

Что для меня значит этот человек? Очень многое. По-настоящему я понял это, когда пришло известие о его смерти. Сразу всё отошло в прошлое — полуночные беседы, бильярдные баталии, сама атмосфера творческого переделкинского уюта «на отшибе, от всех в стороне» и многое, многое другое, связанное с неординарной личностью Межирова. Осталась только благодарная память и сожаление о ранней разлуке, связанной со скоропалительным отъездом Александра Петровича «на другие берега». И необходимость закрепить эту память на бумаге.

А недавно, как раз в то время, когда я принялся за воспоминания, Зоя Александровна переслала мне через Марину электронное письмо со строками Александра Петровича обо мне. Строки взяты из письма, которое Межиров написал из штатов Елене Афанасьевне в 1993 году, ещё в пору её пребывания в Москве. Тогда, помню, Елена Афанасьевна по телефону прочла мне их. Но то ли по молодости, то ли по занятости собой, талантливым и красивым, я не смог оценить по достоинству проникновенных слов Александра Петровича. Порадовался и забыл. И вот через двадцать лет эти строки снова всплыли, уже в письменном виде (разбирая архив отца, Зоя счастливо обнаружила это письмо). Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас я воспринял слова Александра Петровича совсем иначе и считаю, что мне дан аванс, который я ещё должен буду оправдать. Чтобы не быть голословным, привожу то место из письма Елене Афанасьевне, где Межиров говорит обо мне:

Рукопись Саши Сорокина произвела на меня сильное впечатление, в ней всё своё, выстраданное, неподдельное. Редкостная цельность. Я тоже скучаю по Саше, по долгим, не пустынным беседам нашим, по его прелестному семейству.

Спроси у него, что он думает о моей поэме и его журнале, в связи с ней.

.....
Я испытываю потребность вернуться к стихам Саши Сорокина.

Может быть, нет сейчас такой серьёзности и ответственности почти ни у кого. Личность поэта, встающая из его слова, в этом случае редкостно цельная.

Если же говорить эгоцентрически, проецируя его поэзию на себя, надо не расставаться с Россией и забыть любую обиду, п.ч. /потому что/ Сашины парадфразы как бы воскрешают меня. Заметила ли ты их? Но это уже эгоистический взгляд. Хотя, вслед за Владимиром Соловьёвым, Сорокин являет своей поэзией высочайший моральный взлёт. По-русски — нравственный.

Прочитай, Лаза (так Александр Петрович ласково называл Елену Афанасьевну. — А.С.), это Саше. Ему это услышать необходимо.

Теперь, Александр Петрович, когда вы смотрите сверху, из неведомых высот, я по-настоящему услышал вас. Признаюсь, журнал я так и не создал — не хватило практической сноровки, да и русская лень — не лучшая национальная черта — к сожалению, присуща мне не в малой степени. Зато трудиться над стихами продолжаю до седьмого пота, и, думаю, вам не стыдно за своего ученика «в тех садах, за огненной рекой, где с воробьём Катулл и с ласточкой Державин»*.

Кстати, поэма, о которой в письме упоминает Александр Петрович, называется «Позёмка». О ней уже говорилось ранее. И конечно же, она уже давным-давно опубликована.

Погружаясь в воспоминания, обнаруживаешь, что нет им конца. Всплывают всё новые мелкие эпизоды, важные для тебя, но не вписывающиеся в канву повествования. Однако главное, как мне представляется, я сумел сказать, и то, что сказал, выношу на суд возможного читателя. Остальное оставляю на суд Божий.

В заключение хочу привести две строфы из своего недавнего стихотворения «Что нас ждёт?», посвящённого Александру Петровичу. В отличие от «Письма», это уже «послание за черту», откуда никто не возвращается, но где все мы будем.

*Оступлюсь — подайте с неба знак.
Вы со мной быть искренним умели,
в точной рифме были вы мастак
и строкой не били мимо цели.*

*Добрым словом поминаю вас.
Мы заочно в жизни умираем,
Александр Петрович, много раз!
Как вы там, за самым крайним краем?*

Январь 2014

*Из стихотворения В. Ходасевича «Памяти кота Мурра».

МЕМУАРЫ

Февраль 2010 г.

Анатолий Матвеев

Трудно начинать, но думаю, что надо, так как мои записи, может быть, будут кому-нибудь полезными и интересными. Кому-нибудь — это пра-пра-пра... внукам Пономарёва Александра Игнатьевича и Матвеева Григория Дементьевича.

Интерес у людей к своим предкам растёт от поколения к поколению. Моему поколению и тому, которое было передо мной, советская власть пыталась запретить интерес к памяти о своих предках. Жизнь для советской власти начиналась с Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.

Мои родители помнили только своих родителей, дедушек, бабушек. Но нигде, кроме своей души, не сохранили о них память, и вместе с их смертью все эти факты исчезли. Это связано, прежде всего, с тем тяжёлым временем, в котором жили, было не до воспоминаний, надо было выжить, ну и, конечно, безграмотность, отсутствие всякого образования. Дедушка Пономарёв Александр Игнатьевич читал, считал на счётах, бабушка Парасковья Прокопьевна вместо росписи ставила крестик. Дедушка переживал, что не попал в своё время на курсы пономарей, «а то бы человеком стал».

То, что я запомнил, постараюсь изложить здесь, на бумаге.

Первое поколение, получившее образование, — это мои родители. Они были единственными образованными людьми в семье. Мамин брат Семён мог бы учиться, но не захотел. Папины братья и сёстры из-за тяжёлого материального положения семьи не смогли учиться. Папа был в такой же ситуации, но, несмотря на все трудности, полу-



*Иван Георгиевич
и Анатолий Иванович Матвеевы.
Начало XXI века.*

чил образование. Папа часто говорил про Семёна Александровича: как при таком отце — Пономарёве Александре Игнатьевиче — и не учиться. Но война, затем семья...

Папа рассказывал, что предлагал брату Максиму учиться, но тот, очень трудолюбивый человек, отказался. Третий брат Пётр погиб восемнадцатилетним парнем в 1943 году, разорвало снарядом при наступлении. Дочь Максима Лида сейчас живет в Германии, получила образование и очень способная к наукам.

Откуда и когда пришли в Сибирь как папины, так и мамины родители — неизвестно. Я расспрашивал маму, она вспомнила, что спрашивала у бабушки Анны, матери отца, откуда и когда они приехали в Козловку. Она ответила, что родилась здесь, и когда появилась деревня, не знает. Можно чётко сказать, что наши предки по обеим линиям были коренные сибиряки, одними из первых осваивали эту местность и появились здесь почти одновременно, только Матвеевы поселились в верховьях речки Емец, а Пономарёвы в среднем её течении.

Мой папа — Матвеев Иван Георгиевич — родился 23 июня 1917 года в деревне, которая имела два названия, что редко, — Неверово и Луговая. Сейчас сохранилось название Луговая. Деревня на берегу речки Емец, в Бердюжском районе, она действительно располагается в лугах. Больше степной вид, чем лесной у этой деревни. Деревню эту я увидел только после перестройки, когда папа вместе с нами — мною и Лёней — поехал навестить родину.

До этого, хотя жили недалеко, он не ездил в эту деревню, по-видимому, не хотел разговоров, так как все боялись. В большом доме их семьи



*Иван Георгиевич Матвеев.
1945 г.*

при советской власти был магазин, но когда мы приехали, дома уже не было, нашли лишь место, где он стоял. Папа всем говорил, что его родина — Север, и нам ничего не рассказывал о детстве в этой деревне, хотя выслали их, когда ему было 13 лет.

Его родители, которых я не видел, Матвеев Егор Дементьевич 1889 года рождения и мать — Варвара, жили в этой деревне большой семьёй. У отца было два брата с семьями, вели большое хозяйство. Главным был дед, папин отец. За стол садилось 17 человек. Семья считалась богатой, но по нынешним меркам — бедная. Работали с утра до вечера. Руководил всем Егор Дементьевич. Где Егор, где Георгий. В Сибири раньше считалось, что это синонимы, можно так и так. Дедушки Гаврилы сын — дядя Гоша, его часто называли Георгием. Также Лёня и Алексей считались одинаковыми именами. Сейчас это не так. Кроме братьев, у дедушки были сестра Мавра, папина тетя. Она вышла замуж за Скипина, и её семья также большая. Внук её сейчас профессор, заведует кафедрой в сельхозакадемии. Откуда приехали в Сибирь и когда, какое это поколение сибиряков, папе было неизвестно.

В 1929 году, когда создавали колхозы, «раскулачивая» всех подряд, дедушку арестовали, отправили в Ишим, и след его потерялся. Никто о нём в семье никогда не говорил. При перестройке выяснилось, что он был расстрелян в Ишиме, похоронен — неизвестно где. Вероятно, на Лысой горе около города, где хоронили всех расстрелянных, а их было в тридцатые годы — и больше всего в 37–38 годах — несколько тысяч!!!

Написал, и стало жутко. Что перетерпел народ! В документах нет даже даты расстрела. Рас-

стрелян вместе с родным дядей, Матвеевым А.Е. В документах о реабилитации, которые появились после падения советской власти, в списке расстрелянных они рядом. Расстреляли их как кулаков, и вторая причина — во время восстания крестьян в 1921 году, после его разгрома, он помогал скрыться одному из руководителей восстания — Абрамову. Папа уже потом рассказывал, что его отец возил продукты прятавшимся руководителям. Позже Абрамов с семьёй куда-то уехал и, наверное, уцелел. Когда приехали за дедушкой из Бердюжья и арестовали, папа был в школе, и дедушка с охраной зашёл в школу попрощаться.

В доме папы жил двадцатипяти тысячник из города — рабочий, который участвовал в ликвидации, он сказал папиной маме, что их вышлют. Это по слухам. Никто никому ничего не объяснял. Нет никаких документов, кроме этих, которые я привожу из книги, вышедшей после падения советской власти.

«Книга расстрелянных», Тюмень, 1999 г.:

— *Матвеев Егор Дементьевич*. 1889 года рождения, д. Луговая Бердюжского района, крестьянин. Арестован 16.12.1929 г. Осуждён судом тройки ПП ОГПУ по Уралу 22.02.1930. Расстрелян в Ишиме, когда — неизвестно. Реабилитирован 19.07.1989 г.

И соседняя запись — *Матвеев Андрей Емельянович* 1876 г., д. Луговая (ныне Бердюжского района), крестьянин. Арестован 13.12.1929 г. Осуждён судом тройки ПП ОГПУ по Уралу 22.02.1930. Расстрелян в Ишиме — неизвестно когда. Реабилитирован 19.07.1989 г. Это дядя моего дедушки.

Напечатал, и слёзы чуть не потекли. Как передать словами эту жуткую трагедию.

Бессмысленную.

В глухой деревне, а её надо хоть раз увидеть, и поймёшь, что такое глухая деревня, — работающих мужиков, молодых, без суда и следствия — расстрелять.

Бабушка, предупреждённая уполномоченным, приготовила продуктов питания, обила пестерёк — плетёная коробка на дровнях (повозка для зимы) — овчинами и этим спасла своих детей. Их было трое — старший Максим, как я помню, с 1914 г., папа с 1917 г. и Петя с 1925 г., то есть шестнадцати, тринадцати и пяти лет от роду.

Двух братьев деда, которые жили одной семьёй вместе, сослали на Урал, на шахты. В 1956 году один из папиных дядёв приезжал, но в дальнейшем отношения они не поддерживали.



Папа говорил, что выжили благодаря Максиму, трудолюбие, вернее, трудо-способность, смётка которого были настолько удивительны, что им даже восхищались другие мужики, которые были сосланы. А это были трудяги, и их оценка способностей Максима была тем более ценна.

Ехали на своих лошадях под охраной, останавливались в разорённых к тому времени церквях. Разводили костры на ночёвках и кое-что варили. Поскольку Варвара приготовилась, то она пристраивалась сбоку к костру и варила ребятишкам припасённое. А так бы умерли ещё дорогой. Умирали дорогой старики и молодые ребятишки.

Доехали до Тобольска, лошадь отобрали, и их семью с другими отправили в Уватский район, на реку Туртас. Жили в деревнях впроголодь, а осенью их высадили на диком берегу реки в октябре, и они стали рыть землянки, строить дома — всё из подручного материала. В этом месте раньше было стойбище охотника Быкова, и посёлок называли Быковка. Раньше, за несколько лет до этого, в этом месте лес выгорел от пожара.

Выжили с трудом, ходили по деревням, просили подаяния. Подавали по куску хлеба, картофель. На следующий год, несмотря на голод и крайнюю бедность, папа пошёл учиться в Черпау, деревня в тридцати километрах, на другой стороне Иртыша. Там была семилетняя школа специально для сосланных. Жил на квартире впроголодь, но отношение среди переселенцев было гуманное — не было драк, ссор. Понимали, что иначе все умрут. Одно время жили в землянке на берегу реки. Директор школы, видя такое бедствие, выдал справку об окончании семи классов раньше времени.

Летом вместе со всеми работал в колхозе. Работа была тяжелейшая — раскорчёвывали под пашню леса. Люди были голодные, собирали съедобную траву, часто умирали. Папа был слабым, и он с такой благодарностью вспоминал молодого фельдшера, который освободил его от тяжёлых работ и назначил пол-литра молока в день. В его обязанности входило каждый день приносить донесение коменданту — сводку о проделанной работе. Почти ночью шёл в посёлок Туртас (Чебунтан — второе название), где жил комендант, дорога — километров семь, надо было переплывать на лодке реку Туртас (довольно большая река), а затем возвращаться домой в Быковку. Этот молодой парень, фельдшер, вскоре заразился тифом и умер.

Когда папа возил нас туда, то мы проходили этой дорогой. Папа нас возил раза три — первый раз в 1959 году мы были с Лёней и запомнили эту поездку — и затем взрослые, когда туда проложили железную дорогу и рядом с посёлком Чебунтан построили станцию «Юность комсомольская». Затем я там бывал, когда меня направляли в командировку в районный центр Уват раза 2—3. Деревни Быковка нет. Были на кладбище, которое было рядом с деревней, оно заросло большими соснами. Нашли с трудом могилу Максима. Сейчас там, наверное, и даже следов посёлка не найти. Рядом с этим местом проведён огромный газопровод, асфальтированная дорога Тюмень — Уват — Сургут.

Приведу тоже интересный случай. Я летал по санитарной авиации и оперировал во всех больницах области, и нередко в Уватской центральной районной больнице. И однажды парень, студент 6-го курса, попросился со мной слетать в Уват. Лететь до Увата самолётом санавиации больше двух часов, и дорогой он мне рассказал причину его желания посмотреть. Его дед по матери был богатым крестьянином около Кургана, физически очень крепким, здоровым, под два метра ростом. Его сослали в Уватский район. Он сделал мельницу уже в ссылке, много работал, сумел дать учительское образование своей дочери, матери этого студента. Ему хотелось посмотреть на Уватскую землю своего деда, которого он знал только со слов своей мамы.

Папа в Тобольске окончил курсы педагогов и учительствовал в деревне Земляной, почти на родине. Почему в этой деревне — рядом, в Ражеве, жила сестра Анна Егоровна Курских. Она не была сослана, потому что вышла уже замуж и жила своей семьёй. Она ему помогала. В 1939 уехал в Тобольск и поступил в учительский институт. За

время учёбы с передвижным театром ездил на пароходе по Северу (есть фотография — в Горках, Ямало-Ненецкий округ).

В 1941 году уехал в Быковку. С началом войны вызван телеграммой в институт и баржой с другими направлен в Омск, где строили военный завод, который эвакуировался из Москвы — авиазавод. Поезд с оборудованием вышел уже из Москвы, а площадка для его приёма не была готова. Они делали водовод-канализацию с этой площадки. Работали мужики из окрестных сёл. Трубы делали из досок, рыли траншеи. Кормили их хорошо, так как власти очень торопились сделать этот важный участок работы, без которого нельзя было наладить военное производство, да и мужики были местные, так что питались хорошо.

Папа, как грамотный человек, заведовал фуражной службой. Несмотря на уже наступившую зиму, жили в палатках, но их утеплили, и было сносно. Он рассказывал, и я не могу не привести — следующую историю. Анна написала письмо, что её муж Дементий в Омске, — казарма в цирке. Папа нашёл строящийся цирк, где были казармы и нары в несколько ярусов. Солдаты были не просто голодные, а очень голодные. Папа сказал Дементию, что завтра принесёт ему хлеба. Дементий говорит — почему завтра, пойдём сейчас. И, как говорил папа, — мы побежали. Он накормил Дементия и собрал ему в наволочку от подушки хлеба (позанимал у своих). Дементий написал об этом Анне. У неё уже было двое детей — Николай и Галина, сродные наши брат и сестра. Дементия вскоре направили на фронт, он проезжал через Голышманово, и Анна встречала его там. Дементий погиб вскоре.

Вскоре призвали в армию и папу. Обучение проходило в посёлке Светлом под Омском. Кормили плохо, но перед отправкой на фронт давали поесть, и настроение у всех сразу повышалось. Привезли его под Москву, по-видимому, наступали (начало февраля 1942). Папу распределили в артиллерию, как грамотного — в разведку. Это точно. Размечал цели, лазил по передовой. Бойцы часто подрывались на минах, попадали под обстрел.

Через какое-то время его прикомандировали, как грамотного, к майору Фролову, который был преподавателем в артиллерийской академии (или училище) в Москве. Он вырабатывал новые уставы артиллерии в связи с неэффективностью старых. Папа, как грамотный, очень помог ему, и офицер обещал папе обучение в артиллерийском училище. Уже в конце работы при размет-

ке попали под миномётный огонь, и майор был смертельно ранен. Папа писал его жене. Вышел приказ папу направить в артиллерийское училище днепропетровское, которое находилось в Томске. Папа говорит, побежал к особисту напомнить ему, что он из спецпереселенцев. Тот ему ответил — знаю, езжай.

Добирались до Томска больше месяца. Ехали будущие курсанты со всего фронта. Один был Героем Советского Союза.

Дорогой с одним товарищем со станции Голышманово сходил в Ражево, навестил сестру Анну. Догнали своих до Томска.

Рассказывал о Томске. Занимались в университете, где помещался ранее горный факультет. Рассматривал различные образцы минералов в аудитории. Когда освободили Днепропетровск, училище вернули туда. Город был повреждён. Была командировка в Харьков, где ходил в театр. В Днепропетровске видел клиники операционные с колпаком в потолке (университетская клиника). Но всё было разрушено.

Был выпущен младшим лейтенантом и направлен в часть, которая наступала на Берлин с юга. Рассказывал очень много о Германии. Часть располагалась в старинном замке, всё выбрасывали из помещения, мебель приспособили для хранения карабинов. Рыбопитомные пруды спустили для добычи рыбы, на дне обнаружили герметичные бочки с чем-то, что сразу забрали особисты.

Несмотря на войну, немцы продолжали работать — пахали. Немцы жили богато, у батрака несколько костюмов и т.д. Все удивлялись: можно было бы пограбить хозяев, а батраки работают. Рассказывал о склепе, где похоронен основатель замка и его последующие поколения.

В армии его звали учителем — образование, два курса учительского института, было редким. Командовал топографическим взводом, где были наиболее грамотные. Немцы прорывались в американскую зону, чтобы сдать там, были частые перестрелки, и несколько солдат погибли. Расстраивался после стольких лет, что так случилось.

В армии не остался и был демобилизован в 1946 году. Приехал в Голышманово, и его направили в Ражево, директором школы. Школа располагалась в деревянном здании, одноэтажная, я её помнил. В Ражеве женился на маме — Анфисе Александровне, которая после Козловки работала в Ражеве. Из трудармии (это была своего рода

трудовая тюрьма) возвращался старший брат Максим, работал, по-моему, в Кузбассе, заехал в Ражево, где жили сестра Анна и брат. Помог папе огородить огород. В деревне всё было разрушено, огороды разгорожены, всё сожгли во время войны. Максим показал сноровку, чему все удивлялись. Он ушёл вверх по реке, нарубил жердей, сплотил их и плотом сплавил к самому дому. Транспорта тогда не было.

Затем он уехал в Быковку, где его ждала жена Ева, немка, тоже сосланная. У них родилась дочь Лида, она в 1997 году с семьёй переехала в Германию. В 1949 году при разборке старых домов его ударило бревном, и Максим погиб. Папа, мама, Валя и я ездили на похороны. Я это не помню, но Валя помнит. Папину маму Варвару забрали в Ражево. Мама рассказывала, что сначала я бабушку помнил, но затем забыл. Умерла она в 1950 году, когда мне было два года, и похоронена в Ражеве. До сих пор я езжу к ней на могилку. Она была измотана тяжёлой работой. Ей было не более 60 лет. Папа говорил, что непосредственно хоронил её Симонович — новый муж тёти Анны. Очень умный и удивительный человек. Умер он в пожилом возрасте и похоронен тоже в Ражеве. Я помню его рассказы о трудармии — он был тоже в Кузбассе. Жутко.

Надо рассказать об одном случае. Мне было, наверное, четыре года, потому что пятилетним я был в Голышманове. Собирали кости все ребятишки и сдавали их ремонтникам, а на вырученные деньги покупали рыболовные крючки, нитки и другую мелочь. Нищета была невероятная, поэтому занимались этим и взрослые. Денег в деревне ни у кого не было. Сахар, конфеты были роскошью. Я насобирал полное ведро костей, оно стояло в кухне, помню как сейчас. Ел суп, пришёл друг постарше — Вова Раев. И предложил пережечь кости на сахар. Было такое поверье у всех. По справочникам уже в пожилом возрасте я нашел, что их собирали для производства клея. Синтетических материалов тогда не было, и всё создавалось из естественных продуктов. Выбрал кость из супа и добавил в уже полное ведро. Ушли за пригоны, из соломы разожгли костёр, стали бросать кости, а пламя всё больше. Испугались и убежали. Сгорели пригоны (где стоял скот, но скот не пострадал) и избушка дяди Сёмы. Восстанавливать её помогали оба деда и родители. Одновременно пристроили комнату к избушке. Этот дом в настоящее время со-

хранился. Живут там бичи. Пожар наложил и на меня отпечаток, но постепенно всё как-то сгладилось в душе.

В 1953 году папу назначили директором строящейся школы в Голышманове, это была первая каменная школа в округе. Мама в это время поступила в Ишимский учительский институт и училась там уже два года. Она часто приезжала, а с нами сидела бабушка Домна — домработница. С этого периода я всё отчетливо помню. Жили в школе, вход был отдельным, сейчас там мастерские. Потом пристроили сени. Сейчас их, наверное, нет. Папа был очень активным, трудолюбивым. Постоянно в школе. Меня не с кем было оставить, и папа брал меня на уроки, садил на свободное место, давал карандаш, и я что-то рисовал, часто невпопад идущему уроку что-нибудь спрашивал. Ходил на уроки физкультуры со школьниками. Однажды ушёл с ними на лыжах и отстал, и чуть не замёрз. Физрук Василий Иванович Луцицин хватился и побежал за посёлок, где катались, и притащил домой.

Вот называю фамилию, и сразу хочется сказать об этом человеке — энергичный, вместе с папой построили в школе стадион, который в общероссийском конкурсе занял второе место. Всё из подручного материала, на энтузиазме. Построили первый в посёлке физзал. Строила вся школа. Собирали на месте выгрузок щебень — ходили целыми классами — мелкий щебень для беговых дорожек.

Не могу не сказать о Медведеве Александре Павловиче — преподавал столярное дело. Худенький, но невероятно трудолюбивый мастер не только в столярке, но и в проектировании. Когда приехала комиссия принимать физзал, то они удивились конструкции крыши, которая была построена с большим запасом. Сами строили мастерские, начальную школу. Я часто работал с Александром Павловичем. У нас покосы были рядом. И как-то раз он нам рассказывал о быте немецких военнопленных так интересно и подробно, что у меня, мальчишки-школьника, вырвалось — откуда всё это он знает. Он ответил, что охранял пленных. На самом деле перед войной его арестовали, и он сидел в лагере на Урале, куда и поступали немцы. Немцев кормили лучше. Александр Павлович был мастер на все руки, трудолюбив и сумел выжить. Они строили военный завод. Но умер он от туберкулёза. Заразился в лагере, от оперативного лечения туберкулёза, будучи свободным, отказался, и произошла генерализация туберкулёзного процесса, и он умер в начале 70-х годов.

Сразу же около школы разбили сад, парники, и своей семье папа отвёл участок, где я работал.

Даже сейчас это у меня в памяти — яблони, малина. Школьники выращивали лён — помогали корчевать поля, сеяли механизаторы-крестьяне, но рвали его мы — школьники, сейчас это вспоминается с таким интересом, потому что как вязать снопы, составлять их в бабки, расстилать его для подготовки волокна, ни школьники, ни взрослые не знают. Папа был инициативен, несмотря на препятствия, доводил дело до конца, и нельзя было не заметить этот труд — ему присвоили звание Заслуженного учителя, наградили орденом Ленина — это была высшая награда страны.

Первые годы в школе не было электричества. Технички заполняли лампы керосином и ими освещали классы. Школа отапливалась печками, дровами, школьники сами заготавливали, кололи и растаскивали дрова по печкам, технички — топили. В школе жизнь продолжалась с утра и до ночи. Не было света, телевизоров, очень редко — радио. Дома было скучно, и все шли в школу. В школе играли, пели, конструировали поделки, занимались спортом прямо в коридоре. Я вертелся вместе со всеми, хотя не ходил ещё в школу. Надо учесть, что занятия шли постоянно в две смены, а изредка была и третья смена. Много ребятшек пропустили школьные годы из-за войны, и классы были переполнены. Иногда запрягали лошадь, которая была в школе, и меня отвозили месяца на два в Козловку.

Мама — Пономарёва Анфиса Александровна — родилась в Козловке (4 км от Ражева) в 1918 году 18 августа. Родилась в поле. Мама даже показывала это место — поле, где её мама жала овёс, там и родила. Это недалеко от озера Мочище, куда мы маленькими и даже подростками ходили ловить карасиков на удочку. От деревни это километра 3–4.

Её родители — Пономарёв Александр Игнатьевич 1888 года рождения 14 сентября. Родился в Земляной (соседняя деревня), но вся жизнь прошла в Козловке. Был очень бедный, так как его отец, по-моему, был в солдатах, и ему не досталось наследства. Начинал с ноля, но неимоверным трудолюбием и жёсткой экономией сумел выбиться в середняки, даже имел маленькую ветряную мельницу, из-за которой чуть не раскулачили. Характера был очень смирного, как говорила мама, боялся тележного скрипа. Мастеровым он не был, но трудолюбия был необыкновенного до старости. В армию его не взяли — из-за порока сердца. Дожил до 73 лет при такой физической нагрузке и умер быстро от сердечной недостаточности в несколько дней.



*Заслуженный учитель России
Иван Георгиевич Матвеев*

У них, так как мама училась, я жил часто и подолгу. Лето полностью проводил у них. Дедушка был с бабушкой Прасковьей Прокопьевной очень дружен. Кроме меня летом приезжали в деревню и Лёня, Вова Пономарёв. Оля, Таня, Люда реже.

У деда был брат Гаврило Игнатьевич, старше дедушки на четыре года. Он был в царской армии, участвовал в Первой мировой и в Гражданской на стороне красных, был мобилизован. Он, в отличие от деда, был более храбрый, матерился и всё время задыхался, но курил. Дедушка совсем не курил. Я часто расспрашивал дедушку Гаврилу о войнах, в которых он участвовал. Он рассказывал много и охотно. В Красной армии был ездовым на тачанке, воевал на юге России. Оба брата жили в двухстах метрах друг от друга и часто ходили в гости.

Мама, как она о себе говорила, была физически очень крепким человеком. Начальную школу окончила в Козловке, семилетнюю в Земляной и год проучилась в средней школе в Голышманове. Но вместе с Полиной Петровной Лютенко (ей 93 года, она по сей день жива, вот так складывается жизнь) уехала в Тюмень, окончила педагогическое училище. Училась в Тюмени два года, мама говорила — могли бы взять сразу на 3 курс, но подвели знания по русскому языку, а по математике отметили хорошие знания и могли бы принять на более высокий курс. Училище располагалось рядом с университетом, там сейчас одно из зданий сельскохозяйственной академии и на нём доска, что здесь во время Великой Отечественной войны находился госпиталь для раненых.

* * *

Про жизнь в Козловке. Надо ещё раз вспомнить, что ни радио, ни газет, ни тем более телевидения не было. Но человеческая натура такова, что требует развлечений, наполнить досуг. Мама рассказывала, что рано утром, на заре, она выходила из дома, садилась на крылечко и слушала, когда попутный ветер принесет звук свистка паровоза, который проходил мимо станции, а она была за 20–30 км. Конечно, надо ждать, будет ли гудок или нет, куда дует ветерок, донесёт его звук ветром или нет, но мама просыпалась, выходила, ждала и иногда дожидалась этого едва слышимого признака другой жизни. И это была радость, положительные эмоции.

Ей лучше давалась математика, чем гуманитарные предметы. После окончания педучилища работала в семилетней школе Средних Чирков (южнее Ражева). Вышла замуж за козловского Ершова Фёдора Марковича, родила Валю в 1942 году, когда он был уже на фронте. Фёдор Маркович участвовал в Финской войне, окончил курсы офицеров и во время Отечественной войны был лейтенантом, был тяжело ранен в бедро под Ржевом и погиб от гангрены. Мама переписывалась с женщиной-хирургом, которая лечила Фёдора Марковича. Мама все военные годы работала учительницей в Козловке, часто работала со всеми в поле, но как учительница — варила колхозникам кашу. Награждена за доблестный труд в Великой Отечественной войне — была такая медаль.

В 2009 году произошёл этот разговор. Рассказал мне Брагин Александр Игнатьевич, о 1948 или 49 годе, когда он после нескольких лет пропуска школы (не в чем было ходить) приехал в 5 класс в школу в Ражево, чтобы продолжить обучение, из Лапушина, где за три года до того закончил 4 класса. Семья была большая, время военное, нищее, и просто не было возможности ехать в другую деревню, чтобы продолжить образование. А желание учиться было. Моя мама стала его спрашивать, знаний, чтобы продолжить обучение, не оказалось. Она предложила ему приходить домой к нам и заниматься. Он пришёл. Мама одной рукой качает меня, второй исправляет ошибки в тетради. И так он ходил к маме, пока не догнал остальных. Рассказав мне эту историю, он прибавил: «Святая была Анфиса Александровна». Дочь его в этом году была у меня лечащим врачом. Вот такое переплетение судеб.

Валя всё время жила в Козловке у деда и переехала в Голышманово, когда перешла в 5 класс. Я помню, как подружки провожали её в Голышманово.

Мы все жили вместе в школьной квартире. Строить дом начали в 1958 году, в 59-м закончили. Основным требованием родителей в выборе места постройки дома была близость к школе. И построили дом в ста метрах от неё.

Сегодня, когда я рассказываю эту историю, прошло 13 лет, как умерла мама. Умерла она от рака пищевода. Боли появились за полтора года до смерти, но диагноз поставить не смогли — рентген желудка, фиброгастроскопия не выявили опухоли в начальной стадии, и диагноз был поставлен летом 1996 года, в стадии, когда оперировать было сомнительно. Но мама категорически отказалась от операции и прожила ещё чуть не год. Мы — все её близкие — поражались, с каким достоинством, или лучше сказать, мужеством мама прожила остаток дней, хотя очень сильно похудела, не могла есть. Пишу и плачу. За три дня до смерти приготовила всё для того, чтобы нас угостить блинами. Это у нас скорее было традицией: когда мы приезжали, она кормила всех блинами. А в тот день, исхудавшая, зашаталась, мы её подхватили, уложили. Опухоль занимала весь живот, появилась жидкость в животе. Я сделал ей прокол, откачал. На следующее утро, часа в четыре, она перестала дышать. Мы с папой были рядом, заплакали, обнялись, на третьи сутки похоронили.

Сейчас диагноз можно было бы поставить на ранней стадии — появились в Тюмени компьютерные томографы. Тогда установить своевременно диагноз не удалось, хотя рак Лидия Васильевна Токтарёва подозревала и провела все обследования, которые выполнялись в те времена, но они были примитивными. В 1998 году я был в Германии и видел такую точно операцию у более пожилой женщины с отличным исходом. Но мама жила в России...

* * *

После смерти мамы с папой были то Валя, то я. У меня уже была машина, и мы ездили по старикам, которых он знал. Были в Винокурове и ещё где-то. Потихоньку он привык к одиночеству, а осенью переехал в Онохино. Первый год жил у Лёни, а затем до конца жизни в Онохине. Перевезли из голышмановского дома всё — даже огородный дряхлый инвентарь. Когда машину разгружали, помогающий мужик спросил папу: «Зачем ты это привез?» Он ответил: «Я приехал жить, а не умирать». И прожил ещё 9 лет. Причём прожил хорошо, активно, сначала, когда были силы, много работал на огороде, в саду, выписывал газеты, журналы. Много читал и писал. Нашёл много земляков по Быковке, с кем учился.

Мы ежегодно ездили летом в Голышманово, на могилу мамы. В 2003 году было 50-летие школы, которую папа строил и много лет возглавлял. Он очень хорошо выступил, чётко определил и достижения, и задачи, трудности перед сегодняшней школой (тесно, школа для разросшегося поселка и для современных требований обучения маловата). Кроме того, когда я был по санитарному заданию в Исетске, то побывал в музее и увидел на снимке школу такого же типа, как в Голышманове, в одной из деревень этого района — посёлке Коммунар. Школа эта, в отличие от голышмановской, была без пристроек, такой, как в 1953 году, когда мы только приехали. Мы с ним и Валец дважды ездили, смотрели эту школу.

К нему многие знакомые приезжали, все праздники и даты были многолюдными. И хотя он жил один зимой, весной и летом, всегда рядом были близкие ему люди, и он чувствовал себя там хозяином, что было важно для комфорта. Его приглашали в Онохино на празднование Дня Победы. Появился хороший друг постарше его — Григорий Григорьевич, ежедневно перезванивались, встречались. Постоянно выезжали за грибами, уже стали знать места грибные, а Головинский бор, где были чаще всего, он называл «наш бор».

Последнее лето (2005 год) чувствовал слабость, отекали ноги. Уменьшался интерес к жизни. Выехали мы с ним в «наш бор». Он не стал выходить из машины, посидел и говорит: «Поехали обратно». Вот тогда-то я и понял, что что-то произошло. Он всегда любил ходить по лесу, собирать грибы. Стал говорить, с иронией, правда, — задержался я на этом свете. В октябре он уже не мог себя обслуживать, и мы его перевезли в Тюмень. Периодическая потеря ориентации во времени у него проявлялась месяца два. Поехали однажды в поле, там вспомнился Максим с мужиками, другие возникли воспоминания, отрывочные. Умер 31 января 2006 года на 89-м году жизни. Похоронили рядом с мамой в Голышманове, как он просил, да по-другому никто и ни думал. Прощались в школе, пришло много народу, из школы и похоронили.

Вот я описал два поколения нашей семьи. Что-то со слов родителей, что-то видел сам. В очень тяжёлое время они жили, но жили честно, много трудились и дома, и на работе, жили, как все, скромно, по нынешним временам даже бедно. Но так жили все в то время.

Следующее, третье поколение — это их дети, мы — Валя, Толя, Лёня и Люда. Мы родились в более гуманное время. У нас лучшие условия для жизни, для образования. Рассказывать о себе легче.

Все мы получили высшее образование, специальность, проработали практически всю жизнь. Наши дети выросли, получили образование, и каждое поколение имеет больше возможности для роста, только трудись, старайся.

Валя родилась в 1942 году, институт закончила в 1964-м, преподавала, затем работала на заводе, сейчас на пенсии. Её дети: Лена окончила институт иностранных языков, сейчас домохозяйка. У неё тоже двое детей, только в Германии, муж немец. Антон живет вместе с родителями в Перми, предприниматель, по специальности тоже, как и его отец, инженер-автомобилист.

Лёня, 1950 года рождения, инженер-автомобилист, очень опытный специалист, продолжает работать в Москве. Строил дороги на Севере, в Белоруссии, на Дальнем Востоке. Дочь Наташа, преподаватель в МГУ, кандидат филологических наук, Максим — инженер-автомобилист, работает в Москве.

Люда 1955 г.р., тоже врач, работает в Омске. Дочь Катя — врач, сын Никита юрист.

Я заканчиваю свою врачебную работу. Проработал хирургом с 1972 года по сегодняшний день. Возглавлял почти 10 лет хирургическую службу областной больницы, руководил большим хирургическим отделением. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Дочь Таня, 1972 года рождения, врач, сын Иван, 1978 года рождения, врач-хирург, кандидат медицинских наук.

Что для всех четырёх поколений было общим (я их знал почти всех, кроме бабушки, бабушки по папиной линии) — они были чрезвычайно трудолюбивые. Трудолюбие, порядочность, честность — это без всякой лести выраженные черты характера у всех. Большая склонность к математике, чем к гуманитарным наукам. Инициативность? Не очень. Не выражены амбициозность, карьеризм. Абсолютно не было среди нас пьяниц и даже просто равнодушных к вину. Практически никто не курил.

Четвертое поколение, известное нам, — это наши дети. Они взрослые, наша надежда. У всех у них растёт уже пятое поколение, и я им желаю счастья. Может быть, у кого-нибудь из них возникнет желание познакомиться со своей родословной, и эти записи им немного помогут. Передать дух времени я не смог, но факты, которые я знал и которые уже сейчас никто не знает, я изложил.





Раиса Беляева (Гурина)

И ВСЁ ЖЕ НАВСЕГДА...

ИВАН БУНИН, «ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА»

Киев
Украина

Раиса Андреевна Беляева
(урожд. **Гурина**) – автор статей, посвящённых отечественной кинематографии 1970–1990-х гг., аннотированного научного каталога «Сто фильмов украинского кино» (К.: Спалах, 1996). Публикации в харьковском еженедельнике «Новая демократия», в журналах «Союз Писателей» (2007), «Kreschatik» (2010), альманахе «Рубеж» (2009), «Зарубежные задворки» (2010). Член Союза кинематографистов Украины (2010).

Пожалуй, никто из русских авторов не писал о любви так много и так пронзительно, как Иван Алексеевич Бунин. В его произведениях телесная сторона любви окончательно «обрела легитимацию» в отечественной словесности, притом, что чувство это писатель не разделял на душевное и физическое, а воссоздавал в их неразделимой полноте.

«Что это значит вообще – любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего её слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была непохожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или её тело доводили его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он растёгивал её кофточку и целовал её грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душой потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?» «А любовь, страсть, душа, тело? Что это такое? Ничего этого нет – есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки – разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведёт в отхожее место своего безобразного ребёнка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях – всё любовь, всё душа, и всё мука, и всё несказанная радость»¹.

Тема любви появляется в его творчестве в годы Первой мировой войны с рассказами «Грамматика любви» и «Сын», написанными в 1915 году. Вслед за ними, в 1916 году писатель создаёт «Лёгкое дыхание», где также звучит тема загадочной и неотвратимой власти пола над жизнью человека. Как заметил один из первых исследователей бунинского творчества в отечественном литературоведении В.А. Афанасьев, писателя привлекают две разновидности этого чувства – любовь-наваждение, «лишающая человека разума и превращающая нередко его жизнь в полусонное, но сладостное существование», и любовь-рок, «как ураган налетающая на человека и с неизбежностью приводящая его к гибели»².

Уже в эмиграции, во французском Грассе, в чрезвычайно плодотворный для писателя период между осенью 1924 и осенью 1925 годов, когда почти ежедневно рождался новый рассказ, созданы «Солнечный удар», «Ида», «Мордовский са-

¹И.А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах, издательство «Художественная литература», Москва, 1966, т. 5, с.с. 187-188, 194. Далее цитаты из произведений писателя приводятся по этому изданию.

²В.А. Афанасьев. И.А. Бунин. Очерк творчества. «Просвещение», Москва, 1966.

рафан», повести «Митина любовь» и «Дело корнета Елагина». Любви, оставляющей неизгладимый след в душе, посвящено значительное место в романе «Жизнь Арсеньева» и полностью — тридцать семь рассказов — книга «Тёмные аллеи», которую сам автор считал лучшим из всего им написанного.

С 1923 года на много месяцев ежегодно писатель выезжает в Приморские Альпы, почти всегда в Грасс близ Канн. Своего дома у Бунина никогда не было. В России он останавливался то у родителей, то у друзей или в гостиницах, много путешествовал. И во Франции все месяцы, кроме зимних, он проводил на вилле «Mont-Fleri», а затем «Belveder» и «Channet», которые принадлежали не ему, а мэру Грасса господину Рукье.

Вот что вспоминает о жизни писателя в Грассе писательница Г.Н.Кузнецова, много лет проводившая в семье И.А.Бунина и В.Н.Муромцевой-Буниной:

«В городе позволял он себе жить весьма рассеянной жизнью, беспорядочно ел и пил, превращая день в ночь и ночь в день, но стоило ему приехать в деревню, как всё менялось. В простом, медленно разрушавшемся прованском доме на горе под Грассом, бедно обставленном, с трещинами на шероховатых жёлтых стенах, но с дивным видом с узкой площадки, похожей на палубу океанского парохода, откуда видна была вся окрестность на много километров вокруг с цепью Эстереля и морем на горизонте, он, вскоре по приезде, начинал готовиться к работе.

Подобно буддийским монахам, йогам, всем вообще людям, идущим на некий духовный подвиг, он приступал к этой жизни, начиная постепенно «очищать» себя. Старался всё более умеренно есть, пить, рано ложился, помногу каждый день ходил, во время же писания, в самые горячие рабочие дни изгонял со своего стола даже лёгкое местное вино и часто ел только к вечеру...»³.

В такой обстановке и была написана в 1925 году, на шестом году эмиграции, повесть «Дело корнета Елагина», которую сам автор причислял к произведениям любовной тематики: «Скоро выйдет новая книга “Современных записок”, — писал Иван Бунин своему будущему литературному секретарю, литератору-эмигранту Андрею Седых [Я.М. Цвибак]— где будет мой новый рассказ “Солнечный удар”, где я опять, как в романе “Митина любовь”, в “Деле корнета Елагина”, в “Иде”, говорю о любви».

И всё же повесть эта стоит как бы особняком в ряду бунинской прозы. И причина вовсе не в том, что написана она на основе уголовного дела, на ту пору тридцатипятилетней давности, и героиня её гибнет — гибнут или, что почти одно и то же, навсегда утрачены-потеряны для любимых почти все герои любовных рассказов писателя: гимназистка Оля Мещерская («Лёгкое дыхание»), студент Митя («Митина любовь»), журналистка Елена («Генрих»), героиня одноименного рассказа Галя Ганская, безымянные героини «Солнечного удара» и «Чистого понедельника» — перечень можно продолжать сколь угодно долго. Причина в другом: перечитывая повесть незадолго до смерти в ноябре 1953 года, Бунин вынес ей нелестный приговор: «Вся эта история — **очень** противная история!». Да, это не о ней в одну из бессонных ночей записано на обрывке бумаги: «благодарю Бога, что Он дал мне возможность написать “Чистый понедельник”»⁴.

Как известно, в основу «Дела корнета Елагина» положена уголовная хроника — убийство 19 июня 1890 года в Варшаве русским офицером гвардейского императорского полка Александром Бартевым польской актрисы Марии Висновской. Дело разбиралось Варшавским окружным судом в феврале 1891 года. Среди шумевших судебных процессов немного найдётся таких, которые возбудили бы столь жадное любопытство общества. Трагедия взволновала не только Польшу. О ней писала российская и заграничная пресса, толковали в аристократических кругах, шокированных тем, что на скамье подсудимых оказался офицер блестящего полка, «свой брат». С жаром спорили о процессе либерально-демократическая интеллигенция, которая видела в нём прямое доказательство влияния так называемой «изломанной» декадентской литературы, ещё только зарождавшейся в России, на судьбы людей. Наконец, эхо процесса докатилось до городского обывателя: в этой среде возникла чувствительная песенка, начинавшаяся словами:

*Вчера я с Висновской в Лазенках гулял,
Сегодня, несчастный, в тюрьму я попал.*

Но интерес к «Делу Бартева» не ограничился толками, домыслами и «жестокими романами» — личности героев трагедии привлекли внимание крупных писателей: кроме Ивана Бунина, о ней писал Александр Куприн. На польском языке ей посвящена в своё время имевшая

³А.К. Бабореко. И.А. Бунин. Материалы для биографии. «Художественная литература», Москва, 1967.

⁴Из письма В.Н. Муромцевой-Буниной к Н.П. Смирнову, газета «Русские новости», Париж, 1964, от 10 апреля.

сенсационный успех повесть Лео Бельмонта, за которой последовала целая летопись книжных и газетных статей. И хотя драма в Варшаве произошла задолго до Первой мировой войны, отголоски её хранились в памяти современников и не изгладились до конца даже в последующую эпоху войн и революций. Она привлекала внимание загадочностью мотивов, драматизмом обстановки и каким-то странным сочетанием декадентского театра, бульварности и кровавой действительности.

Внешняя сторона истории была проста и с судебной точки зрения никаких сомнений не вызывала: подпоручик Бартенев выстрелом из револьвера убил свою возлюбленную, явился в полк и сознался в содеянном. Но тем неразрешимее представлялась психологическая сторона происшедшего — мотивы убийства.

Согласно обвинительному акту дело состояло в следующем.

В шестом часу утра 19 июня 1890 года в квартиру ротмистра лейб-гвардии Гродненского полка, помещавшегося в Лазенковских казармах, Лихачёва вошёл корнет Александр Бартенев и, сбросив с себя шинель, сказал: «Вот мои погоны»⁵. Удивлённый его столь ранним появлением и не менее странным заявлением, ротмистр не успел ничего произнести, как Бартенев прибавил: «Я застрелил Маню». На вопрос, какую Маню, пояснил, что убил артистку Марию Висновскую.

Одевшись наскоро и разбудив живших в казармах других офицеров, Лихачёв решил, что прежде всего нужно проверить слова Бартенева, состояние которого было крайне необычным, действительно ли Висновская лишена жизни. Корнет граф Капнист взял у Бартенева ключ от квартиры и поехал к дому №3 по Золотой улице, где проживала актриса. Разбудив прислугу и узнав от неё, что барыня ушла накануне в седьмом часу вечера и домой не возвращалась, Капнист сообщил об этом по телефону в полк. На вопрос, где труп Висновской, Бартенев пояснил, что убийство совершено в нанятой им и только что отделанной квартире на Новогородской улице, в доме №14. Штаб-ротмистр



Елец сообщил графу Капнисту указанный Бартеневым адрес, и оба свидетеля, встретившись у ворот дома по Новогородской, направились в сопровождении дворника Цуглевского и околоточного надзирателя Верховского к нанятому Бартеневым помещению.

Повернув из подворотни налево и поднявшись по четырём ступенькам, свидетели оказались перед запертой дверью, ведущей в нижний этаж дома. Граф Капнист открыл её ключом Бартенева, и все вошли в узкий, совершенно тёмный коридор. Осветив его, увидели в конце, у забитых наглухо дверей, ведущих в соседнее по-

мещение, столик, а на нём и возле него, на полу, тарелки с остатками ужина, пустую и недопитую бутылку, стакан с остатками вина. В правой стене коридора оказалась незапертая дверь, а за нею крошечная, «всего три с половиною аршина в квадрате», тоже тёмная, сверху донизу задрапированная комната. У правой стены от входа, между дверью и заделанным окном, стоял большой низкий турецкий диван, а на нём лежала с полуоткрытыми глазами и вытянутыми конечностями известная актриса Варшавского драматического театра Мария Висновская.

Дальнейший осмотр места и жертвы преступления был произведён судебными властями. Установлено следующее: стены комнаты обиты пёстрой материей, печка задрапирована, пол покрыт мягким ковром, под потолком, во всю величину комнаты, висит громадных размеров зонт, посередине которого прикреплён комнатный фонарь. На трупе обнаружены две визитные карточки Бартенева, на них и рядом, в складках белья убитой, три вишни. Карточки исписаны рукою Висновской, карандашом, на польском языке: первая — «Генералу Палицыну. Приятель мой, благодарю за благородную дружбу нескольких лет, посылаю последний привет, прошу выдать матери все деньги, которые мне ещё следуют из театра: за «Статую» 200 рублей, взносы в кассу, пенсию — прошу, умоляю», вторая — «Человек этот поступает справедливо, убивая меня, последнее прощание — любимой святой матери и Александру. Жаль мне жизни и это стра... Мать, бедная, несчастная, не прошу прощения, т.к. умираю не по собственной воле.

⁵«Московские ведомости», № 41 от 10 февраля 1891 года — далее все цитаты и ссылки на судебный процесс приведены по репортёрским отчётам, опубликованным в этом и следующих выпусках газеты.

Мать, мы ещё увидимся там, наверху. Чувствую это в последний момент. Не играть любовью».

Возле тела Висновской, слева, лежал скомканный шёлковый носовой платок с меткой «А.Б.», а с правой стороны, у стены, — портерная бутылка с небольшим количеством чёрной жидкости, у ног Висновской была приставлена сабля. Между диваном и глухим окном лежала чёрная шерстяная юбка, голубая кофточка, серое шёлковое манто, белая шляпа была приколоты к драпировке. Рубашка убитой и белый батистовый пеньюар оказались целыми, но «в области сердца обнаружили тёмное пятно, а посередине — круглую кровоточащую ранку с обожжёнными краями» (корреспондент «Московских ведомостей», очевидно, неточно передал показания свидетелей: к моменту осмотра Висновская была мертва не менее четырёх часов, и огнестрельная рана не могла кровоточить. — Р.Б.). Кроме того, на выступе печи были найдены сорок исписанных карандашом кусочков мелко разорванной бумаги. Ещё сорок пять обрывков валялись за диваном.

Бартенев дал по делу исчерпывающие показания, из которых было ясно всё, кроме главного, — причины убийства. Таким же непонятным оставалось и поведение жертвы.

Их знакомство состоялось в феврале 1889 года в театре, где кем-то из товарищей по полку он был представлен популярной актрисе и блестящей красавице, блондинке с чёрными глазами, которую поклонники называли «демоном красоты» и которая, естественно, произвела на него большое впечатление. Бартенев — богач, помещик, офицер царского гвардейского полка — ни по наружности, ни по характеру не соответствовал своему социальному положению. Низкорослый, веснушчатый, робкий, он был полной противоположностью Висновской.

Вначале Бартенев ограничивался лишь утренними редкими посещениями и букетами цветов. Но с осени стал бывать в её доме чаще, а в октябре сделал предложение вступить с ним в брак. Ни согласия, ни отказа до решения его родителей, встретиться с которыми он должен был на Рождество, не последовало. Однако в деревне Бартенев о браке ничего не говорил,



Front domu przy ul. Nowogrodzkiej 14

а возвратившись в Варшаву, сказал ей, что получил отказ и что ему «остается только лишить себя жизни».

Висновская в это время свой образ жизни не меняла — сценическая слава, прекрасная внешность и кокетство привлекали к ней поклонников. Их постоянное окружение и посещения дома актрисы вызывали в Бартеневе ревность. Надежда на взаимность то увеличивалась, то исчезала. Почти ежедневно на дом или прямо на сцену доставлялись дары от влюблённого гусара, корзины с цветами сменялись медальонами, браслетами... (Обратим внимание

на важную деталь: броши, по желанию героини, с надписью по-французски «Quand même pour toujours...» — «И всё же навсегда...»), также как и предсмертной записки с этими словами, в реальной истории не было. Это вымысел писателя, необходимый для его понимания происшедшего как драмы иррациональной, подсознательной, необъяснимой до конца.)

26 марта 1890 года, по показаниям Бартенева, между ними наступила близость, но счастью по-прежнему мешало чувство ревности и то, что он, офицер, не может жениться на артистке, — разговоры о смерти участились. И Висновская охотно подерживала эту тему и даже окружала себя эмблемами смерти: она показывала банку, где у неё хранился яд, и маленький, с белой ручкой револьвер.

Во время одного из таких разговоров Висновская спросила, хватило бы у него мужества убить её, а затем лишить себя жизни? В другой раз она взяла с него обещание, что он известит её об окончательном решении покончить с собой и даст возможность увидеться и проститься. Мрачные мысли сменялись пирушками, но ненадолго — взаимное недовольство росло, и размовки участились.

Как-то в мае Висновская заявила Бартеневу, что его посещения компрометируют её и что, если он желает встречаться с нею наедине, то пусть приищет квартиру в глухой части города.

16 июня 1890 года комната, нанятая в доме №14 по Новогродской улице, была отделана, и в тот же день Бартенев предложил Висновской взять ключ от этой квартиры. «Теперь поздно», — ответила та и, не объясняя, почему «поздно», утром следую-

щего дня уехала на дачу к матери, Эмилиии Кичинской, в деревню Поток.

Считая, что Висновская решила порвать с ним, Бартенев написал ей полное упрёков письмо, окончив его заявлением, что он убьёт себя. Вместе с письмом были отосланы её записки, перчатки, шляпа и другие мелкие вещи, подаренные на память. После этого с приятелем Михайловским Бартенев поехал в цирк, пил там шампанское и закончил вечер в ресторане, вернувшись домой около полуночи. Полчаса спустя горничная Висновской передала ему записку от барыни, прибавив, что та ждёт его в карете. Несколькими минутами позже любовники уехали в город. По пути и в квартире на Новгородской происходили объяснения, окончившиеся тем, что Висновская назначила свидание на другой день, в шесть часов вечера. Это свидание, как она говорила, должно было быть последним, потому что окончательно был решен её отъезд через несколько дней за границу, сначала в Галицию, а затем в Англию и Америку.

На другой день, в седьмом часу, ожидавший Висновскую Бартенев открыл ей двери. Войдя в комнату, она положила на диван два свёртка. В одном был пеньюар, в другом — большой заряженный револьвер, принадлежавший Бартеневу, но хранившийся у неё. Мария заявила, что он ей больше не нужен и она возвращает револьвер владельцу.

После полуночи Висновская стала собираться домой, но по просьбе Бартенева задержалась. «Какая тишина, — сказала она через некоторое время, — мы точно в могиле». Потом, помолчав, добавила: «Пора мне ехать, но как-то не хочется уходить, я чувствую, что не выйду отсюда».

Разговор на время прекратился. «Разве ты любишь меня? — возобновила его Висновская, — если бы ты меня любил, то не грозил бы мне своею смертью, а убил бы меня». Бартенев возразил, что он может лишиться жизни себя, но убить её у него не хватит сил. Вслед за этим он приложил револьвер к себе.

«Нет, это будет жестоко — убить себя на моих глазах, что же я тогда буду делать?» — сказала она и, вынув из кармана своего платья две банки — одну с опием, а другую с добытым Бартеневым по её просьбе хлороформом, — предложила принять вместе яду, а затем, когда она будет в забытии, убить её из револьвера и покончить с собой. Бартенев согласился. После этого оба начали писать записки. Висновская писала долго, рвала и опять начинала писать. Бартенев стал её торопить. Они развели опий в портере и выпили. Дальнейшее передадим словами Бартенева:

«Она легла на диван и просила положить ей на колени две записки, ею написанные. Я это исполнил. Затем она намочила свой и мой платки хлороформом и наложила их себе на лицо. Она просила убить её во имя нашей любви, настойчиво повторяя: “Если ты любишь — убей”. Я сидел возле неё с револьвером в правой руке со взведённым ещё раньше курком. Я, кажется, обнял её за шею, а она всё время лепетала, чтобы я её убил, если люблю. Помнится, что я прильнул к её губам... Она по-французски сказала: “Прощай, я тебя люблю”; я прижался к ней и держал револьвер так, что палец у меня находился на спуске; я чувствовал подёргивания во всём теле; палец как-то сам собой нажал спуск, и последовал выстрел. Я не желаю этим сказать, что выстрелил случайно, неумышленно; напротив того, я всё делал именно для того, чтобы выстрелить, но только я хочу объяснить, что то мгновение, когда произошёл выстрел, опередило несколько моё желание спустить курок. Голова у меня была, как в тумане. После выстрела мною овладел ужас, и в первый момент у меня не только не появилось мысли застрелить тут же себя, но у меня никаких мыслей не было или, вернее, они все перепутались в моей голове, и я не знал, что делать. На меня нашло какое-то отупение. Я машинально надел шинель и фуражку и поехал в полк».

Итак, по словам Бартенева, преступление было совершено в припадке умопомрачения и по настоятельной просьбе самой жертвы. По делу было допрошено 67 свидетелей. Одни из них подтверждали правдоподобность рассказа Бартенева, другие же — по большей части родственники Висновской — категорически отрицали добровольную смерть актрисы. Следственным властям удалось восстановить все разорванные Висновской записки. Их содержание было тяжким обвинением против подсудимого:

«Этот человек угрожал мне своею смертью, я пришла. Живою не даст мне уйти».

«Итак, последний мой час настал: этот человек не выпустит меня живой. Боже, не оставь меня! Последняя моя мысль — мать и искусство. Смерть эта не по моей воле».

«Ловушка? Мне предстоит умереть. Этот человек является правосудием! Боюсь... Дрожу! Последняя мысль моя — матери и искусству. Боже, спаси меня, помоги... Вовлеки меня... Это была ловушка. Висновская».

По поводу этих записок Бартенев ничего ответить не смог. За преднамеренное убийство ему предстоял Сахалин, кандалы, каторга.

Судебное следствие было закончено. Дело взяли в руки прокуроры и защитники. Дворянин, наследник имения в Тамбовской губернии, Бартенев по своему социальному положению, естественно, имел возможность пригласить первоклассных адвокатов. Одним из его защитников был знаменитый «московский златоуст» Фёдор Никифорович Плевако, речь которого на процессе Бартенева стала блестящим образцом русского судебного красноречия и в качестве таковой вошла в сборник «Судебных речей известных русских юристов».

Но и судебное ведомство, следуя традиции состязательного процесса, назначило сильного обвинителя, который мог поспорить с искусной защитой, — им был барон Раден.

Дело слушалось в обстановке не совсем обычной для судебного процесса: для его проведения был отведён самый большой в Варшаве бывший бальный зал дворца на Медовой улице. Там было место для судей, почётных посетителей (среди них был и варшавский генерал-губернатор Гурко), многочисленных корреспондентов и, наконец, четыреста пятьдесят мест для публики, впускавшейся строго по билетам.

Когда в зал пригласили для принятия присяги шестьдесят семь свидетелей, по скамьям пробежал шёпот — уж очень блестящим было это собрание: гвардейские офицеры в мундирах (в большинстве своём особы с титулами), писатели, режиссёры, актёры, оперные певцы, шляхетные помещики — люди, известные всей Польше, в особенности из артистического и литературного мира. Так как свидетели принадлежали к разным вероисповеданиям, то присягу принимали ксенз, православный священник и пастор.

Показания свидетелей-офицеров склонялись в пользу Бартенева. Они характеризовали его как хорошего товарища и отличного офицера, однако несколько нервного, психически неустойчивого человека (немаловажно, что его родной брат Николай покончил жизнь самоубийством). Показания свидетелей из числа варшавской богемы носили иной характер: большинство не верило, чтобы Висновская добровольно согласилась на смерть вместе с Бартеневым, которого она, по их словам, совсем не любила.

По свидетельству двоюродных сестёр Висновской — Штенгель, Князевич и Карай, и её друзей — генерала Палицына, певца Мышуги и дворянина Кржывошевского, причина, заставившая актрису прийти на роковое свидание, указана ею в первой из разорванных записок: «Человек этот угрожал

мне своею смертью — я пришла». Такие угрозы со стороны Бартенева повторялись неоднократно, и устно, и в письмах на её имя, написанных из Москвы во время отпуска в декабре 1889 года: «Если не удастся получить согласия на брак, то Вы знайте, на что я решился», «Буду ли я свободен или нет, если нет, то мне остаётся лишь не жить».

Кроме того, Висновская часто высказывала друзьям опасения, что её кокетство с офицером доведёт его до самоубийства, и с ужасом добавляла, что это грех — иметь смерть человека на своей совести. Но, кроме религиозных и нравственных причин, удержать во что бы то ни стало Бартенева от самоубийства у Висновской были и более реальные основания. Она, по словам матери и Елены Карай, боялась, кроме крупного скандала, который бы лишил её места в театре, ещё и других тяжёлых последствий в случае смерти русского офицера: тот уверил её, что его отец состоит московским губернатором, а сестра фрейлиной Высочайшего Двора. Эти опасения за свою жизнь и жизнь Бартенева удерживали Висновскую внезапно прервать возникшую из кокетства и без всякого чувства связь. Выход она надеялась найти в отъезде за границу.

Второе важное положение показаний свидетелей со стороны Марии Висновской касается её отношения к смерти: они подтверждают, что неоднократно слышали от неё о желании умереть. Но эти же люди утверждают, что для избалованной артистки подобные разговоры были только игрой: свою жизнь она настолько дорожила, что при малейшем нездоровьи посылала за доктором, а ничтожная, даже мнимая опасность вызывала у неё панику, а по её миновании — горячие молитвы за спасение. Весёлая, остроумная, любившая сильно и искренне свою мать, Висновская не помышляла о самоубийстве и заявляла своему знакомому Мешковскому, что её принцип — «жить и пользоваться жизнью».

Обстоятельства свидетельствуют, что 18 июня 1890 года артистка вовсе не ожидала смерти. В этот день у неё обедали солист варшавской оперы Александр Мышуга и обучавшая её английскому языку Алиса Розе. Гости утверждали, что Мария была в прекрасном настроении. Около четырёх пополудни, прощаясь с Мышугой, она предложила провести вечер того же дня у неё. Такое же предложение получил и Степан Кржывошевский. Перед уходом из дома Висновская заказала своей кухарке Грабицкой ужин, а горничной Орловской велела зажечь лампу и ожидать её. По дороге к Бартеневу заезжала к портнихе Далешинской, просила приготовить

заказанные ею платья к завтрашнему дню и, пошутив с хозяйкой и работницами, уехала.

Всё это опровергало обвинения обвиняемого о желании Висновской покончить с собой. Они, скорее, указывали на такой мотив, как ревность. Ведь, по его собственному признанию, он ревновал возлюбленную ко всем и каждому, кто, по его мнению, пользовался её расположением. Ревность гусара особенно проявлялась в отношении к председателю управления варшавских театров генералу Палицыну. Распространяемые самой актрисой слухи о его ухаживании и даже намерении вступить с нею в брак

довели Бартенева до того, что один вид лично ему незнакомого Палицына вызывал в нём нескрываемое озлобление. Эта злоба и нежелание уступить Висновскую кому бы то ни было должны были возрасти в ночь на 19 июня до крайности: во время свидания, как показал Бартенев, Мария рассказала ему о своей жизни, полной неудач и разочарований. Даже получение заграничного отпуска сопряжено с условием, что она проведёт с Палицыным две курортные недели. Свою ненависть и торжество, что Висновская тому принадлежать не будет, Бартенев оставил в одной из разорванных записок, которую удалось восстановить: «Генералу Палицыну. Что, старая обезьяна, не досталась она тебе!».

Сам Бартенев, пользуясь предоставленным ему правом голоса, давал показания, дополнял и поправлял свидетелей, но по сути не внёс ничего нового: убийство, продолжал утверждать он, было совершено по обоюдному согласию и по просьбе жертвы.

Представитель обвинения в пространной и хорошо мотивированной речи выдвинул свою теорию, объясняющую дело. По его словам, обвиняемый представляет собой тип прожигателя жизни, богача, предающегося исключительно чувственным удовольствиям. По мнению прокурора, Бартенев вплоть до трагической ночи вообще не был в близких отношениях с Висновской. Она пошла навстречу его желаниям из жалости, перед окончательным разрывом: оба понимали, что предстоящие долгосрочные гастроли означают разлуку навсегда. Бартенев же, чувствуя, что он её теряет, безумно ревнивый к действительным и воображаемым соперникам, в угаре от выпитого шампанского и воз-



буждённой чувственности, застрелил возлюбленную.

Прокурор предъявил обвинение в «предумышленном и обдуманном убийстве без корыстного намерения», которое каралось каторжными работами от 10 до 15 лет.

Слово предоставили защите. Зал слушал Фёдора Никифоровича Плевако, затаив дыхание. Выступая перед аудиторией, в основном настроенной к подсудимому враждебно, знаменитый адвокат силою логических доводов и блистательного красноречия заставил взглянуть на дело по-новому. Эта речь осталась в летописях судебного правосудия

классическим образцом защиты: она отличалась исключительной психологической глубиной, тонким анализом душевного состояния участников драмы, безупречностью стиля и даже художественностью.

Адвокат, в отличие от прокурора, главное внимание уделит не Бартеневу, а Висновской. Плевако считал, что не следует ни идеализировать её, ни «унижать её житейские поступки». В первые годы работы на сцене Мария Висновская должна была чувствовать себя счастливой: молодая, восемнадцатилетняя, красивая и талантливая, она отличалась от толпы «лицедеев из-за куска хлеба» и, естественно, была замечена. Но «очаровавшая её своей эстетической карьерой сцена разочаровала реализмом будничной жизни»: большинство поклонников видело в ней не актрису, а хорошенькую женщину — покой не наступал и после того, как занавес опускался. Жизнерадостная и весёлая девушка помалу превращалась в особу с мрачным настроением чувств и мыслей. Она выписывала в книжку изречения античного скептика о «блаженстве не родившихся и счастья рано умерших». А однажды туда же была занесена и картина будущей смерти в «комнате, обтянутой розовой материей, под таинственно светящейся лампой, среди цветов и музыки».

Но, считает Плевако, Висновская никогда не была отдана сцене полностью. В ней жили женские, семейные инстинкты, которые всё менее и менее могли реализоваться в жизни. Ошибки прошлого обусловили неуверенность во взаимности, заигрывание со всеми равнодушными к ней. Висновская всё более запутывается и теряет

цену в своих глазах — и это не могло не отразиться на её нервах, характере.

«К этому прибавьте, — говорил адвокат, — те изводящие душу условия, среди которых проходит жизнь артистки театрального искусства». И двадцативосьмилетняя Висновская, уже десять лет выходявшая на сцену чуть ли не ежедневно, утомлённая ещё и своим внутренним разладом, «должна была в годы, когда с ней встретился Бартенев, быть уже разбитой натурой. Такой она и была».

Искренняя любовь двадцатидвухлетнего офицера, его желание соединить с нею жизнь приносят актрисе, по мнению Плевако, удовлетворение. Это не совсем так.

Искусствовед М.И.Головащенко, работая над монографией об одном из выдающихся оперных певцов Украины XIX века, солисте Варшавской оперы Александре Мышуге (том самом «Александре», которому посвящена одна из предсмертных записок Висновской), коснулся в ней их отношений. Начиная с 1885 года, более тридцати писем певца адресовано актрисе, последнее же датировано 5 июня 1890 года, т.е. написано за две недели до её гибели.

Родившийся в крестьянской семье близ Львова, Александр Мышуга со временем покорила своим голосом Варшаву, Прагу, Париж и Милан. Сохранились подлинники автографов-партитур, подаренных певцу Пуччини, Доницетти, Берлиозом. Этот человек не только любил Марию Висновскую, но и стремился помочь ей стать настоящей актрисой:

«В тебе божественная красота, и ты чаруешь ею. Однако не благодаря твоему труду и твоему действительно артистическому таланту, а благодаря этой красоте тебя считают необыкновенной артисткой и дарят тебе такой большой успех. Но красота исчезнет, и чем тогда будешь блистать на сцене? У меня нет пока что средств и только появляется успех. Но даже если улыбнётся мне в этом году судьба, как по мне просто магнатская, я пренебрегу деньгами, потому что я недоволен своим пением, и уеду на год в Париж, чтоб учиться дальше. Но ты могла бы без труда сделать то же самое, если бы захотела отнестись серьёзно к искусству и к себе как актрисе. Ты так не думаешь? Вот через год встретимся опять, и если удастся нам ещё раз заблистать на сцене, так пусть этот блеск будет верной печатью действительных наших заслуг, пусть будет платой за ту большую работу, которую нам ещё нужно проделать, чтобы наши таланты создали то, что можно назвать действительно искусством».

В сентябре 1887 года с громадными трудностями Александр Мышуга расторг в Кракове неудачный брак с Марией Прус-Гловацкой, чтобы жениться на Висновской. Это стоило ему больших затрат нервной энергии и баснословной суммы денег. В том числе три тысячи злотых на развод дала ему сама Висновская. И когда преград к их браку не стало, она, несколько лет боровшаяся за Мышугу, отвергает его — Плевако прав в том, что Мария обладала переменчивым характером, была непостоянна в своих привязанностях. И особенно-го стремления к семейной жизни в ней не было — как видим, она могла выйти замуж ещё в 1887 году, притом за человека несомненно более значительного, чем Бартенев. По мнению современников, её любовная история с офицером была ничем иным, как затянувшейся игрой с целью «насолить Мышуге». Но «игра в смерть — по выражению Плевако — перешла в грозную действительность».

Воспитанная сценой, Висновская слишком привыкла переносить театральные эффекты в жизнь. Отсюда её стремление к трагической позе, разговоры о смерти. Она любила красивую и нестрашную театральную смерть, такую, как у Офелии или Дездемоны, в цветах и светлых нарядах, когда по окончании пьесы утонувшая или убиенная под шум оваций вновь появляется на сцене.

Бунинская героиня «...любила намекать на своё сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему... хотела быть в сродстве именно с такими женщинами?» Весьма возможно, что Висновская знала о драматической судьбе рано умершей от туберкулёза русской художницы, дневники которой к тому времени были изданы её матерью и имели шумный успех во всей Европе. И о другой упомянутой Буниным Марии ей, наверняка, было известно: баронесса Мария Александровна фон Вечера (19 марта 1871, Вена — 30 января 1889, замок Майерлинг) — австрийская дворянка, любовница австрийского кронпринца Рудольфа. По одной из версий историков, совершила вместе с ним самоубийство в Майерлинге. По другой, менее распространённой версии, это было тайное политическое убийство наследника австрийского престола.

Как бы то ни было, утверждает Бунин, Мария отличалась «странными душевными чертами», принадлежала к натурам «с резко выраженным и неутолённым, неудовлетворённым полем, который и не может быть утолён. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди

по существу своему обострённо чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всём своем мироощущении, всем силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам — и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий».

В характере и действиях Бартенева — считал его защитник — отсутствовала самостоятельность, он полностью находился под влиянием своей возлюбленной. Не забываем, что ему было всего лишь двадцать два года — как писал Бунин, «возраст роковой, время страшное, определяющее человека на всё его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно... в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого существа: переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола». И то, что для актрисы и двадцативосьмилетней женщины разговоры о любви и смерти были продолжением театра, игрой, интересничаньем, то Бартенев воспринимал всерьёз и трагично.

Он был признан виновным и приговорён к лишению всех прав состояния и дворянства и ссылке в каторжные работы на восемь лет, а по окончании срока должен был остаться в Сибири навсегда, без права возвращения на родину. Его апелляция была отклонена. Кассационная инстанция тоже оставила приговор без изменения. Но в нём имелась оговорка: «по вступлении приговора в законную силу, но перед выполнением, представить на Высочайшее усмотрение», ведь дело касалось офицера полка царской лейб-гвардии.

Не успел осуждённый пересечь границы Польши, как из Петербурга последовал указ: приговор изменить, Бартенева разжаловать в солдаты и отправить в полк на Кавказ, однако с правом выслуги. Солдатская служба длилась недолго — через два года было подано и удовлетворено прошение об отставке, и Бартенев вернулся домой, в Тамбовское имение, где жил отшельником, чуждаясь людского взгляда, никуда не выезжая.

По поводу дальнейшей судьбы бывшего корнета имеются разногласия в печатных источниках. В парижской эмигрантской газете «Возрождение» от 24 декабря 1932 года, — пи-

шет автор книги о И.А.Бунине профессор В.Афанасьев, — была помещена информация, в которой сообщалось: [Бартенев] «скончался в 1916 году в имении в Успенском уезде Тамбовской губернии».

Но в Польше бытует иное мнение. «Как известно, — сообщала варшавская газета для русских „Głos rosyjski“ в 1961 году, — убийца Висновской после революции пришёл пешком в Варшаву, где прожил до последних дней своей жизни нищим и полусумасшедшим». Тот же факт, но более подробно описан на последних страницах «Дела об убийстве Марии Висновской» в книге Станислава Шеница «Pitaval warszawski»:

«На могиле Висновской, с северной стороны, её мать установила прекрасный памятник с бюстом знаменитой артистки. В период 20-х годов около могилы часто можно было видеть какого-то старого, нищенски одетого мужчину, который производил впечатление бродяги. Если бы кто-нибудь захотел проследить его путь, то убедился бы, что старик находит приют в ближайшей ночлежке на улице Дикой, которую содержало для бедняков братство альбертинов и которую всюду знали под названием „Цирк“. В 1932 году, когда бродягу перестали встречать около могилы, разнеслась весть, что при умершем в „Цирке“ оборванце обнаружены документы на имя Александра Михайловича Бартенева. Был он выходцем из России, покинувшим её после Октябрьской революции. Утверждали, что это бывший корнет Гродненского полка гусаров лейб-гвардии, последним желанием которого было умереть в Варшаве около гроба Марии Висновской»⁶.

Что это? Факт биографии прототипа бунинской повести или легенда, сочинённая романтичными варшавянами, судить трудно. Но она довольно впечатляюще завершает историю, которая значилась у Ивана Алексеевича Бунина под рабочим названием — «Всё же навеки».

В заключение добавим, что другой человек, любивший Марию Висновскую, Александр Мышуга, умер в 1922 году в Стокгольме, в одиночестве. Все свои силы, любовь и талант он отдал музыке и воспитанию молодых певцов.

⁶Stanisław Szenic. «Pitaval warszawski», Warszawa, «Czytelnik», 1959, сmp. 270.



Давид Авидан

ИЗ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПЕРЕВОД С ИВРИТА НИКИТЫ БЫСТРОВА

Тель-Авив
Израиль

Давид Авидан (1934-1995) — крупнейший израильский поэт второй половины XX века, один из реформаторов поэзии на иврите, расширивший её границы дерзким, часто парадоксальным сближением «высокого» и «низкого» речевых регистров, уравниванием в правах ветхозаветного слова, обыденной речи, языка философской рефлексии. В своей поэтике он, пусть и с некоторым опозданием, продолжил традиции авангарда — прежде всего, русского футуризма (Маяковский — один из кумиров Авидана) и немецкого экспрессионизма. От первого в его стихах — языковые эксперименты, обилие новых, неожиданных словосочетаний (ср., например, название его первого сборника: «Бразим аруфей сфатаим», «Обрубленногубые краны»), пафос «овеществления» слова посредством его нарочитой депозитизации. От второго — размывание границ между «субъективным» и «объективным», спонтанность переходов от реального к воображаемому, медитативность и захваченность «тёмными», дискурсивно невыразимыми проявлениями индивидуального бытия.

Особенность, характерная для поэзии Авидана и в значительно меньшей мере присущая произведениям его столь же талантливых современников — Иегуды Амихая, Натана Заха, Дана Пагиса, — заключается в ярко выраженном «неприятии мира», близком по настроению к радикальной безбытности Цветаевой или, скажем, к антибуржуазному нигилизму битников. В человеческом существовании для него важнее всего то, что связано с постоянным отказом от условности и относительности жизни ради почти невозможного переживания её полноты. Именно поэтому всё условное и относительное из мира Авидана устраняется. Остаются чистые бытийные формы, в которых уже нет ничего эмпирически определённого — «что-то» вместо вещи, «кто-то» вместо лица (название ещё одной авидановской книги — «Машеһу биш-виль мишеһу», «Что-то для кого-то»), «память» вместо воспоминания, «вода», «земля», «ветер» вместо внятных изображений ландшафта, пейзажа. И лирическое «я» тоже подобно некой «беспредметной» структуре, или, выражаясь по-хайдеггеровски, простому «присутствию», непрерывно воссоздаваемому силой онтологически весомой речи, совершенно непричастной к суете повседневного.

Стихотворения, вошедшие в данную подборку, относятся к раннему периоду творчества Давида Авидана (1954-1962). Перевод сделан по первому тому четырёхтомного собрания: Давид Авидан. Коль һа-ширим. — Тель-Авив, 2004-2008.



МЕЖДУ ПРОЧИМ

...И сойдут они с далёких гор,
и быков, иступлённо мычащих, убьют.
Звон колокольный затопит долину.
Капли росы ударят по лицу, по горлу.
Люди, может быть, помнят, откуда пришли,
но вряд ли узнают, куда
им двигаться в этом тумане,
куда движется этот туман.

...И сойдут они с далёких гор,
и побегут перед ними
огромные кони, качая высокими головами.
Свет осторожно окутает их, и голос надежды
зазвенит среди скал, как напев дикаря...

Конец. Это, значит, по сути,
всё ещё пребывает в начале.
Так и поэты живут:
скрываясь в объёмах бумаги,
не понимают, не знают
того, что известно другим.

УСПОКОЕНИЕ

Даже в те времена он был поразительно свеж:
юное тело и жадные ноздри,
радость внезапная, нисходящая облаком,
ощущение неиссякаемой силы,
лёгкость, с которой всё в мире даётся.
И неожиданное чувство полёта,
и безумие страсти, что в тебе открывает — тебя,
когда ты — словно спальный мешок,
в котором распорото всё,
что сшивалось ночами решений,
вплоть до того, что ты называешь — собой.

Прекратиться, исчезнуть, исчезнуть
и быть всем, всем, всем.
Сливаться с каскадами рек,
лететь на огромных ветрах
и при этом уметь наслаждаться
внезапным, мгновенным.
Помни: гармония жизни — не в том,
чтоб лежать, обнимая подругу.
Ты — словно спальный мешок,
сшитый стремительной пляской минут
самоубийства...

Так в тебе от тебя защищается радость.
Так в тебе от тебя избавляется смерть.
Так избегает встречи с тобой суета.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

Там, где дуют самые сильные ветры,
никакие другие ветры уже не дуют.
То, что сильнее, пребывает в движении
и, на части дробясь, стремится догнать
свой собственный ритм.
В себе завершённое, не сдержанное ничем, —
то, что сильнее,
никогда не знает покоя.

Но там, где дуют самые сильные ветры,
нет ни тепла, ни холода,
нет ни любви, ни верности,
лишь буря, рождающая внезапно
сильный ветер и слабый ветер, —
ветер, который, на части дробясь,
стремится догнать свой собственный ритм,
и летит, и бормочет, и музыкой веет,
полный жара и холода,
и тёплого чистого света.

Самые сильные ветры прекращают дуть,
когда их пугает собственный ритм,
и они бегут от себя,
и текут параллельно друг другу,
на равных дистанциях,
в заданных направлениях,
без желанья, без цели,
отягощённые грузом
любви и верности,
вражды и понимания.

Вот что важно теперь для этих
некогда сильных ветров:
как лететь, не спеша,
как спешить, не ощущая
давления воздуха,
как не забыть, где свет, где тепло,
где истоки попутных течений,
и, главное, как не ускорить
неизбежную смерть?

...Хорошо, если б всё завершилось
прогнозом погоды,
ибо лишь это — надёжно.

Надо только, чтоб слово и воля
послужили знанию без мысли,
действию без усердия,
чтобы душа уступала
всем побуждениям,
кроме диких импульсов страсти,
чтобы память жила
только тем,
что способна вместить...

И вот тогда будет всё
решено
окончательно,
окончательно
решено.

ФАТАМОРГАНА

Где-то вдали сверкающие трубы
роняли отсветы на тёплую траву,
и серые кони брызгали пеной на удила,
и был там длинный загон из крепких брёвен
и проволочная ограда.

(О, как нам хотелось, чтоб это и вправду было —
чтоб эти трубы сверкали, чтоб были всегда
и крепкие бревна,
и проволочная ограда!)

Там время от времени проходит поезд,
и запах огня тревожит коней,
и трава качается от лёгкого дуновения...
Есть место, где оказаться нетрудно,
если действительно хочешь.
Можно смотреть на него как бы с вершины утёса,
словно в кино голливудском —
руки сложены на груди,
глаз напряжённо прищурен...

(О, как нам хотелось, чтоб это и вправду было —
и дым, что тревожит коней,
и проволочная ограда!)

И всё это есть, и ты веришь внезапно,
по-настоящему веришь,
что где-то вдали трубы сверкают
и блики лежат на тёплой траве,
и свет, разлившись повсюду, дремлет,
и запах цветов — как музыка тающей бури...
Мы закрываем глаза, гаснет в трубке табак,
мышцы слабеют от зноя.

Но всё же, — как ясно мы слышим,
что там, вдалеке, поезд идёт,
как отчётливо видим
коней, рвущихся к стойлу!..
Да, много есть странного
в этих странных людях,
приходящих из стран иных.

ЗА МИНУТУ ДО КОНЦА

Тело просило душу: «Пожалуйста,
останься здесь. Ещё порадуемся.
Я, наконец, открою сегодня
бутылки со старым вином.
И, может быть, цирк приедет.
Я такие песни тебе спою,
каких ты ещё не слыхала».
Но сказала душа: «Что с тобой?
Иль ты не помнишь уже, что всё,
чем была я сильна, —
умение действовать вовремя?
Теперь мне пора уходить.
Ты со мной или нет?»

ТО, ЧТО БЫЛО

Была у меня долгая память,
но она растворилась в пресной воде,
среди маленьких рыб,
предназначенных в пищу большим.
И соль у меня была,
но ветер, — воздушный мотор,
поломок и сбоев не знающий, —
унёс ее на дальние берега.

Можно теперь погрузиться в новые сны,
и от изменчивости отрешившись,
и от постоянства.
Можно помнить отныне
только солёную воду
и больших перевёрнутых рыб,
что она увлекает с собой...

Откуда эта уверенность,
эта дивная бодрость,
эта прочная связь
между тем, что стёрлось из памяти,
и тем, что пока не забыто?

Что-то ещё прояснится потом,
на новом кругу...

КРАТКОЕ ВИДЕНИЕ В НАЧАЛЕ СНА

1. Психотерапия

Семь тощих коров
Нилу сказали от имени леса:
«Умри, умри, умри,
дитя. Надо тебе умереть.
Завтра познаешь ты
нежное золото солнца,
что плывёт на ветру
среди ужасных твоих
тростников».

2. Противодействие лечению

Семь тучных коров
лесу сказали от имени Нила:
«Расти, расти, расти,
о смерти! Таков твой жребий.
Завтра выйдет бледное пламя
из тёрнов твоих
и захочет коснуться тебя».

3. Рецепт

Семь тощих коров
сказали семи тучным коровам:
«Довольно на этот раз.
Пусть Нил и лес
отдохнут. А мы наконец-то
обсудим сейчас
старинные наши дела.
Сон номер один,
завершись!»

4. Взгляд бодрствующего

А может, было и так: спросили
семь тучных коров
у семи тощих коров:
«Как, скажите нам, —
как умудряетесь вы сохранять
стройность ваших фигур?»

САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Так всегда ждали этой минуты. С тех пор,
как всё сложилось, всё устроилось.
И только что-то было
то менее стойким, то более прочным,
безголосым с рождения и потому

лишь поскрипывающим.
Как будто на земле иссякло масло,
как будто исхудавшая земля его поглотила.
А после с мерным жужжанием
то пронесли, что оставалось во тьме.

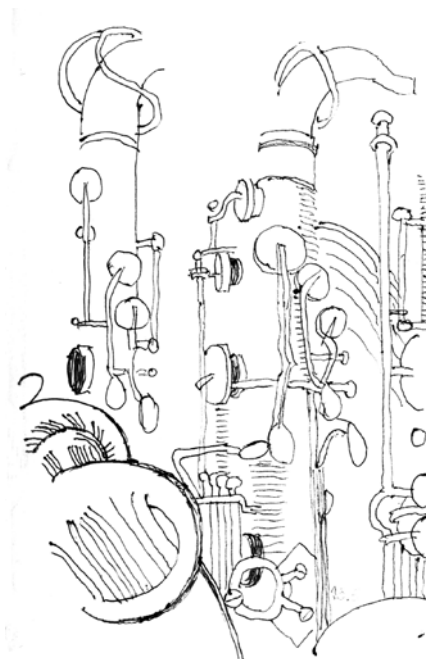
ЧТО-ТО ДЛЯ КОГО-ТО

Если покину я эти места, то скоро вернусь
с чем-то другим.

Если что-то смогу удержать, то скоро забуду
цвет неуверенности, звучание боли,
принадлежность к тому, что
не имеет значения ни для кого,
кроме меня.

Если скоро забуду звук неуверенности,
цвет боли, принадлежность к тому,
чего нет...

Если останется что-то...



Никита Львович Быстров,

1966 г.р., кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского Федерального университета. Автор ряда статей по философии культуры и философским проблемам русской поэзии. Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Russian literature» и др. Живет в Екатеринбурге.



Игорь Меламед

НАСТАНЕТ НОЧЬ

Настанет ночь. Остынет сердце.
А ты, душа, не умирая,
влетишь в распахнутую дверцу
тебе приснившегося рая.
Настанет ночь. Остынет солнце.
А ты сквозь мрак невыносимый
впорхнёшь в небесное оконце,
увидишь свет неугасимый.
И, лёгкие смежая веки,
прильну я к ангелу покоя.
И боль моя уже навеки
утихнет под его рукою.

1994

Москва

Россия

Игорь Сунерович Меламед

(1961-2014) родился во Львове.
Окончил Литературный институт имени Горького.
Автор книг "Бессонница" (1994),
"В чёрном раю" (Стихотворения,
переводы, статьи о русской
поэзии, 1998), "Воздаяние" (2010) и
многочисленных
публикаций в периодике.
В его переводе изданы "Лирические
баллады и другие стихотворения"
У. Вордсворта и С.Т. Кольриджа
(М.: РГГУ, 2011).

Настанет ночь...

Авт. Т. Кольриджа
стихи И. Меламеда

На_ста_нет ночь, О_сты_нет

сер_д_це. А ты, ду_ша, не у_ми_ра_я.

влет_и_шь в рас_пах_ну_тую из_двер_цу те_бе присни_м_го_ся

ра_я. На_ста_нет ночь, О_сты_нет



соби- ра. А ты сеголь ми- ни не- вы- во- си- мый перекля- в хо-

- бо- го- в о- ю- щу- ю. Да у- ви- дитъ

свот не- у- га- си- мый. И,

не- ис- че- жетъ и не- ис- пре- митъ и ка- го- лу ко-

- ро- н. И бже по- я у- же на- ка- жи у-

- та- вет под е- го ру- ко- ва



Калина Катрук

ОМПОЗИТОР, ХУДОЖНИК

Тверь. Россия

Е. СИГАРЁВ,
секретарь Правления
СП России



Обучалась по классу хорового дирижирования, у преподавателя Быстровой Л.Н., композицию изучала у профессора Чернова Г.В.. Живописи, графике и основам композиции училась у художника Фрумгарца Я.Л.. С 12 лет участвовала в коллективных выставках, её работы демонстрировались в Сиэтле (США).

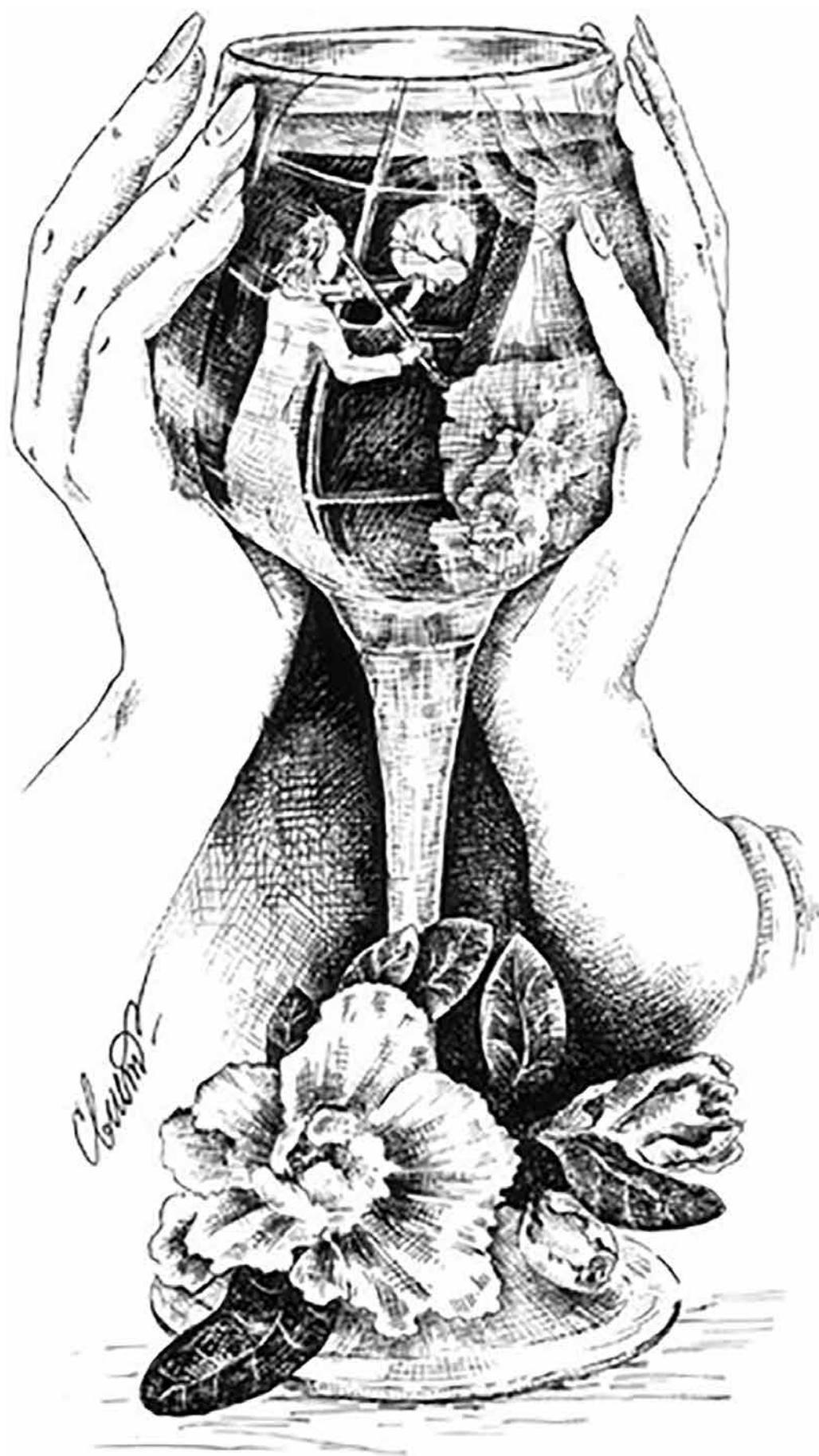
Талант Галины многогранен. Закончив дирижёрско-хоровое отделение Тверского музыкального училища, она работала художником и художественным руководителем в индустриальном техникуме, затем перешла на предприятие художественных промыслов «Оберег», художником росписи по дереву. Обладая великолепным драматическим сопрано и являясь композитором, она ведёт активную концертную деятельность и много работает как художник. Её настенная роспись до сих пор украшает интерьеры индустриального техникума, Тверского музыкально-педагогического колледжа; написана маслом серия картин «Казанский женский монастырь»; создана серия авторских конвертов и открыток, любит работать по стеклу. Галина Катрук отмечена премией на конкурсе авторской открытки, проводимым Тверской областной картинной галереей, по номинации «Самый оригинальный дизайн открытки». Много и успешно она работает в качестве художника-графика. Ею оформлены многие сборники песен, книги стихов местных авторов, не говоря уж о песнях и романах, написанных Галиной на стихи А. Пушкина, И. Бунина, Н. Гумилёва, Н. Рубцова.

К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина был специально написан цикл на стихи замечательного автора, где композитору мастерски удалось соединить музыку с прекрасным стихом поэта. Цикл был посвящён дипломанту Международного конкурса оперных певцов им. С.Я. Лемешева, Татьяне Бастаевой, она же является первым профессиональным исполнителем цикла романсов на стихи А.С. Пушкина.

Особое место в творчестве Галины Катрук занимает тема Великой Отечественной войны. «Песни войны» — вокальный цикл для голоса и фортепиано, — написан на стихи Е. Сигарёва. Цикл «Песни войны» за короткое время стал очень популярным на Тверской земле. Произведения из этого цикла исполняются как самой Галиной Катрук, так и другими профессиональными исполнителями, песни из цикла часто звучат по Тверскому радио и телевидению. Галина является художником книг поэта и прозаика, члена Союза писателей России Г.Р. Лагзынь, в том числе и книги «Птенцы», где художнику удалось тонко прочувствовать и передать душу детей, испытавших все лишения и страдания времён войны.

Произведения Галины Катрук для детей пользуются огромным исполнительским интересом. Её произведения исполняют многие детские творческие коллективы. Большим творческим успехом является детский мюзикл «Король и Шут», по мотивам сказок Братьев Гримм, на стихи Е. Сигарёва, заказанный и написанный специально для Тверского областного театра кукол.

Доказательством востребованности творчества Галины Катрук является и выставка её работ в Литературно-мемориальном музее А.С. Пушкина в Берново, в числе экспонатов которой созданный ею экслибрис этого музея.



М 2014 МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК

II Международный Литературный Тютчевский Конкурс

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Ф.И. ТЮТЧЕВА «ОВСТУГ»

23.08.2014

Встреча гостей: лауреатов и финалистов, театрализованная экскурсия в дом-музей Фёдора Ивановича Тютчева, усадебную церковь Успения Богородицы, поездка в Кольницы, к кургану и памятному камню с выбитыми на нём строками из стихотворения Ф. Тютчева: «*От жизни той, что бушевала здесь...*», во Вщиж — древнее городище X века на высоком берегу Десны.

24.08.2014

Награждение лауреатов и финалистов. В нынешнем году, как и в прошлом, организаторами конкурса философской поэзии и эссеистики выступили: Союз российских писателей, музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» и Литературный институт им. М. Горького.

Церемония награждения собрала в Овстуге поэтов и писателей из многих регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья. Праздник начался с приветствия директора музея Оксаны Михайловны Шейкиной, кураторы конкурса Борис Бартфельд (Калининград) и Марина Анашкевич (Москва) рассказали о том, как в 2013, в год двухсотлетия со дня рождения Ф.И. Тютчева был задуман «Мыслящий тростник», а также подвели итоги. Организаторы признали возросший уровень представленных на конкурс поэтических произведений и философской эссеистики. Проведенный конкурс еще раз подтвердил то, что философские традиции русской поэзии сохраняются в современном литературном процессе как в России, так и за рубежом.

ЛАУРЕАТЫ
И ФИНАЛИСТЫ

Номинация «Лучшее философское стихотворение»

- 1 премия — **Владимир ПУЧКОВ** (Владимир)
- 2 премия — **Константин КОМАРОВ** (Екатеринбург)
- 3 премия — **Татьяна ШПАРТОВА** (Беларусь, Минск)
Александр ЧЕРНОВ (Украина, Киев)

Номинация «Лучшее философское эссе»

- 1 премия — **Мария НИФАТОВА** (С.-Петербург)
Дмитрий ПЭН (Крым, Джанкой)
- 2 премия — **Ольга ЛАВРОВА** (Австрия, Зальцбург)
- 3 премия — **Гумер КАРИМОВ** (Ленинградская обл., Павловск)

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ
ДИПЛОМЫ

«За классические традиции в русской поэзии» отмечен талантливый поэт Брянщины **Александр НИКИТИН** (Жуковка). Помимо дипломов, были вручены памятные подарки: сувениры и книги о Тютчеве, альманахи Союза российских писателей: «Лёд и пламя», «Паровоз».

В рамках праздничной церемонии состоялись презентации: проект «Имя Брянщина»; журнал «Человек на Земле»; кинофильм «Хранитель», посвященный основателю музейного комплекса Ф.И. Тютчева «Овстуг» В.Д. Гамолину. В поэтической гостиной звучали стихи и музыка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ АВТОРОВ
С ТВОРЧЕСКИМИ
ПОБЕДАМИ!



Константин КОМАРОВ (№6)

финалист II Международного литературного
Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник»

*Выбивая, как пыль из ковра,
исковерканный голос из горла,
я ничем не могу рисковать,
кроме речи, и это прискорбно.*

*Одинаково звук искажён
при грудной тишине и при оре,
и поэтому лезть на рожон
бесполезно уже априори.*

*Но пока пика звука остра,
между строчек не может остаться
языку посторонний экстракт
из бесстрастных и мёртвых абстракций.*

*И когда, как пожарный рукав,
разматывается стих в разговоре,
я впадаю в него, как река в
голубое крахмальное море,*

*чтоб уже утонуть без обид
в этой мягкой и призрачной каше,
и помехами в горле рябит
неизвестный божественный кашель.*



Ганна ШЕВЧЕНКО (№1,2)

лауреат Международного литературного конкурса
им. И.Ф. Анненского. Стихотворение «Стеклодув»,
впервые опубликованное в нашем журнале,
вошло в антологию «Лучшие стихи 2013 года».

*Диковинна, необъяснима,
ошеломительна порой
случайной жизни пантомима
под непроглядной пеленой.*

*Подбросишь ласточку стенную
и, руки распахнув, стоишь –
она вращается, волнуя
веками созданную тишь.*

*Но кто потом поверит слепо
курьёзу истины простой,
что камни, брошенные в небо,
вернулись тёплой немотой.*

Ольга ШИЛОВА (№5)

лауреат I Всероссийского литературного конкурса
имени Валерия Прокошина

*На цветок медоносный летит пчела.
Не обманешь бессмертной моей пчелы.
На обычный вопрос: «Как твои дела?»
Отвечаю: «Сладки они и светлы».
Даже слаще, чем мёд, и светлее дня!
Потому невозможно её унять –
эту чудо-пчелу – что летит звеня –
и наутро – чуть свет – полетит опять
на чистейший наркотик, на Божий дар,
что небесную радость в себе таит.
Ей не сладок ничей на лугу нектар:
сколь ни пробуй – а всякий чуть-чуть горчит.
И, конечно, она от него хмельна.
А иначе? – иначе не может быть.
Говорят, что любовь, будто смерть, сильна.
А ещё, что по смерти мы будем жить!*

Я расту из земли, как трава,
цвету, как трава, меня косят,
меня едят лошади, а я опять с весной зеленею
и летом к Петрову дню цвету.

Ничего с этим не сделаешь,
и меня уничтожат только, если русский народ кончится,
но он не кончается, а, может быть, только что начинается.

Михаил Пришвин
Дневник, 1948 г.
